Дб
300
Г42

Герцен-
зон
"История
молодой
России"
1973 г

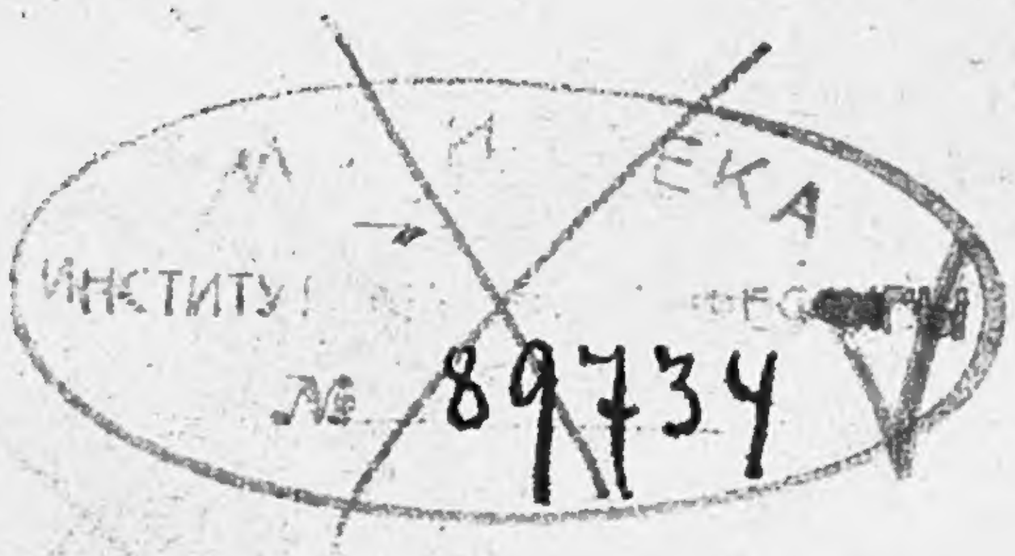
Об
300
Г42

М. О. ГЕРШЕНЗОН

ИСТОРИЯ МОЛОДОЙ РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
Москва 1923 Петроград

Госуд. публичная историческая библиотека РСФСР
89734



Главлит. Москва. № 6039. 15.000 экз.

„Мосполиграф“, 16-я типография, Трехпрудный, 9.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы не можем рекомендовать эту книгу без оговорок. Ее тенденции в некоторых отношениях чужды, даже противоречат не только марксистскому, но и вообще современному сознанию. Вот, что говорит, напр., автор об идеях Грановского: «В них новый идеал, которому суждено было надолго стать скрытым двигателем всей нашей духовной жизни—эта высокая мечта Станкевича и его друзей о разумной и прекрасной жизни, о совершенном человеке—был перенесен (правда, в довольно грубом виде) на социальную почву и выражен на социальном языке. Этим был дан могучий толчок зарождению у нас общественного идеализма, и если ближайший период русской истории, с конца 50-х годов, был ознаменован громадным идеалистическим движением, плодом которого явились реформы эпохи Александра II, то не малая доля заслуги в этом принадлежит и Грановскому. Не будет парадоксом сказать, что он был одним из передаточных органов, благодаря которым нравственная энергия, заключенная в одинокой думе Станкевича, претворилась в общественное благое деяние Николая Милютина и его сподвижников».

Конечно, реформы эпохи Александра II не были плодом идеалистического движения, а следствием напора капитала, нуждавшегося в свободных и подвижных рабочих руках, следствием крестьянских бунтов и многих других явлений, ничего общего с идеалистическими мечтами не имеющих.

Еще менее приемлемы для нас рассуждения: «Как изменения земной поверхности являются лишь следствием про-

цессов, совершающихся в недрах земли, так, говоря вообще, и всякое умственное течение имеет своим источником темную и сложную сферу человеческого духа».

Или те наивные строки, которыми заканчивается книга:

«...Страстный порыв к вечной красоте... есть незримый, в глубине сердца таящийся источник всякого сознательного стремления к добру и правде; из него, как из живой протоплазмы, родятся, никогда не исчерпывая его, наши временные идеалы, общественные и личные, жажда общего блага и жажда личного счастья».

Этими перлами идеалистической мысли местами пересыпана (к счастью, не очень густо) книга, предлагаемая вниманию читателей.

Можно порадоваться, что Гершензон-исследователь выше Гершензона-мыслителя. Вопреки его рассуждениям многочисленные факты, открытые им, приведут всякого сколько-нибудь сознательного читателя к выводам, прямо противоположным. Факты эти убедительны, прекрасная литературная форма увлекательна, психологический анализ в этой книге тонок, иногда проникновенен. В целом книга дает яркую картину русской общественной мысли и душевного состояния интеллигенции в эпоху 30—40-х годов. Гершензон—добросовестный ученый и взыскательный к себе исследователь, и его правды не могли перевесить его заблуждения. Мы еще не имеем возможности в ближайшие годы пересмотреть глубоко и научно всю историю русской общественной мысли. И книги, во многом близкие современному сознанию, принесут сейчас больше пользы, чем вреда.

Таковы мотивы, побудившие Госиздат выпустить в свет новое издание этого труда.

Предмет этой книги—эпизод из истории русской общественной мысли, и потому я должен начать с оправдания.

Едва ли найдется еще другой род литературы, который стоял бы у нас на таком низком уровне, как история духовной жизни нашего общества. Можно подумать, что законы научного мышления для нее не писаны. Ни однородность исследуемых явлений, ни строгая определенность понятий, ни единство метода—здесь ничего этого нет и в помине. Все свалено в кучу: поэзия и политика, творческие умы и масса, мысль и чувство, дело и слово,—и из всего этого силятся выжать какую-то единую идею, которая должна представлять собою схему развития русской общественной мысли. Таковы в огромном большинстве наши «Истории русской литературы», «Истории русской интеллигенции», «Истории русской общественной мысли», и т. д. Нет спора: человек целен, и духовная эволюция общества может и должна быть сведена к единству; но до такого полного обобщения нам далеко; синтез—венец и конечная цель науки, а первый ее шаг—разделение.

При такой дикой неразборчивости понятия, материала и методов, нет ничего удивительного, что все усилия наших исследователей выяснить основные черты духовного развития русского общества не только остались в целом бесплодными, но и привели к ужасающему искажению картины нашего прошлого, к искажению фактов и перспективы, лиц и фазисов развития. Единственная заслуга этой «школы» заключается в том, что она уяснила нам ход развития русской политической мысли на протяжении XIX века. Заслуга, без сомнения, важная, но какой ценою куплен этот успех! Сколько умственных течений замолчано, сколько забыто высоких помыслов, светлых образов, глубоких исканий! И пре-

жде всего, как подавлено, забито, варварски искалечено художественное чувство нашей читающей публики! И в итоге—все-таки без пользы, потому что даже эта картина развития политической мысли, взятая вне своей глубокой связи с общей историей русского общественного сознания (которая, повторяю, ни теперь, ни ещé долго не может быть написана), оставалась как бы висящей в воздухе и воспринималась только умом, но не заражала читателя интуитивно, т.-е. теряла три четверти своей воспитательной ценности.

Пора сойти с этой широкой дороги, которая никуда не ведет, и поискать тропинок. С разделения мы должны начать и суживать наши задачи. Мы ни до чего не добьемся, пока не отделим историю общественной мысли от истории художественной литературы (т.-е. поэзии и критики), и в самой истории общественной мысли—историю преемственности творческих мировоззрений от истории массовых настроений. Это — грубейшие черты разделения, но они напрашиваются прежде всего, и именно с них надо начать. Первый принцип не нуждается в пояснениях,—он сам говорит за себя всякому мыслящему уму; искусство развивается в недрах общественной жизни по своим законам и имеет собственную сущность, как ребенок во чреве матери. О втором необходимо сказать несколько слов.

Во всяком общественном движении легко различить два элемента: его идейное или психологическое ядро, и ту форму, которую оно принимает в массе общества, как типичное умонастроение эпохи. С у щ н о с т ь движения, всегда воплощается в немногих личностях, соединяющих в себе острую врожденную предрасположенность к очередной идее времени с недюжинной силой духа. Такой человек не всегда стоит во главе движения, не всегда даже сколько-нибудь заметно влияет на него,—да это и безразлично: важно то, что только в нем, в отдельной предрасположенной и одаренной личности, зерно движения дает свой полный цвет, только в нем раскрывается вполне смысл очередной исторической задачи. Таким образом, изучить смену общественных идей в их сущности (а именно такую цель ставит себе история общественной мысли)—значит изучить эти идеи в их индивидуальной

углубленности, в лице их типичнейших представителей. Соответственное умонастроение массы общества должно рассматриваться при этом только как почва, из которой выросла типическая индивидуальность и соками которой она питается. Сказанным нисколько не умаляется важность изучения и массовых умонастроений: они составляют существенный элемент в общей истории народа, наравне с явлениями политического, социального, экономического быта; но они лишены самостоятельного идейного значения.

Нам нужно освободиться от привычки рационализировать понятие общества, как люди XVIII века рационализировали понятие «человек». Общество, без сомнения, живет единой жизнью, но оно живет ею в людях. Исследуя его жизнь, забудем о нем на время; пусть образ его единства сам собою возникнет у нас из пристального изучения отдельных личностей и пусть красная нить его развития выступает наружу в живой преемственности личных стремлений. Общество — абстракция; общество не ищет, не мыслит, не страдает; страдают и мыслят только отдельные люди, и на известной глубине их сознание течет в одну сторону, по одному руслу: исследуем эту глубину отдельных сознаний, и мы узнаем направление общественной мысли. Этого требуют не только элементарные законы научности, но и та воспитательная задача, которую ставит себе всякое гуманитарное знание. В тяжкой работе духа, стремящегося постигнуть мир и свое призвание в нем, знакомство с эволюцией человеческой мысли вообще и с умственным развитием родного общества в особенности,—могущественное и драгоценное подспорье. Но что могут дать юноше отвлеченные схемы, эта алгебра миропознания? Его собственные запросы и волнения — совершенно реального свойства, он весь—в чувственном, в конкретно-живом. Если вы хотите помочь ему, говорите ему его языком. Ему не нужен ваш синтез, конечные выводы ума. Приведите его к роднику, к одному, другому и третьему, туда, где из живого личного опыта рождалось кровное, органическое сознание, как оно с таким трудом рождается у него самого,— покажите ему строгую преемственность этого индивидуального нравственного творчества на всем протяжении развития

его родного общества, где каждый силился решить только свою личную жизненную задачу, как вот он решает свою, и где, тем не менее, все таинственно влеклись по одному направлению, к одной далекой цели,—и вы действительно научите его: вы не только заразите его моральным пафосом этих личных исканий, но вы уясните ему и ход общего движения, которому невольно служит он сам в своем самочинном развитии. Каждый русский должен знать историю русской общественной мысли,—но это не внешняя обязанность: надо, чтобы он ощутил потребность в этом. Изобразите историю общественной мысли в ее живой конкретности, а не в схоластических схемах,—тогда, будьте уверены, каждый юноша сам, и с жадностью, припадет к ней устами.

Эта мысль положена в основание предлагаемой книги. Не ряд характеристик представляет она собою, а цельную картину известной эпохи в преемственной смене личных переживаний. Вот почему я назвал ее и с т о р и е й.

Я хотел изобразить в ней русское умственное движение 30-х—40-х годов, по духу близкое одновременному движению на Западе, и имя «Молодой России», которым я назвал эту эпоху по аналогии с «Молодой Италией» и «Молодой Германией», должно указать на эту связь. Тридцатые годы прошлого века—период бурного умственного обновления во всей Европе. Точно свежий ветер ворвался в душную атмосферу, бодростью повеяло в мире, и смелым, молодым дерзновением исполнились умы. Снова, как столько раз прежде, старое общество разрывает оковы традиции и на миг расправляет члены, пока быстро текущая жизнь не опутает его опять. Обновить жизнь—таков общий лозунг эпохи. В разных странах это движение приняло разные формы: в Италии—религиозно-политическую, в Германии—литературно-эстетическую; у нас оно носит нравственно-философский характер и приобретает значение, какого оно и отдаленно не имело на Западе.

Дело в том, что у нас оно явилось п е р в о й попыткой сознательно и жизненно решить основные вопросы морально-философского порядка. Молодое русское общество жило до тех пор готовым. В глубине его быта как-то сами собою слага-

лись известные системы чувств и идей, видоизменялись самопроизвольно, и так, исподволь обновляясь, переходили от поколения к поколению, как духовная часть отцовского наследства. Внутренно никто не искал, никто не боролся, никто не болел вопросами миропознания. Даже когда в это традиционное мировоззрение вносилось нечто новое, какой-нибудь продукт западной жизни и западной мысли, его также брали готовым и без борьбы; таков был энциклопедизм на русской почве, таковы были еще наши масоны и мартинисты. Кровных нравственных исканий, трагедии духа, мы не встретим в нашем передовом обществе ни разу на всем протяжении XVIII и первой четверти XIX века. Как облако из морских испарений, так из быта рождалось мировоззрение, в общем одинаковое у всех и никем не выстраданное.

Это традиционное и однородное отношение к миру, к обществу и к собственной личности достигает наибольшей своей полноты и вместе самосознания у людей Александровского времени, в том поколении, к которому принадлежали декабристы. Тип декабриста — это, прежде всего, тип человека внутренно совершенно цельного, с ясным, законченным, определенным психическим складом,—человека, которому внутри себя нечего делать и который поэтому весь обращен наружу. Осознанное мировоззрение настойчиво требовало участия в жизни, и, главным образом, разумеется, в общественной, которая так далеко отстала от него: вот почему эти люди психологически должны были стать политиками. Им лично, каждому в отдельности, эта психическая насыщенность сообщала удивительный нравственный закал, и потому, когда жизнь поставила на пробу их личное мужество, они во тьме рудников засияли, как драгоценные каменья. Может быть, ни в чем так ясно не обнаруживается характер эпохи, как в раннем созревании людей того поколения: Пушкин, Чаадаев—в 16 лет зрелые люди; так всегда бывает в периоды господства законченных мировоззрений, когда юноше остается только усвоить готовые приемы и навыки мышления. Станкевич и его товарищи созревают гораздо медленнее.

Весьма вероятно, что и без того потрясения, которое произвела в русском обществе неудача декабрьского мятежа, ста-

рое Александровское мировоззрение продержалось бы недолго, но эта катастрофа должна была, разумеется, ускорить его падение. Она явилась как бы плотиною, запрудившей духовную энергию, которая рвалась наружу—перестраивать жизнь. Искусственно оторванная от всякого дела, мысль обращается теперь на самое себя. Громадную важность имел уже тот факт, что как-раз лучшие представители старого психического склада—именно декабристы—были из'яты из общественной жизни: ими и в них он защищал бы свою позицию, они импонировали бы своей цельностью и гармонической красотой. Но старое общество было обезглавлено, и новое поколение выступило в жизнь без сильных руководителей и, значит, с большей свободой в выборе пути. И тут, на пороге, его подхватила волна западного движения, этот могучий ураган обновительных идей, нашедших свое высшее воплощение в философских системах Шеллинга и пр. Старое мировоззрение рухнуло—начался великий ледоход русской мысли. Начался период теоретической работы, глубоко неестественный этой своей односторонностью, но чрезвычайно плодотворный по своим результатам.

Изобразить этот ледоход—задача настоящей книги. Новое содержание общественной мысли рождалось в людях, и в людях оно должно быть изучено, во всей реальности, во всей полноте, во всей жизненной сложности личных, интимных переживаний. Моя задача состояла в том, чтобы в живой работе индивидуального сознания подслушать прозябание нового, того, что рождал век, и так как жизнь духа сложнее наших логических формул, то я старался воспроизвести каждую жизнь или каждый эпизод жизни по возможности вполне, не срезая с корней, напротив, и с теми комьями земли, которые пристали к корневым нитям. Особенный характер задачи требовал и соответственного материала, т.-е. такого, который позволил бы глубже заглянуть в интимную жизнь личности; поэтому большинство очерков основано на материале п и с е м, большею частью неизданных.

Первый очерк—введение. Он должен познакомить читателя с душевным складом людей Александровского времени—декабристов. Так как истинной сферою проявления этих людей

была именно жизнь, а не внутренняя работа духа, то мне хотелось перенести на эти страницы уголок жизни, где бы один из них был центральной фигурой, но где, вместе с тем, обрисовался бы целый узел жизненных отношений, так, чтобы стало видно, как чувствовали, как мыслили, как решались эти люди. Таким узлом является в моем очерке семья Раевских, такой центральной фигурой—Орлов. Для цельности и ясности людей Александровской эпохи, для их чуждости всякому внутреннему исканию, Орлов достаточно типичен; еще характернее его душевное состояние во вторую половину жизни, когда, отрезанный от всякого внешнего дела, он не знает, к чему приложить свои богатые силы, томится и медленно гаснет. А вокруг него—какая полнота типической жизни, какие фигуры, одна ярче и выразительнее другой! С одной стороны, старик Раевский, представитель того же насыщенного мировоззрения, но поколением раньше Орлова, когда оно еще само довлело себе и не стремилось никуда, ни даже обновить жизнь согласно с собою; с другой—Александр Раевский, тоже цельный, тоже не ищущий, плоть от плоти своего времени, но с лицом, искаженным гримасой, разбитое зеркало своей эпохи; наконец, женщина тех дней, Мария Волконская, вся в данном круге идей и отношений, но в нем—сама решимость, подлинная дочь своего отца.

Второй очерк—картина переходной эпохи. В лице Печерина с удивительной ясностью воплотился тот первый фазис движения, когда внутренняя задача еще не заполнила всего внимания, когда новый мир еще только суммарно—и тем лучезарнее, тем опьянительнее—представлялся уму, так называемый период «абстрактного героизма». Печерин любопытен для нас не только тем, что в его лице эта пламенная мечта о «лучшем мире» достигла своего зенита, но и тем, что в нем она поглотила всего человека и пошла переделывать жизнь. В его сверстниках она оставалась мечтою, да и скоро, как, например, в Белинском, угасла совсем.

Остальные очерки изображают самое движение 30-х—40-х годов с его различных сторон, каждый раз на том примере, где данная сторона процесса выступала в наиболее жизненной своей форме, как трагедия индивидуального духа.

Это движение—колыбель русского идеализма. Значение Станкевича и его сверстников—не только в том, что ими впервые на русской почве были сознательно и при свете европейской науки поставлены основные вопросы бытия и выработаны первые сознательные критерии истины и добра; сущность движения—в самом характере их душевной жизни. Они первые искали свою правду жизненно, не в спокойной работе умозрения, а в трагическом опыте личных падений и побед, и самое знание, до которого они были так жадны, воспринималось ими нравственно, со всей болью и радостью личных переживаний. В этом их главное отличие от предшествовавших им поколений, и отсюда же их новое отношение к действительности. Стóит лишь сравнить Чацкого, Онегина, Печерина с любым идеалистом 30-х годов, чтобы оценить всю важность перемены: там, где первые только холодно и высокомерно презирали окружающую среду за ее пошлость и умственное ничтожество, там Станкевич и Белинский болеют сердцем или страстно ненавидят.

Другая особенность движения заключалась в об'еме выставленного им идеала. Люди 30-х годов мечтали не о частичных усовершенствованиях человека и общества, а о полном преобразовании всей жизни. Они выставили идеал жизни радостной и прекрасной, они первые вывели это солнце на горизонт нашей общественности. С тех пор оно незакатно стоит над русской интеллигенцией; от него заимствовала свой свет и тепло и получила свои краски наша художественная литература.

Этими двумя чертами умственное движение 30-х—40-х годов предопределило дальнейший ход развития русской мысли. Те люди не жили во-вне—они только думали и чувствовали. Оранжерейное развитие их мысли не могло не отразиться на их конкретных построениях, и русское общество, впитавшее их идеологию в плоть и кровь, еще и теперь не освободилось от ее крайностей и ошибок. Но вся дальнейшая работа сознания, непрерывно продолжающаяся доныне, представляет собою развитие начал, впервые властно сказавшихся в исканиях «Молодой России».

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

М. Ф. Орлов.

I.

Когда в 1816 году М. Ф. Орлов окончательно вернулся в Россию, ему было всего 28 лет, но он успел уже сделать блестящую карьеру. Сын младшего брата екатерининских Орловых, он воспитывался в аристократическом пансионе аббата Николя, юнкшей вступил в Кавалергардский полк, быстро выдвинулся в Отечественной войне и уже в 1812 году был назначен флигель-ад'ютантом к государю. Александр полюбил его; ему поручил он в 1814 году заключить капитуляцию Парижа, его же послал затем в Данию для заключения договора о присоединении Норвегии к Швеции, назначил его генерал-майором своей свиты и держал в большой близости к себе [1]). Дорога Орлова вела, казалось, круто вверх. У него было в избытке все, что нужно для успехов в свете: молодость, знатность, богатство, расположение царя, открытый и смелый характер, прекрасная, представительная наружность. Между тем все эти дары фортуны не пошли ему впрок и его дальнейшая жизнь сложилась, в смысле карьеры, вполне неудачно. По приезде в Петербург его звезда очень скоро идет на уклон,— и, надо заметить, это вовсе не было делом случайности, а произошло в силу естественной логики вещей.

Дело в том, что Орлов, подобно большинству будущих декабристов, вернулся из французского похода обуянный самым пламенным патриотизмом и жаждой деятельности на

---

[1]) Остаф. арх. т. I, стр. 457—9.—Рус. Биограф. Слов., т. Об—Оч, 1905, ст. г. А. Петрова.

пользу родины. Он принадлежал, повидимому, к числу самых нетерпеливых. Н. И. Тургенев, сблизившийся с ним за границей, характеризует его так: «Подобно всем людям с живой и пылкой душою, но без устойчивых идей, основанных на прочных знаниях, он увлекался всем, что поражало его воображение». Как раз сближение с Тургеневым в 1815 году в Нанси дало сильный толчок его либеральным стремлениям. У нас есть только очень смутные сведения об адресе к царю, который составил Орлов по своем возвращении в Россию [1]). Это была петиция об уничтожении крепостного права; кроме самого Орлова, ее подписали многие высшие сановники, в том числе Васильчиков, Воронцов и Блудов. Дальнейшая судьба этого адреса неизвестна, но для Орлова он, повидимому, не имел никаких неприятных последствий: отношение к нему царя осталось дружественным попрежнему. Более точные данные имеются о другой либеральной попытке Орлова, относящейся к 1817 году. Весною этого года, т.-е. через несколько месяцев по возвращении в Петербург [2]), он был выбран в члены беспечного и веселого литературного общества «Арзамас». По заведенному обычаю всякий новоизбранный должен был произнести надгробное слово одному из членов, конечно, живому. Вместо этого Орлов выступил с серьезной речью, в которой указывал, что недостойно мыслящих людей заниматься пустяками и литературными препирательствами, когда кругом так много нужного дела, и умолял своих сочленов дать деятельности общества иное, более патриотическое направление. Он предлагал с этой целью две меры: во-первых, завести журнал, «коего статьи новостью и смелостью идей пробудили бы внимание читающей России», во-вторых, предоставить каждому из живущих не в столице членов учредить в месте его пребывания филиальное общество под руководством главного, и таким образом покрыть всю Россию сетью отделений [3]). Этот

---

[1]) Записки С. Г. Волконского, 1 изд., стр. 407.

[2]) Зиму и весну 1815—1816 г. Орлов по болезни провел в Париже, лето—на водах в Бареже и в Петербург вернулся в ноябре 1816 г.

[3]) Н. Тургенев—La Russie et les Russes, I, 172—3; Вигель, пов. изд., ч. V, 51—52.

широкий план не встретил достаточного сочувствия среди членов и остался втуне, но мысль о журнале получила ход и не была осуществлена только потому, что правительство отказало в разрешении. До нас дошла программа этого предполагаемого журнала. Первое место в нем должен был занимать политический отдел, который брали на себя Орлов, Н. Тургенев и Д. Северин; целью его ставилось «распространение идей свободы, приличных России в ее теперешнем положении, согласных со степенью ее образования, не разрушающих настоящего, но могущих приготовить лучшее будущее» [1]). Как известно, все первые попытки совместной деятельности у будущих декабристов носили именно такой—просветительно-реформаторский, а не революционный характер.

Потерпев неудачу в «Арзамасе», Орлов решил действовать самостоятельно. Способ действия напрашивался сам собою, в соответствии с духом времени и примером Западной Европы. Позднее, на допросе 1826 года, Орлов показывал, что образцом ему служил Тугендбунд: по примеру последнего он задумал образовать тайное общество, «составленное из самых честных людей, для сопротивления лихоимству и другим беспорядкам, кои слишком часто обличаются во внутреннем управлении России» [2]). Следуя увлечению, овладевшему тогда передовым слоем русского общества, он хотел придать предполагаемому кружку полумасонский характер и с этой целью привлек к своему замыслу графа Дмитриева-Мамонова, сильно интересовавшегося русским масонством. К ним примкнуло еще несколько лиц, в том числе Н. И. Тургенев; союз должен был называться Обществом Русских рыцарей, и Орлов собирался представить его устав на утверждение царя. Известно, что завязавшиеся было переговоры между Орловым и Александром Муравьевым о слиянии этого общества с возникшим незадолго Союзом Спасения не привели ни к чему, да и са-

---

1) Бумаги Жуковского, см. Отчет И. Публ. Библ. за 1887 г., приложение, стр. 82.

2) «Записка о тайном обществе», представленная Орловым следственной комиссии 1826 г. Довнар-Запольский, Мемуары декабристов, 1906, стр. 3 и 25.

мое Общество Русских рыцарей в конце концов не состоялось [1]).

Все эти патриотические затеи Орлова, следовавшие одна за другой на кратком пространстве меньше чем в год (с конца 1816 по конец 1817 г.), свидетельствовали о таком кипучем усердии к общему благу, которое, при личной близости Орлова к императору, недолго могло оставаться безнаказанным. И действительно, скоро Орлов нарвался на крупную неприятность.

Подобно большинству позднейших декабристов, он соединял с просвещенным либерализмом горячее чувство национального достоинства, доходившее подчас до того, что̀ Н. И. Тургенев, европеец до мозга костей, метко назвал патриотизмом рабов. Это чувство, заставлявшее Орлова сердиться на Карамзина за то, что он в начале своей «Истории» не поместил какой-нибудь гипотезы о происхождении славян, «лестной родословному чванству народа русского» [2]), было в 1817 году тяжело оскорблено дарованием конституции Польше и слухами о намерении Александра отделить от России Литву. Этот самый слух едва не довел Якушкина до цареубийства, а Орлов составил записку к государю, направленную против эмансипации Польши, и начал собирать подписи в кругу генералов и сановников. Император, узнав заблаговременно об этом предприятии, призвал Орлова и потребовал составленную им записку; Орлов, конечно, не желая выдавать тех, кто подписался под нею, отказался представить ее, заявив, повидимому, что она у него пропала [3]). Это было последнее свидание царя с его бывшим любимцем. Вскоре затем Орлов был удален в Киев на должность начальника штаба при 4-м корпусе, которым командовал тогда Н. Н. Раевский. В Киеве он прожил с лишним два года, и следующий его служебный этап—назначение в Кишинев начальником дивизии в 1820 году—был новой почетной ссылкой, наполовину, впрочем, добровольной.

---

[1]) Русск. Стар. 1904 г., март, 491; апрель, 26. Тургенев I, 222—224. Доклад. следств. ком. по делу 14 дек.

[2]) Остаф. арх. I, 347 и 653.

[3]) Рус. Стар. 1904 г., март, 491—2, Тургенев, I, 86, Якушкин, 45. «Записка» Орлова, у Довнар-Запольского, цит. соч., стр. 3.

II.

Его письма за киевский период представляют драгоценный материал для характеристики настроения и образа мыслей его сверстников об эту пору. Что представлял собою будущий декабрист около 1819 года, т.-е. в разгар деятельности Союза Благоденствия, об этом приходится судить вообще только по показаниям декабристов на следствии 1826 г., да по их воспоминаниям, записанным еще десятки лет позднее. И тот, и другой род свидетельств, конечно, не дают верной картины; в них надо учитывать забывчивость, сознательный и иногда тенденциозный подбор черт, наконец, неверное освещение в зависимости от иной, новой точки зрения на вещи. Здесь же пред нами современные и заведомо-непосредственные показания, суб'ективность которых только повышает их цену.

«Живу спокойно,—пишет Орлов из Киева сестре (по мужу Безобразовой) [1]),—а чтобы быть счастливым, ты знаешь, мне уже давно не нужно ничего другого, как не быть несчастным. Эта философия отнюдь не должна удивлять тебя во мне. Я вижу славу вдали, и, может быть, когда нибудь я добуду немного ее. Жить с пользою для своего отечества и умереть оплакиваемый друзьями—вот что достойно истинного гражданина, и если мне суждена такая доля, я горячо благодарю за нее Провидение».—Тут все типично: и этот стоицизм при едва сдерживаемом избытке сил, и готовность принести себя в жертву общему благу, и мечты о славе, явно навеянные республиканскими героями Плутарха, и, может быть, более всего—потребность излияния всех этих чувств в человеке, уже давно вышедшем из юности (Орлову было в это время лет 30), в генерал-майоре и начальнике штаба. Еще характернее следующее его письмо к самому Безобразову, мужу сестры, от 26-го марта 1819 г. Речь идет о борьбе, которую приходится вести Безобразову на его служебном посту в Тамбове. «Верю,—

---

[1]) Это, как и все дальнейшие письма, цитируемые в настоящей статье без указания источника, печатаются здесь впервые, с рукописных подлинников, и—где не оговорено противное—в переводе с франц. языка.

пишет ему Орлов по-русски,—верю, сколь трудно тебе бороться с устроенным неустройством нашего внутреннего правления, и что система злодеев, соединенных тесно для избежания несчастья, сильнее, нежели порывы одного от всех оставленного гражданина... Рано или поздно честность, ум и добродетель должны взять верх, и сие время, может быть, не так отдаленно, может быть, на закате наших дней увидим мы, любезный друг, сие дивное преобразование отечества нашего и ступим в гроб утешенной ногой (sic). Я о сем только и думаю и посреди разлития всех пороков вижу с упованием добродетельную молодежь, возрастающую с новыми правилами и без старых предрассудков».

«Я ленив немножко писать,—продолжает он,—да и к тому же редко пишу и по осторожности. Чем более близки ко мне и к сердцу моему те, с коими беседую, тем более льются мои мысли, и тем откровеннее я пишу. Сие стремление откровенности пред нынешним осторожным веком не есть добродетель. Она часто губит, да и сам я уже несколько раз страдал от себя. Мне друзья говорят: «Неужели ничто тебя не исправит?» Я им отвечаю: «Да где ж порок? докажите, что дурно,—я исправлюсь». Я думаю, что я прав. Может быть, я останусь долго, может быть, и всегда в моем ничтожестве, но, по крайней мере, ежели какой-нибудь благоприятный ветер поведет меня выше, то принесу в дар отечеству беспорочную жизнь и характер, чуждый всем подлостям нынешнего века». В конце письма он обращается к сестре. «Благодарю тебя, любезная сестра, за присланную попону. Я ею покрою любимого коня, а ежели б открылось какое-нибудь средство стать грудью за Россию, то в минуты отдохновения под чистым сводом небес сам лягу на нее и буду вспоминать о любезной сестре. Пиши ко мне и поцелуй всех детей. Дай Бог вам счастья и покоя, а мне жизни бурливой за родную страну».

Воинственные нотки, звучащие в этих письмах, вовсе не были простой данью романтизму. Мы увидим сейчас, что все эти приготовления «стать грудью за Россию», это ожидание «благоприятного ветра» имели для самого Орлова совершенно реальный смысл: он вполне сознательно ставил свое буду-

щее в зависимость от неминуемого и близкого общего переворота. За два года он успел далеко передвинуться влево; теперь его занимал уже не вопрос об искоренении, с одобрения верховной власти, лихоимства и прочих зол, а вопрос о коренном зле русской жизни—о бесконтрольности и произволе этой самой власти, и по свойственной ему пылкости он считал эту задачу разрешимой сейчас же, без всякой подготовки. В том же 1819 году Денис Давыдов, тогда начальник штаба по седству, в Кременчуге, писал другому приятелю Орлова, знаменитому впоследствии П. Д. Киселеву: «Мне жалок Орлов с его заблуждением, вредным ему и бесполезным обществу; я ему говорил и говорю, что он болтовнею своею воздвигает только преграды в службе своей, которою он мог бы быть истинно полезным отечеству. Как он ни дюж, а ни ему, ни бешеному Мамонову не стряхнуть абсолютизма в России». Еще рельефнее письмо Киселева к самому Орлову того же времени: «Все твои суждения, в теории прекраснейшие, на практике неисполнимы. Многие говорили и говорят в твоем смысле; но какая произошла от того кому польза? Во Франции распри заключились тиранством Наполеона... Везде идеологи—вводители нового в цели своей не успели, а лишь дали предлог к большему и новому самовластию правительств... Ты знаешь и уверен сколь много я тебя уважаю; но мысли твои неправильны и, конечно, с сердцем твоим не сходны. Неудовольствия, грусть, сношения с красноречивыми бунтовщиками и, сознаюсь, несправедливое бездействие, в котором ты оставлен,—вот тому причины. Скинь с себя тебе неприличное. Не словами, но делом будь полезен; оставь шайку крикунов и устреми отличные качества свои на пользу настоящую. Преобразователем всего не каждому быть можно; но я повторяю: каждому определено, каждому предназначено увеличивать блаженство общества, а ты, Орлов, от доброго отшельцем быть не должен. В суждениях моих могу ошибаться, но цель моя благонамеренная, и потому одинакая с твоею. Разница в том, что ты даешь волю воображению твоему, а я ускромняю свое; ты ищешь средств к улучшению участи всех—и не успеешь, я же—нескольких только,—и успеть могу. Ты полагаешь, что исторгнуть должно корень зла, а я—

хоть срезать дурные ветви. Ты определяешь себя к великому, а я—к положительному» [1]).

Тут было, конечно, очень много честолюбия, понятного при таком избытке сил; но оно безусловно подчинялось идее, т.-е. направлялось исключительно на цели общего блага, с презрением отвергая обычную мишуру чинов и почестей. Когда весною 1819 г. открылась вакансия начальника штаба гвардии, и друзья Орлова в Петербурге захотели выставить его кандидатуру на эту видную должность, он решительно отверг их предложение. «Что мне делать в Петербурге?—писал он по этому поводу А. Раевскому.—Как я возьму на себя должность, которую оставить можно только вследствие опалы, занимать—только по милости? Вы меня знаете: похож ли я на царедворца и достаточно ли гибка моя спина для раболепных поклонов? Едва я займу это место, у меня будет столько же врагов, сколько начальников. Нет, милый друг, я охотно уступаю моим соискателям все почести, спасая свою честь. Да и то сказать: есть ли тут повышение? Ведь и место начальника штаба я взял не так, как делаются столяром или каретником. Это не ремесло, и мне вовсе не хочется на всю жизнь замкнуться в узкий круг забот об изготовлении планов, задуманных другими или мною для других, смотря по характеру моих начальников. Конечно, лучше быть начальником главного штаба, чем начальником бригады, но еще лучше командовать дивизией. Поэтому я оставлю свое нынешнее место разве только для того, чтобы принять командование, а не для того, чтобы повиноваться другому, потому что из всех известных мне начальников я предпочитаю того, кому сейчас подчинен. Но оставим этот разговор о предмете, который меня вовсе не занимает. Желаю всякого благополучия старому и новому начальникам штаба гвардии, но предпочитаю мое ничтожество их величию...

«Я дал нескольким лицам то же поручение, что вам, именно—узнать, начинают ли забывать меня. Вы один меня поняли и отвечали мне в смысле моего вопроса. Что вы пишете о моем положении при дворе, это я знал заранее и ни-

---

[1]) Русск. Стар. 1887, июль, стр. 228 и сл.

сколько этому не удивляюсь. У меня хватает самолюбия верить, что я останусь ненужным до тех пор, пока направление внутренней политики не заставит призвать к делам людей благомыслящих и умеющих видеть дальше своего носа. Верьте мне: все, кто сейчас действуют, истощаются в бесплодных усилиях. Еще не настало время, когда старания будут вознаграждаться обильными последствиями. Пусть иные возвышаются путем интриг: в конце концов они падут при всеобщем крушении, и потом они уже не поднимутся, потому что тогда будут нужны чистые люди. Я понимаю, что мои слова несколько загадочны, но их смысл мне вполне ясен, и, может быть, когда-нибудь и вы признаете правильной мою точку зрения и всю мою систему. Может быть также, я не увижу даже зари того прекрасного дня, о котором мечтаю, но от того моя система не станет менее верной для тех, кто переживет меня.

«Так думают только немногие — и в этом-то наше несчастье. Найдись у нас десять человек истинно благомыслящих и вместе даровитых, все приняло бы другой вид. Что до меня, до я чувствую довольно силы в самом себе, чтобы служить не для карьеры, а из гражданского долга. Ведь чего я в сущности хочу? Несколько более широкой сферы деятельности, потому что я чувствую в себе больше способностей, чем могу применить в моей обстановке. Что ж! я буду ждать, буду ждать, если нужно, и десять лет. Это будет мне только впрок, так как энтузиазма, основанного на любви к принципам, я не утрачу, и приобрету рассудительность, являющуюся всегда плодом опыта. Итак, больше не говорите со мною тем языком, каким написано ваше последнее письмо. Улыбка фортуны не значит для меня ничего, событие—все». В заключение—у него просьба к Раевскому: «Вы так хорошо выведали, что я значу при дворе; теперь узнайте, как относится ко мне общественное мнение. Льщу себя мыслью, что на этот раз ваши сведения окажутся более утешительными. Или, может быть, я ошибаюсь?»

III.

Однако в ожидании «события» не приходилось сидеть сложа руки, и Орлов с первых же дней своего пребывания в Киеве деятельно принимается за общественную работу. Будучи по роду своей должности отрезан от непосредственного общения с солдатами, он не мог применять свои гуманные убеждения в пределах самой службы, как позднее в Кишиневе, и его усилия естественно направились, главным образом, на дело просвещения.

Уже в марте 1818 года он обращается к комитету «Общества начального образования в Париже» (Société d'instruction élémentaire) с любопытным письмом, текст которого дошел до нас [1]); оказывается, что 22-го февраля 1816 г. он был выбран членом этого общества, цель которого заключалась в устройстве школ по способу взаимного обучения. Он пишет, что, будучи назначен начальником штаба в Киеве, он застал здесь ланкастерскую школу на 40 кантонистов, учрежденную ген. Раевским. Теперь, приняв это дело в свои руки, он довел контингент учащихся до 600 человек. Обращаясь к комитету французского общества, он просит считать его и впредь членом последнего и не отказать ему в поддержке; он хотел бы завязать правильные сношения с комитетом, и на первый раз просит выслать ему все отчеты общества и лучшие сочинения о методе Ланкастера.

Орлов оказался пионером этого дела в России. Ланкастерская метода тогда только начинала прививаться у нас,— самое «Общество учреждения училищ по способу взаимного обучения» было основано только в 1819 г., и киевская школа, созданная усилиями и личными затратами Орлова, послужила образцом для всех военно-сиротских училищ. В 1819 г. число учеников дошло в ней до 800 чел., и учебная программа, в отличие от других аналогичных школ, не ограничивалась уже чтением, письмом и счетом, а обнимала и грамматику, катехизис и священную историю. На посещавших ее школа производила самое выгодное впечатление. Анонимный корреспон-

---

[1]) Отчет Имп. Публ. Библ. за 1896 г., стр. 192—5.

дент «Русск. Инвалида» писал в № 85 за 1819 г., что стараниями генералов Раевского и Орлова это заведение приведено в такую степень совершенства, «что видеть его и не восхищаться оным были бы две совершенно несовместные идеи». Еще восторженнее отзывается о школе Орлова известный И. Р. Мартос, посетивший ее в 1820 г. Он нашел в ней уже 1800 учащихся, распределенных на 8 классов; по его свидетельству, сюда присылались для обучения кантонисты из многих других мест, и обученными здесь учителями уже были открыты такие же школы в Москве, Могилеве и Херсоне, так что эта школа, говорит Мартос, является, так сказать, «маткою взаимного обучения в России» [1]).

Сохранился «рапорт» Орлова Закревскому от 10-го октября 1817 года, не оставляющий ничего желать в смысле картинности изображения киевской школы. Привожу его целиком.

Честь имею донести вашему превосходительству о опыте, сделанном для образования воспитанников по ланкастеровой методе.

Взято было сорок воспитанников, не умевших ни читать, ни писать. Они разделены были на пять отделений, каждое из 8-ми человек, и размещены за пятью столами под надзором одного старшего, более знающего ученика, имеющего по сему случаю звание смотрителя.

Сии столики сделаны были в виде не весьма покатистых пульпетов с возвышенными краями. Во внутренности насыпан песок, по которому ученики пишут пальцем литеры до тех пор, пока совершенно выучатся. У правого бока каждого столика поставлена линейка с гвоздем наверху. Впереди в малом расстоянии от первого стола поставлена черная доска с гвоздем наверху.

Смотритель классов имеет при себе литеры в большом виде, написанные

---

[1]) Киев. Стар. 1897 г., июль—авг., стр. 65 и сл. Записка Мартоса о школе Орлова любопытна и как показатель тех великих надежд, какие возлагало тогда наше общество на ланкастерскую систему в смысле быстрого просвещения масс. Он пишет: «Смотря на сей превосходнейший способ, в наш век юношеству доставленный, переходить скорыми шагами из тьмы во свет, открывающий великолепные виды к дальнейшему просвещению, нельзя не сказать: вот наступили последние времена невежества, которое стремглав падет в бездну, как Луцифер, со всеми темными легионами своими; а божественный Свет ума, коего все желают с несытостию, взыдет на верх круга народных смыслов и будет озарять всех и вся так удобно и легко, как озаряет вселенную свет солнца».

просто на бумаге. Помощники его, стоящие каждый у линейки, числом пять, имеют каждый такие же литеры.

Глубочайшая тишина наблюдаема в классе. Смотритель по известному знаку вывешивает литеру. Помощники повторяют и также вывешивают каждый ту же букву у своей линейки, все воспитанники пишут оную на песке, после чего каждый помощник идет перед своим столом и поправляет написанную литеру. Тут делается по знаку помощника на каждом столе перемещение с места на место, т.-е. те, которые лучше писали, берут и высшее место.

Чтение букв таким же образом преподается, равномерно учение двойным и тройным складам. Сей класс называется первым или нижним классом.

Успех совершенно оправдал принятые труды для сего опыта. По прошествии четырех недель из числа 40 воспитанников 24 выучили весьма твердо читать всю азбуку не только тогда, когда покажут им какую-нибудь литеру, но знают ее на память и могут довольно хорошо написать пальцем и палочкою на песке всякую литеру без вывески оной. Они также выучились складывать и выговаривать почти все односложные склады. Остальные 16 человек, переходя с одного нумера на другой, остались на двух последних столах. Половина их знает довольно твердо азбуку читать и читать по вывешенным литерам, а другая еще знает слабо.

Второй класс или высший учрежден из 16 воспитанников, умевших уже разбирать слова, но не знавших еще писать. К ним определено два частных и один главный смотритель из воспитанников же.

В сем классе на место пульпетов восьмерных, как в первом, следует построить для каждого ученика особенный пульпет со скамейкой. Расстоянием между каждым пульпетом определяется место, достаточное, дабы воспитанник, который за пульпетом сидит, мог бы по знаку итти вперед к черной доске, где вывешена пропись.

Смотритель класса дает сигнал и называет нумер отделения. Помощник его по означенному отделению повторяет сигнал, все ученики того отделения встают с места, имея на шее повешенные аспидные дощечки, и идут в ногу до доски, становятся в полукружие и читают повешенную пропись, таким образом, что учитель называет только нумера учеников того отделения, а сии подхватывают сказанное их товарищем слово или склад, дабы повсечасно примечательность учеников была бы напряжена на предлагаемый им предмет к чтению. Окончив таким образом чтение, отделение в таком же порядке возвращается на свои места и ученики севши приготовляются списывать на аспидных досках ту же самую пропись, которая повешена была на доске и которую помощник смотрителя вывешивает на линейке во вверенном ему отделении. Другие отделения класса таким же образом подходят к доске и возвращаются на свои места.

Опыт доказал, что оные 16 учеников, еще не умевших совсем писать и едва ли могущих разбирать склады, в течение четырех недель выучились хорошо и правильно складывать, читать и писать задаваемые прописи и даже изрядно читают книги гражданской печати, чему они вовсе не обучались. Столь сильно влияние порядка и примечательности над умом молодых детей, еще не испорченных нескладным и вздорным учением.

В связи с ланкастерскоїї методой стоит и деятельность Орлова в киевском отделении Библейского общества. В августе 1819 года, будучи выбран вице-президентом отделения, он произнес в торжественном собрании общества обширную, тщательно составленную речь, которая по содержанию сделала бы честь и любому общественному деятелю нашего времени. Поблагодарив за избрание и с горячим сочувствием очертив просветительные заслуги Библейского общества, он выступил с предложением, которое открывало обществу совершенно новое поле деятельности: он предлагал устроить в Киеве бесплатную приходскую школу всеобщего обучения для сирот и детей бедных родителей, числом до 300 человек, и содействовать возникновению таких же школ в других городах. Вся речь дышала искренним энтузиазмом к делу просвещения масс и смелым либерализмом. Говоря о противниках, которых, вероятно, встретит его предложение, Орлов мастерски изобразил нравственный облик обскуранта. Эти люди, говорил он, везде и всегда одинаковы. Любители не добродетелей, а только обычаев отцов наших, хулители всего нового, враги света и стражи тьмы, они—настоящие исчадия средневекового варварства. Во Франции они гонят свободомыслие и противятся введению представительного строя; в Германии они защищают остатки феодальных прав; в Испании они раздувают костры инквизиции, в Италии восстают против распространения св. писания; наконец, наша история полна их усилий против возрождения России. Они были личными врагами нашего великого преобразователя и бунтовали против него московских стрельцов; при Елизавете они порицали уничтожение смертной казни, при Екатерине хулили ее Наказ, и еще теперь, когда лучи просвещения начинают озарять наше отечество, они употребляют все старания, чтобы вернуть его к прежнему невежеству и оградить от вторжения наук и искусств. Эти политические староверы убеждены, что они—избранники, которым все остальные люди обречены в рабство самим Промыслом, и в этоїї уверенности они присвоивают себе все дары небесные и земные, всякое превосходство, а народу предоставляют одни труды и терпение; отсюда родились все тиранические системы правления, начало которых сле-

дует искать не столько в честолюбии самих властелинов, сколько в изобретательности льстящих им и друзей невежества [1]).

Для того времени речь Орлова была незаурядным явлением, и она имела большой успех. Якушкин и И. И. Дмитриев рассказывают, что она распространилась во множестве списков. Вяземский был в восторге: «Ну, батюшка, оратор!—писал он А. И. Тургеневу.—Он и тебя за пояс заткнул: не прогневайся! Вот пустили козла в огород! Да здравствует Арзамас! Я в восхищении от этой речи... Орлов недюжинного покроя. Наше правительство не выбирать, а удалять умеет с мастерскою прозорливостью». Тургеневу речь показалась уж слишком смелой; отдавая должное пылкому патриотизму Орлова, он решительно осуждал его легкомысленный радикализм. «Лучшее в М. Орлове есть страсть его к благу отечества. Она сберегает в нем душу его, благородную и возвышенную. Но недостаток в учебном образовании везде заметен: вот школа аббата Николя! Ум и сердце в нем свои, а ученье, т.-е. недостатки в оном, принадлежат образу воспитания... Я отдаю справедливость его чувству, которое изливается из прекрасной души. Везде ищет он пользы отечества, везде мечтает о возможном благе его. Я бы держал его близ государя, но держал бы на привязи, ибо в нем нет ничего обдуманного, а опыт доказал уже нам, какой успех от несозрелых планов, от желания обратить в действо все, что сверкнет в голове, не озаренной светильником государственных познаний и наблюдений... Нет, пусть служит Орлов некоторое время внутри России, пусть узнает ее лучше нас—и тогда, если сохранит жар к добру, пусть приедет сюда согревать оледенелые члены членов Государственного Совета et comp.». Однако Вяземский упорно продолжал защищать речь Орлова,—и даже в литературном отношении, заявляя, что от пера, очиненного шпагою, большего требовать нельзя [2]).

Если уже и до того Орлов представлял собою очень за-

---

[1]) Речь Орлова напечатана в Сборнике Имп. Русск. Ист. Об., т. 78, 1891 г., стр. 519—528.

[2]) Остаф. арх. I, 299, 306, 297, 346.

метную величину в кругу либерально-настроенной молодежи, то эта речь, ходившая по рукам и в Москве и в Петербурге, должна была еще увеличить его популярность. Около этого же времени немало толков вызвали два его письма к Д. Бутурлину по поводу выхода в свет книги последнего о русских военных походах в XVIII столетии. Эти письма замечательны горячим протестом против крепостного права [1]). Так, осуждая общий дух славословия, проникающий все «Вступление» Бутурлина, он говорит: «Друг мой! Нет никого на свете, кто бы более меня привязан был чувством к славе Отечества! Но не время теперь самим себя превозносить. Ты видишь все с высокой точки умозрения — с поля сражения. Войди в хижину бедного Россиянина, истощенного от рабства и несчастия, и извлеки оттуда, ежели можешь, предвозвещение будущего нашего величия!» Та же мысль повторяется и во втором письме: «Россия подобна исполину ужасной силы и величины, изнемогающему от тяжкой внутренней болезни». Любопытны следующие строки, характеризующие политические взгляды Орлова: «Все твое рассуждение (о датчанах) основано на ложном правиле. Датчане, вручив самовластие одному человеку, не исполнили сего, чтобы спасти независимость их от внешних врагов; но единственно, чтобы избавиться от самовластия многих. Они вольным переходом передались из рук нескольких олигархов в руки одного деспота. Я тут ничего великого не вижу, кроме великого непонятия о достоинстве народа вообще и о достоинстве человека в частном отношении. Хотя, говоря о сем предмете, ты старался зацепить все нежнейшие струны моего сердца, но правила моей жизни, которые заключаются в истинной и непреклонной ненависти к тиранству, не позволили мне вдаться в расставленные тобою сети. Я остался непоколебимым в моем мнении, и если б был датчанином, то проклинал бы то мгновение, в которое предки мои подвергли меня игу деспотизма, так точно, как Россиянин должен проклинать тот несчастный закон, который осудил на рабство большую часть наших сограждан».

---

[1]) Письма Орлова к Бутурлину не напечатаны; за сообщение их приношу благодарность П. Е. Щеголеву.

Все эти речи и письма, и самая деятельность Орлова в Киеве доставили ему почетную известность. Мы увидим дальше, какое видное место он сразу занял в Союзе Благоденствия. Но уже в начале 1819 г., когда в «Вестнике Европы» появилась без подписи первая статья Каченовского, направленная против «Истории» Карамзина («Письма от Киевского жителя к другу»), ее не задумались в Москве приписать Орлову [1]). Якушкин, познакомившийся с ним только в 1820 г., уже раньше много слышал о нем от своих друзей, как о человеке «высшего разряда», а Волконский называет его «светилом среди молодежи». В самом Киеве он быстро сосредоточил вокруг себя все, что было наиболее образованного и передового как в русском, так и в польском местном обществе. В его доме стал собираться замечательный кружок людей, которых об'единяли увлечение европейской образованностью и свободными формами политического быта и страстные мечты об обновлении России. В эту атмосферу весною 1819 г. попал Волконский, приехавший на контракты в Киев и остановившийся по старой приязни у Орлова. Несколько недель, проведенных им здесь, по его словам, определили его дальнейшую участь: ежедневные общения с Орловым и его кружком, говорит он, «оказали сильное влияние на меня, развили во мне чувства гражданина, и я вступил в новую колею убеждений и действий. С этого времени началась для меня новая жизнь». Действуя в Киеве, Орлов вместе с тем, конечно, не порывал связей и со столичными друзьями, вел переписку с Вяземским, Раевским, обоими Тургеневыми и др., и Н. И. Тургенев в середине 1819 года посылал ему на просмотр проспект задуманного им политического журнала [2]).

И все-таки он чувствовал себя неудовлетворенным, томился и рвался вон из этой обстановки; душа жаждала подвигов,—не этой медленной работы на общее благо, а именно «бурной жизни за родную страну». Надуманный стоицизм тут мало помогал. «Золотые дни моей молодости уходят,—пишет он А. Раевскому в том же 1819 году,—и я с сожалением

---

1) Остаф. арх. I, 192.
2) Остаф. арх. I, 260.

вижу, как пыл моей души часто истощается в напрасных усилиях. Однако не заключайте отсюда, что мужество покидает меня. О д н о с о б ы т и е—и все изменится вокруг меня. Дунет ветер, и ладья вновь поплывет. Кому из нас ведомо, что может случиться? На все готовый, я понесу в уединение или на арену деятельности чистый характер, — преимущество, которым немногие могут гордиться в нынешний век».

IV.

Командиром 4-го корпуса, т.-е. ближайшим начальником Орлова в Киеве, был, как уже сказано, старик Раевский. Орлов был свой человек в его семье, и эта близость привела скоро к женитьбе молодого генерала на старшей дочери Раевского, Екатерине Николаевне. Со старшим сыном Раевского, Александром, служившим эти годы в Петербурге, Орлов был дружен еще по боевому товариществу и совместной жизни во Франции: мы видели выше, что между ними шла переписка уже в 1819 году. С другой стороны, Пушкина Орлов знал еще по Петербургу, а с младшим из Раевских, Николаем, Пушкин был уже до своей сылки на юг в самых дружеских отношениях.—Так завязался узел, в котором жизнь Пушкина на некоторое время сплелась с жизнью Раевских и Орлова.

Когда будет написана биография Пушкина, Раевским и Орлову будет отведено в ней видное место. В течение четырех лет (1820—24) влияние разных членов этой семьи было доминирующим в его жизни. Сначала четырехмесячное путешествие со всеми Раевскими на Кавказ и в Крым, затем двухлетняя близость с Орловым в Кишиневе, наконец, тесная дружба с Александром Раевским в Одессе, и на придачу долгая влюбленность в одну из барышень Раевских, должны были ярко отразиться на развитии Пушкина,—и это как раз в те годы, когда окончательно складывались его характер и мировоззрение. Наибольшую важность представляет здесь, конечно, ряд личных влияний, а это были, каждая в своем роде, все богатые и самобытные индивидуальности; но важны и те общие идейные течения, с которыми он столкнулся в этом кругу. Только пять лет назад кончилась Отечественная

война, где старик Раевский был одним из главных деятелей, где Орлов связал свое имя с капитуляцией Парижа, где и Александр Раевский получил свое боевое крещение; в них наверное еще не совсем остыло патриотическое и военное одушевление тех дней, и их рассказы были для Пушкина живою летописью той эпохи. Вместе с тем чрез них же в Кишиневе и Каменке он соприкоснулся непосредственно с тем общественным движением, которое привело затем к 14-му декабря. Таким образом чрез эту семью шли оба главных влияния, которые определили политическую мысль Пушкина: монархический патриотизм 12-го года и революционная идеология декабристов. Если прибавить к этому, что и с Байро́ном Пушкин познакомился благодаря Раевским, то их важная роль в истории его жизни и творчества будет очевидна.

Центральной фигурой этого пушкинского кружка был, конечно, сам Раевский, человек выдающийся не только по военному таланту, но и по высоким душевным качествам, прекрасныя цельностью и прямотой натуры и полным отсутствием аффектации, очаровавшия двух наших поэтов—Батюшкова в 1814 г. и Пушкина в 1820. Последний с восторгом отзывался о его ясном уме, свободном от предрассудков, сильном характере, простой и прекрасной душе, готовой на участие и дружбу. Мы увидим дальше, как много нежности таил в себе под суровой оболочкой этот знаменитый русский генерал, так похожий на античного полководца [1]).

В середине мая 1820 г. Раевский с младшим сыном Николаем и двумя дочерьми-подростками, в том числе Марией, будущей декабристкой Волконской, пустился в путь из Киева на Кавказские воды, куда уже до них прибыл, чтобы лечить старую рану в ноге, его старший сын Александр. Как известно, этой скромной лечебной поездке суждено было стать исторической: в Екатеринославе, по пути из Киева на Кавказ, Николай Раевский младший (т.-е. сын) разыскал своего петербургского приятеля Пушкина, только что приехавшего в ссылку и лежавшего здесь в жестокой лихорадке, и с согла-

---

[1]) Сколько-нибудь сносной биографии Раевского нет; библиографию см. в Русск. Вестн., 1898 г., март.

сия Инзова Раевские увезли с собою молодого поэта на Кавказ и потом в Крым. Эта встреча в Екатеринославе едва ли была случайной. Раевские, без сомнения, знали, что в Екатеринославе найдут Пушкина: 7-го мая одна из дочерей, Екатерина Николаевна, посылая из Петербурга письмо брату Александру в Киев, об'ясняет в P. S., почему оно идет почтою: «мама забыла послать его с Пушкиным», а из писем старика видно, что в Екатеринослав они приехали в 10 ч. веч. и уехали из него на другой день после завтрака; между тем молодой Раевский еще в тот же вечер успел разыскать Пушкина и к полудню уладил его поездку.

Четыре месяца, проведенные Пушкиным на Кавказе и в Крыму среди Раевских, принадлежат к счастливейшим дням его жизни. В сентябре, рассказывая в письме к брату об этой поездке, он писал: «Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства,—жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался; счастливое полуденное небо; прелестный край, природа, удовлетворяющая воображение, горы, сады, море: друг мой, любимая моя надежда увидеть опять полуденный берег и семейство Раевского».

В эти месяцы, когда Пушкин (как он вспоминал уже много позднее) подолгу сиживал на берегах Подкумка с Александром Раевским,—у последнего шла деятельная переписка с Орловым, остававшимся в Киеве.

30-го мая 1820 г. Орлов пишет [1]): «Я обещал писать и посылать газеты. И то, и другое исполняю, в надежде, что твои обещания также исполнятся, любезный Александр Николаевич. Ожидать буду твоего ответа с нетерпением, помня, что он мне даст подробное понятие о положении того края, в котором ты основал свою жизнь на некоторое время». «Новостей политических мало,—пишет он далее. — Говорят, что в Риме открыт заговор и что по сему случаю 35 тыс. австрийцев выступили к сему городу... Везде огонь живет под пеплом, и я очень думаю, что XIX век не пробежит до четверти без развития каких-нибудь странных происшествий». На-днях

---

[1]) По-русски, как и следующие письма.

приятельские рассказы пояснили ему многое, но эти известия он не может доверить бумаге. «Когда увидишь Алексея Петровича (Ермолова), бей ему от меня челом. Поклон и простого римского гражданина не должен быть отвергнут римским проконсулом, какова бы ни была его слава». В конце письма характерная просьба—отвечать по-русски. О том же просит потом однажды Пушкин из Кишинева брата.

19-го июня Орлов пишет: «Посылаю тебе несколько газет, в которых найдешь все то же, что и прежде, то-есть бесконечные споры между гасителями, коих не должно пускать тушить, и светилами, коим не должно позволять жечь.

«Я, наконец, назначен дивизионным командиром. Прощаюсь с мирным Киевом, с сим городом, который я почитал сперва за политическую ссылку и с коим не без труда расстаюсь. Милости твоего батюшки всегда мне буду предстоять, и я едва умею выразить, сколь мне прискорбно переходить под другое начальство. Но должно было решиться. Иду на новое поприще, где сам буду настоящим начальником».

Последнее сохранившееся письмо, от 13-го октября, любопытно, как свидетельство полной зрелости мысли в области конкретных политических вопросов.

«Любезный друг, благодарю за твое занимательное письмо из Крыма, которым я тем более был доволен, что оно писано по-русски и довольно чистым русским языком. Известия о Грузии и о подвигах или намерениях Ермолова весьма важны, но мне кажется, что со всем его умом он довершить общего успокоения той страны не в состоянии. Так же трудно поработить чеченцев и другие народы того края, как сгладить Кавказ. Это дело исполняется не штыками, но временем и просвещением, которого и у нас не избыточно. При падении листов сделают еще экспедицию, повалят несколько народа, разобьют толпу неустроенных врагов, заложат какую-нибудь крепостцу и возвратятся во-свояси, чтобы опять ожидать осени. Этот ход дела может принести Ермолову большие личные выгоды, а России никаких. Впрочем, я не его виню. Обстоятельства и прежние меры начальников и предместников его сделали из Грузии в отношении нашего отечества, так сказать, политическую фистулу. Через оную Россия потеряла

много крови и соков. Но со всем тем в этой непрерывноїї войне есть что-то величественное, и храм Януса для России, как для древнего Рима, не затворяется. Кто, кроме нас может похвастаться, что видел вечную войну?»

V.

Когда Пушкин в сентябре, расставшись с семьеїї Раевских, приехал в Кишинев, куда его начальник Инзов тем временем перевел свою канцелярию из Екатеринослава, он уже застал здесь Орлова, которыїї, наконец, после пятикратного отказа, получил дивизию, именно 16-ю пехотную дивизию второй армии, стоявшую в Кишиневе. Этим назначением он был обязан ходатаїйству главнокомандующего 2-ïї армии, гр. Витгенштейна, и давнеїї дружбе с Киселевым, которыїї в то время состоял начальником штаба при Витгенштеїне. Очевидно, ему с большоїї неохотоїї вручали активное командование, да и то лишь возможно дальше от центра, в далекоїї и некультурноїї окраине.

Как свидетельствуют письма, Орлов выехал из Киева в Кишинев 10-го июля 1820 г. В Тульчине, по пути из Киева на место новоїї службы, он стал членом таїйного общества. Его приняли Фон-Визин, Пестель и Юшневскиї. Позднее, на следствии по делу 14-го декабря, он заявлял, что к вступлению в Союз Благоденствия его побудили их упреки, «что, зная все их таїйны и имена многих, не великодушно мне не разделять их опасности» [1]). Это звучит правдоподобно,—и во всяком случае несомненно, что он вступил в таїйное общетсво без мысли об активноїї революционноїї деятельности. В одном из летних писем к А. Раевскому на Кавказ, сообщая о своеїї встрече с С. И. Тургеневым, он с большим сочувствием отзывался о перемене, происшедшеїї в Тургеневе: «Правила оставил те же, но скромность в выражениях, постепенность в желаниях, принятие плана жизни и службы доказывают, что на-

---

[1]) М. В. Довнар-Запольскиї, Мемуары декабристов, 1906 г., стр. 6.

ступило время зрелости и что рассудок взял перевес над пылкостью страстей». Эти слова характеризуют настроение самого Орлова. Конечно, и он остался тот же и все так же верил в неизбежность «события», но все яснее становилось ему, что надо запастись терпением, что для «события» нужно особенное стечение обстоятельств, которого, может быть, придется еще долго ждать; а пока нельзя же было жить все на бивуаках, надо было подумать о том, чтобы «принять план жизни и службы». Сюда присоединялось еще и личное соображение: он уже давно любил Екатерину Николаевну Раевскую и как раз теперь готовился просить ее руки. Итак, он ехал в Кишинев с мыслью о более прочном устройстве, и мы видели, как доволен он был своим новым назначением, которое открывало ему сравнительно широкий простор для мирной культурной деятельности. В том самом письме, которым он извещал А. Раевского о своем переводе в Кишинев, он писал: «Политика запружена и Бог знает, когда потечет. Я также строю умственную насыпь, чтоб запрудить мысли мои. П у с к а й п о к о я т с я д о в р е м е н и».

Им пришлось покоиться недолго. Осенью этого же года, когда решен был вопрос о созыве на январь в Москву виднейших членов Союза Благоденствия,—в числе предполагаемых участников с'езда был намечен и Орлов, и хотя он вступил в тайное общество всего несколько месяцев назад, его участие признали настолько важным, что Якушкин, ехавший по этому делу в Тульчин, должен был нарочито, с письмом от Фон-Визина, заехать в Кишинев, чтобы пригласить на с'езд Орлова.

В своих записках Якушкин подробно описал и это первое свое знакомство с Орловым, и роль последнего на московском с'езде. Его правдивость стоит вне сомнений, но и здесь, как во всяких мемуарах, надо строго различать три вещи: 1) обе'ктивные факты, 2) отношение к ним автора в момент самого действия, и 3) его отношение к ним в момент писания. Записки свои Якушкин писал много лет спустя; его рассказ проникнут явным недружелюбием к Орлову, и это его отношение часто резко противоречит не только самим фактам, которые он передает, но и его собственному т о г д а ш н е м у

отношению к этим фактам, поскольку оно явствует из его же рассказа.

Так, его рассказ с совершенной очевидностью свидетельствует о том, что Орлов произвел на него как нельзя более выгодное впечатление, и не только как симпатичный человек, располагавший к себе добротою и ласковостью обхождения, но и как убежденный и крайне ценный член тайного общества. Он рассказывает, что на его увещания приехать в Москву, Орлов отвечал, что пока наверное обещать не может, и с своей стороны звал его к Давыдовым в Каменку, куда сам ехал с Охотниковым. Якушкину очень не хотелось, да и незачем было, ехать в Каменку, но когда Охотников шепнул ему, что, едучи с ними, он легче уговорит Орлова,—Якушкин решился ехать к Давыдовым и, приехавши, прожил у них все время, что и Орлов,—целую неделю; при прощании Орлов действительно дал ему слово приехать на с'езд в Москву. Надо знать непоколебимую убежденность Якушкина и его твердый характер, чтобы понять смысл этого эпизода. Очевидно, узнав Орлова лично, он счет его присутствие на с'езде делом исключительной важности.

О поведении Орлова на этом с'езде существует два диаметрально-противоположных показания. Одно принадлежит Якушкину, в другом совпадают три других участника с'езда—Волконский, Граббе и Н. Тургенев. Якушкин рассказывает, что Орлов привез писанный проект условий, на которых он соглашался быть членом общества; именно, он предлагал перейти к крайним революционным действиям и прежде всего завести тайную типографию и фабрику фальшивых ассигнаций. Разумеется, его план вызвал только общее изумление; «но ему,—говорит Якушкин,—того-то и нужно было. Помолвленный на Раевской, в угодность ее родным он решился прекратить все сношения с членами тайного общества; на возражения наши он сказал, что если мы не принимаем его предложений, то он никак не может принадлежать к нашему тайному обществу. После чего он уехал и ни с кем из нас более не видался».

О таком предложении Орлова ни одним словом не упоминают трое других участников с'езда. Волконский,—как мы ви-

дели, старый друг Орлова,—с'ехался с ним (и Охотниковым) в Тульчине, чтобы вместе ехать на с'езд в Москву. Проездом чрез Киев, рассказывает он, Орлов решился сделать давно задуманный шаг—просить руки Екатерины Николаевны Раевской. Переговоры шли через А. Н. Раевского, и последний поставил ему коренным условием выход из тайного общества, так что, выезжая из Киева, Орлов был в нерешительности, что ему делать. Обстоятельства указали ему выход. На с'езде с самого начала получено было извещение от петербургской думы, что правительство следит за действиями тайного общества и что поэтому благоразумнее будет формально закрыть общество и действовать каждому в одиночку. Так и было решено, и к этому решению примкнул Орлов. То же самое рассказывают о с'езде и роли Орлова Тургенев и Граббе, при чем первый сообщает, что Орлов с самого начала заявил о своем намерении выйти из общества, а второй добавляет, что предложений, приписываемых Якушкиным Орлову, последний не делал, иначе их слышали бы все—«тем более, что его слова непременно принимались с напряженным вниманием» [1]).

Показание Якушкина настолько противоречит духовному облику Орлова и всем фактам его дальнейшей жизни (между прочим, и позднейшим отношениям к нему таких непреклонных революционеров, как Охотников или В. Ф. Раевский), что его приходится совершенно отвергнуть [2]). На такое низкое лицемерие Орлов был неспособен, да ему и не простили бы его. Ошибка об'ясняется просто: Якушкин, очевидно запамятовав, следовал в этом месте своих воспоминаний записке тайного агента Грибовского, составленной, конечно, на основании доносов и сплетен [3]). Дело было, без сомнения,

---

[1]) Сравн. показание Комарова,—Довнар-Запольский, цит. соч., стр. 34—35.

[2]) В письме к редактору Колокола по поводу выхода в свет записок Якушкина Н. И. Тургенев говорит, между прочим: «Я нахожу также несколько неосновательных и неверных рассказов о других лицах, кроме меня, и именно о Мих. Орлове» (Колокол, № 155, от 1 февр. 1863 г.).

[3]) См. Записки И. Д. Якушкина, стр. 53, и Р. Стар. 1872, VI, стр. 602. Кроме того: Тургенев, La Russie et l. R., I, 118. Волконский, 410—12, Р. Стар. 1873, март, 374 и 1872, май, 775 сл.

так, как изобразил его Волконский. Пред нами письмо Орлова к сестре от 12-го февраля (1821 г.) из Киева; извещая сестру о своей помолвке с Раевской, он извиняется, что из Москвы не заехал к ней в Ярославль: «нетерпение узнать исход моего предложения заставило меня спешить обратно». Очевидно, по пути в Москву он сделал предложение чрез А. Раевского, который обещал приготовить ему ответ к обратному проезду; значит, дело было за согласием Екат. Ник. и ее родителей.

VI.

Свадьба состоялась 15-го мая 1821 года. В Кишиневе молодые зажили на широкую ногу, заняв два смежных дома и держа свой стол открытым для всей военной молодежи. Орлов был не только самое важное после наместника лицо в городе и не только большой барин и аристократ, но и человек высоко стоявший над толпою по образованности, характеру и убеждениям. Вигель в нескольких злобных строках очень живо изображает кишиневскую обстановку Орлова: «Прискорбно казалось не быть принятым в его доме, а чтобы являться в нем, надобно было более или менее разделять мнения хозяина... Два демагога, два изувера, ад'ютант Охотников и майор Раевский, с жаром витийствовали. Тут был и Липранди... На беду попался тут и Пушкин, которого сама судьба всегда совала в среду недовольных. Семь или восемь молодых офицеров генерального штаба известных фамилий... с чадолюбием были восприяты. К их пылкому патриотизму, как полынь к розе, стал прививаться тут западный либерализм. Перед своим великим и неудачным предприятием нередко посещал сей дом с другими соумышленниками князь Александр Ипсиланти... Все это говорилось, все это делалось при свете солнечном, в виду целой Бессарабии». Вигель не преувеличивает: все, что мы знаем о кишиневской жизни Орлова, показывает, что он действительно был здесь центром политического вольнодумства, а его дом—как бы либеральным клубом. О степени этого вольнодумства можно судить по тому, что всех ближе к Орлову были в Кишиневе два край-

них радикала—его ад'ютант Охотников и известный В. Ф. Раевский [1]).

В этом доме Пушкин был едва ли не ежедневным гостем [2]).

«У нас, — пишет Екат. Ник. брату Александру (конец 1821 г.),—беспрестанно идут шумные споры—философские, политические, литературные и др.; мне слышно их из дальней комнаты. Они заняли бы тебя, потому что у нас немало оригина́лов». «Пушкин,—пишет она в другой раз (12-го ноября 1821 г.),—больше не корчит из себя жестокого, он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно. Он только что кончил оду на Наполеона, которая, по моему скромному мнению, хороша, сколько я могу судить, слышав ее частью один раз». «Мы очень часто видим Пушкина, который приходит спорить с мужем о всевозможных предметах. Его теперешний конек — вечный мир аббата Сен-Пьера. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир, и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия. Я хотела бы видеть, как бы ты

---

[1]) Биография В. Ф. Раевского написана П. Е. Щеголевым и издана отдельно в 1905 г. О рано умершем Охотникове известно мало; вот его любопытная характеристика, сделанная М. Ф. Орловым в письме к жене (Орлов пишет из своей калужской деревни в апреле 1823 г.): «Охотников пробыл здесь два дня и, все раскритиковав, все разбранив, изложив все свои философские воззрения, увозит теперь это письмо, с тем, чтобы сдать его на почту в Козельске или Мещовске. Не знаю ничего несноснее этого воплощенного нравственного совершенства, которое оговаривает всякий чужой поступок и берет на себя роль ходячей совести своих друзей. В сущности он прекраснейший и достойнейший человек, и я люблю его от всей души, но у него привычка говорить другому в лицо самые грубые истины, не догадываясь, что каждая из них бьет того словно обухом по голове». Сравн. отзыв Липранди, Р. Арх. 1866, № 8—9, стр. 1252.

[2]) Что Орлов знал его еще из Петербурга, доказывается письмом Орлова к А. Н. Раевскому на Кавказ, от 8 июля 1820 г. где есть «поклон юному Аруету Пушкину».

сцепился с этими спорщиками» (23-го ноября 1821 г.). Во время одной отлучки жены-из Кишинева Мих. Фед., рассказывая ей в письме, как проходит его день, писал: «К обеду собираются мои приятели. После обеда иногда езжу верхом. Третьего дня поехал со мною Пушкин и грохнулся о-земь. Он умеет ездить только на Пегасе, да на донской кляче». 8-го декабря 1822 г. Екат. Ник. пишет брату: «Посылаю тебе письмо, кажется от Пушкина; его принесла г-жа Тихонова... Пушкин послал Николаю отрывок поэмы, которую не думает ни печатать, ни кончать. Это странный замысел, отзывающийся, как мне кажется, чтением Байрона.—Его дали Муравьевым, которые привезут его тебе». Это были, конечно, «Братья-разбойники». В Кишинев приезжали к Орловым родные—Раевские, Давыдовы, все люди уже близкие Пушкину, и сам он ездил с Орловыми в Киев и Каменку к их родным; словом, он стал как бы приемным членом семейства [1]).

VII.

Однако вернемся к Орлову. Мы видели, с какими мыслями он ехал в Кишинев: новая должность открывала ему больший простор для гуманитарной деятельности и, главное, ставила его в непосредственное общение с «народом» в лице серой солдатской массы. На эту массу и направилось теперь все его внимание. Его первой заботой по принятии начальства над 16-й дивизией было категорически запретить употребление на ученьях палок, шомполов и тесаков, его вторым делом—призвать В. Ф. Раевского к управлению уже раньше учрежденной при дивизии ланкастерской школой. И затем в продолжение всего двухлетнего времени своего командования дивизией он широко и энергично действовал в этих двух направлениях. Он не только совершенно искоренил жестокость в обращении с солдатами, но и всеми мерами ста-

---

[1]) Екат. Ник. Орлова послужила Пушкину прообразом для его Марины в «Борисе Годунове». В сентябре 1825 г. он писал Вяземскому из Михайловского: «Моя Марина славная баба: настоящая Катерина Орлова! знаешь ее? Не говори однакож этого никому». (Соч. Пушкина, изд. Академии Наук. Переписка, под ред. В. И. Саитова, т. I, СПБ. 1906, стр. 289).

ралея пробуждать в них чувство человеческого достоинства,—например, принимал жалобы относительно наказаний, которым они подвергались со стороны их ближайшего начальства, и наряжал следствия по таким делам. Дивизионная ланкастерская школа под руководством В. Ф. Раевского развилась блестяще, и то, что делалось в ней и что вскоре погубило Раевского, делалось, конечно, с ведома и одобрения Орлова. Не ограничиваясь Кишиневом, Орлов основал ряд таких же училищ в тех городах и местечках дикой тогда Бессарабии, где были расположены отдельные части его дивизии, и тратил на них немало собственных денег.

Военные нравы в тогдашней России были жестоки. В той же Бессарабии, кроме 16-й, Орловской, дивизии, стояла другая—17-я, которою командовал Желтухин. Чтобы получить наглядное представление о положении русского солдата в то время, достаточно прочитать небольшую «записку» о происшествии, случившемся в этой дивизии в 1822 году, хранящуюся в военно-ученом архиве. В мае этого года корпусный командир Сабанеев, обратив внимание на участившиеся побеги из 17-й дивизии, где из одного только Екатеринбургского полка за шесть недель бежало 28 человек, поручил майору Липранди и аудитору Маркову произвести следствие. Допросив пять человек дезертиров, Липранди так излагал их показания:

1-е. Жители продовольствовали их так дурно, что солдаты терпели даже голод.

2-е. Ученье слишком изнурительное производится два раза в день, во время коего всегда по несколько человек падают во фронт от сильной затяжки на груди ранцевых ремней, и за малейшую ошибку, начиная от дивизионного командира до последнего унтер-офицера, бьют. Один из них показал, что, когда зашли по отделениям направо, унтер-офицер заметил его в ошибке и бил до тех пор по шее и лицу, пока упал без чувств; вообще, унтер-офицеры дают по нескольку сот палок. Сверх всего этого, по вечерам учат их пунктикам из рекрутской школы.

3-е. Содержание амуниции в требуемой чистоте, разоряя их, затрудняет до невероятности. Ранцы во всей дивизии выворочены и лакируются сапожною ваксою на собственный счет солдат; перевязи и портупеи натирают белым воском после мелу. В случае же невыполнения по неимению денег и иных средств таковых требований, наказывают жестоко, как например, 2-й гренадерской роты капитан за невычищение воском перевязи наказал одного из них 300 ударов палок.

4-е. Сии самые причины вынудили их бежать; к чему 1-й гренадерской роты рядовой, служащий 12 лет, бывший уже в двух войнах и имеющий три раны, прибавил, что он хотел застрелиться, но как христианин предпочел умереть от руки басурманов и потому бежал, зная, что они режут головы; но, имея несчастье быть пойманным, просит, чтоб его расстреляли.

5-е. Бежавших 17-й дивизии за границей в Молдавии очень много, так что почти в каждом селении встречаешь русского—многие из них турками взяты и будут доставлены.

6-е. Второй баталион Екатеринбургского полка содержит караул в Липканах и Хотине, что, отстоявши сутки в карауле в Липканах, идут в Хотин и, придя после полуночи, начинают чистить амуницию и утром вступают снова в караул. В этот же день делают и ученье для того, что генерал Желтухин, несмотря ни на какие обстоятельства, требует, чтобы резервные баталионы равнялись в ученьи действующим.

На этом черном фоне деятельность Орлова выделяется ярким пятном. Читатель не посетует на нас, если мы приведем здесь два образчика Орловских приказов по дивизии; с той поры прошло 80 лет, но и теперь военные нравы еще далеко не достигли того уровня человечности, какой ставил себе целью Орлов. Вот один из его первых приказов, изданный 3-го августа 1820 года, т.-е. через неделю или две по его прибытии в Кишинев:

Вступив в командование 1-ю пехотною дивизиею, я обратил первое мое внимание на пограничное расположение оной и на состояние нижних чинов. Рассматривая прежний ход дел, я удивился великому числу беглых и дезертиров. Устрашился, увидев, что начальство для прекращения побегов принуждено было приступить к введению смертной казни в сей дивизии, тогда как оная казнь в мирное время целой России неизвестна. Сие должно доказать каждому и всем, сколь велико то зло, для искоренения которого принята правительством столь строгая мера, противная столь общему обычаю Отечества нашего.

Побеги в войсках могут случиться от многих разных причин, из коих главнейшие суть:

1) Недостаток в пище и пропитании. Я не думаю, чтоб нашелся хотя один чиновник в дивизии, который осмелился не допустить солдату следуемую ему пищу, положенную правительством; но ежели сверх чаяния моего таковые злоупотребления существуют где-либо в полках вверенной мне дивизии, то виновные недолго от меня скроются, и я обязуюсь перед всеми честным моим словом, что предам их военному суду, какого бы звания и чина они ни были, все прежние их заслуги падут пред сею непростительною виною, ибо нет заслуг, которые могли бы в таком случае отвратить от преступного начальника тяжкого наказания.

2) Послабление военной дисциплины. Сим разумею я некоторый дух бес-

печности и нерадения, в частных начальниках тем более предосудительный, что пример их действует быстро на самих солдат, порождает в сих последних леность и от лености все пороки. Я прошу г.г. офицеров заняться крепко своим делом, быть часто с солдатами, говорить с ними, внушать им все солдатские добродетели, пещись о всех их нуждах, давать им пример деятельности и возбуждать любовь к Отечеству, поручившему им свое хранение и свою безопасность.

Когда солдат будет чувствовать все достоинство своего звания, тогда одним разом прекратятся многие злоупотребления, а от сего первого шага будет зависеть все устройство дивизии. Большая часть солдат легко поймут таковые наставления, они увидят попечение начальства и сами почувствуют свои обязанности. Я сам почитаю себе честного солдата и другом и братом.

3) Слишком строгое обращение с солдатами и дисциплина, основанная на побоях. Я почитаю великим злодеем того офицера, который, следуя внушению слепой ярости, без осмотрительности, без предварительного обличения, часто без нужды и даже без причины употребляет вверенную ему власть на истязание солдат. Я прошу г.г. офицеров подумать о следующем: от жестокости и несправедливости в наказаниях может родиться отчаяние, от отчаяния произойти побег, а побег за границу наказывается смертью; следовательно, начальник, который жестокостью или несправедливостью побудит солдата к побегу, делается настоящим его убийцею; строгость и жестокость суть две вещи разные, одна приличка тем людям, кои сотворены для начальства, другая свойственна тем только, коим никакого начальства поручать не должно. Сим правилом я буду руководствоваться, и г.г. офицеры могут быть уверены, что тот из них, который сделается в жестокости, лишится в то же время навсегда команды своей.

Из сего приказа моего легко можно усмотреть, в каком духе я буду командовать дивизию. В следующих приказах я дам на сей предмет положительные правила, но я желаю, чтобы прежде всего г.г. начальники вникнули в мое намерение и, убедившись в необходимости такового с солдатами обращения, сделались бы мне сподвижниками в учреждении строгой, но справедливой дисциплины.

Предписываю в заключение прочитать приказ сей войскам в каждой роте самому ротному командиру, для чего, буде рота рассеяна по разным квартирам, то сделать общий об'езд оным. Ежели при об'езде полков солдаты по спросе моем скажут, что им сей приказ не извещен, то я за сие строго взыщу с ротных командиров. Подлинный подписал генерал-майор Орлов I-й.

Другой приказ Орлова относится к январю 1822 г., т.-е. к последним дням его командования 16-й дивизией.

Думал я до сих пор, что ежели нужно нижним чинам делать строгие приказы, то достаточно для офицеров просто об'яснить их обязанности, и что они почтут за счастье исполнять все желания и мысли своих начальников; но, к удивлению моему, вышло совсем противное. Солдаты внемлют одному слову начальника; сказал: побеги вас бесчестят, и побеги прекратились. Офицеров, напротив того, просил неотступно укротить их обращение с солдатами, заниматься

своим делом, прекратить самоправные наказания, считать себя отцами своих подчиненных; но и по сих пор многие из них, несмотря ни на увещания мои, ни на угрозы, ни на самые строгие примеры, продолжают самоправное управление вверенными им частями, бьют солдат, а не наказывают, и не только пренебрегают исполнением моих приказов, но не уважают даже и голоса самого главнокомандующего.

В Охотском пехотном полку г.г. майор Вержейский, капитан Гимбут и прапорщик Попаревский жестокостями своими вывели из терпения солдат. Общая жалоба нижних чинов побудила меня сделать подробное исследование, по которому открылись такие неистовства, что всех сих трех офицеров принужден представить я к военному суду. Да испытывают они в солдатских крестах, какова солдатская должность. Для них и для им подобных не будет во мне ни помилования, ни сострадания.

И что ж? лучше ли был баталион от них жестокости? ни частной выправки, ни точности в маневрах, ни даже опрятности в одеянии—я ничего не нашел; дисциплина упала, а нет солдата в баталионе, который бы не почувствовал своими плечами, что есть у него начальник.

После сего примера, кто меня уверит, что есть польза в жестокости и что русский солдат, сей достойный сын отечества, который в целой Европе почитаем, не может быть доведен без побоев до исправности? Мне стыдно распространяться более о сем предмете, но пора быть уверенным всем г.г. офицерам, кои держатся правилам и примерам Вержейского и ему подобных, что я им не товарищ и они заблаговременно могут оставить сию дивизию, где найдут во мне строгого мстителя за их беззаконные поступки.

Обратимся к нашей военной истории: Суворов, Румянцев, Потемкин, все люди, приобретшие себе и отечеству славу, были друзьями солдат и пеклись об их благосостоянии. Все же изверги, кои одними побоями доводили их полки до наружной исправности, все погибли или погибнут; вот примеры, которые ясно говорят всем и каждому, что жестокое обращение с нижними чинами противно не только всем правилам, но и всем опытам. В заключение всего об'являю по дивизии: 1-е, г. майору Вержейскому отказать от баталиона, а на место него назначаю 32-го егерского полка майора Юмина, 2-е, г. капитану Гимбуту отказать от роты; 3-е, г. прапорщику Попаревскому отказать от всякого рода команды; 4-е, всех сих офицеров представляю к военному суду и предписываю содержать на гауптвахте под арестом впредь до разрешения начальства.

Кроме сего, по делу оказались менее виноватыми следующие офицеры, как-то: поручику Васильеву в уважение того, что он молодых лет и бил тесаками нижних чинов прежде приказов г. главнокомандующего, г. корпусного командира и моего, майорам Карчевскому и Данилевичу, капитану Парчевскому, штабс-капитанам Станкевичу и Гнилоспрову, поручикам Калковскому и Тимченке и подпоручику Китицину за самоправные наказания, за битье из собственных своих рук, делаю строгий выгоров. Об'являю им две вещи: первую, что так как многие из них не спрошены комиссиею, то могут они, если чувствуют себя невинными, рапортом прямо на мое имя требовать суда, но тогда подвергнутся

всем последствиям оного, и 2-е, что ежели еще за ними откроются таковые поступки, то подвергнутся участи Вержейского, Гимбута и Понаревского.

Предписываю приказ сей прочитать по ротам и об'явить совершенную мною благодарность нижним чинам за прекращение побегов в течение моего командования.

Когда позднее над Орловым было наряжено следствие, ему, между прочим, был поставлен в вину случай с рядовым Суярченкоїї, и вот как сам Орлов излагал это дело в своем ответном донесении. Во время смотра 31-го егерского полка при опросе 9-ї роты рядовоїї Алексей Суярченко заявил ему, что ротный командир, поручик Турчанинов, ударил его эфесом в бок так сильно, что он долго не мог дышать. Орлов вызвал Турчанинова в круг роты и пригрозил, что отнимет у него команду; Турчанинов извинился, прося приписать свой поступок минутной вспыльчивости, а не обычаю обращаться жестоко с нижними чинами. Чтобы удостовериться в этом, Орлов, отослав поручика, опросил роту, и когда все солдаты единогласно подтвердили ему, что не имеют никакой другой жалобы на своего ротного командира, он снова призвал Турчанинова в круг роты и сказал ему:

— Вы счастливы, что командуете честными солдатами, которые не хотели воспользоваться гневом моим против вас. Ваша участь зависела от них. Ежели б один рядовой еще пожаловался на вас, то после примера вашей вспыльчивости, в коем вы сами предо мною сознались, я был бы принужден отдать вас под следствие и отнять роту. Помните мое снисхождение и старайтесь на будущее время не употреблять законопротивных наказаний.

VIII.

Не прошло и года, как имя командира 16-й пехотной дивизии сделалось как бы нарицательным. Разумеется, о нем пошла двойная слава. Как смотрели на него подчиненные и солдаты, об этом, можно сказать, художественно свидетельствует донесение тайного агента из Кишинева, 1821 года. В ланкастерскоїї школе, сообщает он, учат «кроме грамоты» «и толкуют о каком-то просвещении». «Нижние чины говорят: дивизионный командир (т.-е. Орлов) наш отец, он нас про-

свещает. 16-ю дивизию называют орловщиной... Липранди (подполковник, член тайного общества) говорит часовым, у него стоящим: «не утаивайте от меня, кто вас обидел, я тотчас доведу до дивизионного командира. Я ваш защитник. Молите Бога за него и за меня. Мы вас в обиду не дадим, и как часовые, так и вестовые, наставление сие передайте один другому» [1]). Здесь характерно и отношение к Орлову Липранди. Еще более, интимнее был ему предан Охотников, а В. Ф. Раевский в марте 1822 года из Петропавловской крепости писал кишиневским друзьям:

Скажите от меня Орлову,
Что я судьбу мою сурову
С терпеньем мраморным сносил,
Нигде себе не изменил.

Очевидно, ему еще и тут было нужно и дорого одобрение Орлова.

А начальство Орлова, ближнее и дальнее, смотрело на него косо и позаботилось учредить за его дивизией секретный надзор. Прежде всего, его дивизия сильно отставала по фронтовой части, потому что без смертного боя нельзя было вдолбить знаменитые три учебных шага; а затем, в штабе 2-й армии, к которой принадлежала дивизия Орлова, уже знали о неблагонадежности В. Ф. Раевского. Начальником этого штаба был Киселев; искренно любивший и уважавший Орлова, но державшийся правила, что «в службе нет дружбы».

Надо думать, что Сабанеев, корпусный командир, т.-е. ближайший начальник Орлова, ждал только первого случая, чтобы освободиться от него. Таким случаем и явился небольшой бунт в Камчатском полку, входившем в состав Орловской дивизии. Узнав об этом происшествии от самих ослушников, Орлов приказал бригадному командиру Пущину произвести следствие, а сам в тот же день, как и предполагал заранее, выехал к больной жене в Киев. Тайно извещенный Сабанеев нагрянул из Тирасполя на следующий день, когда Пущин еще и не начинал следствия, и, не застав Орлова, поднял шум [2]).

---

[1]) Рус. Стар. 1883, декабрь, 657—8.

[2]) Воспоминания Липранди, Р. Арх., 1866, № 10, стр. 1438—41.

Это было в декабре 1821 года, всего через полгода после женитьбы Орлова. В высших военных сферах началось против него дело, еще более осложнившееся после того, как в феврале следующего года Киселев решился, наконец, арестовать В. Ф. Раевского по обвинению в преступной пропаганде среди солдат.

Орлова обвиняли в том, что он распустил дисциплину в своей дивизии, потакает солдатам, ведет панибратство с подчиненными, вверил учебные заведения первому вольнодумцу в армии. Ему ставились в вину, между прочим, и приведенные выше два его приказа, а также чтение их перед ротами. Разобрать дело было поручено Киселеву. Он не приписывал Орлову преступных замыслов,—он только обвинял его в слабости и чрезмерной доброте, которою-де пользовались люди, как Раевский, для достижения своих целей; и еще более он осуждал «фальшивую филантропию» Орлова, утверждающего, «что нравственные способы приличнее и полезнее тех, которые невеждами употребляются». Все хорошо в меру, говорил Киселев: не надо калечить людей, но и палки у унтерофицеров незачем отнимать, да и вообще «мечтания Орлова хороши в теории, но на практике никуда не годятся». Сабанеев и слышать не хотел об оставлении Орлова дивизионным командиром, и сам Киселев соглашался, что Орлову 16-й дивизией более командовать нельзя [1]).

Киселев предлагал Орлову почетный выход—проситься в отпуск, «на воды», а там ему дадут другую дивизию; но Орлов заупрямился и требовал формального суда. Дело тянулось почти полтора года и получило большую огласку, повидимому, даже и за пределами России. «Сабанеев думал, что одним ударом меня сшибет,—писал Орлов А. Раевскому.—Ударил и подул в пальцы: сам себя ушиб. Он надеялся, что при первом случае я отклонюсь от командования дивизии и испугаюсь, но я сам требовал исследования, и тогда он взялся за клевету». Орлов жил в это время то в Кишиневе, то в Киеве, то в своей калужской деревне. Он чувствовал себя совершенно

---

[1]) Сборн. И. Р. Ист. Общ., т. 78, стр. 90—118. Заблоцкий-Десятовский, Граф П. Д. Киселев, т. I, стр. 158 слл.

правым. Вскоре после происшествия в Камчатском полку и тотчас после ареста Раевского, он писал жене из Тульчина, куда поехал для разговора о своем деле с главнокомандующим 2-й армии, гр. Витгенштейном: «Мой план защиты совсем готов у меня в голове, и если только разум способен одерживать верх над слепым, неразумным и своекорыстным усердием,—я думаю, что настоящий случай докажет мою правоту с полной ясностью и что Сабанеев своей опрометчивостью лишил себя всякого права на расположение наших общих начальников» (16 февр. 1822 г.). А в ноябре он писал кн. Вяземскому: «Дело мое идет и продолжается. Чужие края и отечество наполнились странными слухами, и посреди общего вранья трудно постичь настоящий ход дела. Об оном я распространяться не буду, но вообрази себе собрание глупой черни, смотрящей на воздушный шар. Одни говорят—это чорт летит, другие—это явление в небе, третьи—чудеса, и пр. и пр. Спускается балон, и что ж? Холстина, надутая газом. Вот все мое дело. Когда шар спустится, вы сами удивитесь, что так много обо мне говорили. Впрочем, все сие дело меня крепко ожесточило и тронуло до крайности. Ежели я достиг равнодушия, то через сильную борьбу» [1]).

Он не сдавался на увещания Киселева, настаивал на суде, требовал вопросных пунктов, а тем временем Киселеву пришлось по семейным делам внезапно уехать за границу, где он пробыл до начала 1823 года,—и дело Орлова было решено уже, повидимому, без его участия: приказом от 18-го апреля Орлов был лишен дивизии и назначен состоять по армии—«то-есть по фабрике, и заниматься своими делами. Это самое,—писал он жене,—они могли бы сделать уже год назад». Фактически он командовал дивизией только полтора года. Его военная карьера, так блестяще начавшаяся, была кончена. Нового назначения ему не дали, и ближайшие три года, до ареста в конце 25-го года, он занимался приведением в порядок своего имения и стекляно-фарфорового завода в Масальском уезде, жил то в деревне, то в Москве, ездил в

---

[1]) Рус. Арх. 1884, 4, стр. 391.

Крым и т. д. [1]). Он был, повидимому, на самом дурном счету в смысле политической благопадежности, и его не спускали с глаз. В собственноручной записке Александра I, найденной после его смерти в его кабинете, среди шести видных генералов, наиболее зараженных пагубным духом вольномыслия и являющихся как бы главными очагами заразы в армии, назван и Орлов [2]), а позднее, в конце 1825 г., Дибич доносил, что Орлов, содействуя распространению тайного общества в армии, старался, но тщетно, заодно с сыновьями генерала Раевского, заразить черноморский флот [3]). Этот глупый донос основывался, без сомнения, на том, что летом 1825 г. Орлов ездил в Крым с целью купить участок земли на Южном берегу. Там, между прочим, он в Симферополе свиделся с давним приятелем—Грибоедовым.

IX.

Александр Раевский жил эти годы в Одессе, куда в середине 1823 г. переехал и Пушкин. Они прожили здесь вместе год в теснейшей дружбе, если только можно назвать дружбой взаимное тяготение двух противоположных натур. Раевский заслуживает того, чтобы на нем остановиться подробнее.

Один из людей, знавших его в те годы, говорит: «Этот Раевский действительно имел в себе что-то такое, что придавливало душу других. Сила его обаяния заключалась в резком и язвительном отрицании». Другой—Вигель, ненавидевший его страстно и глубоко, как только и может человек ненавидеть самого себя в своем прообразе,—называет его адским смешением самолюбия, коварства и злобы, говорит о его презрении к людям и глубочайшем эгоизме, о его твердом

---

1) Вот кстати любопытные цифровые данные о его состоянии и о тогдашних ценах. В июле 1822 г. он сообщает жене расчет, по которому хотел бы продать это имение с заводом, если бы нашелся покупщик: 230 заводских рабочих—по 1 тыс. руб., 500 крестьян—по 300 руб., 23.000 десятин—по 30 руб., постройки—70.000 руб., инструменты—50.000, материал—100.000, а всего 1.290.000, но если бы дали миллион, то взял бы.

2) Рус. Стар. 1883, дек., стр. 659.

3) Шильдер, Николай I, т. I, стр. 238.

уме, лишенном благородства. И даже родной отец, этот прекрасный, цельный и умный человек, нежно любивший всех своих детей, с болью свидетельствовал, что у Александра «холодное, себялюбивое сердце». Вот отрывок из его письма к старшей дочери, писанного в 1820 году: «С Александром живу в мире,—но как он холоден! Я ищу в нем проявления любви, чувствительности, и не нахожу их. Он не рассуждает, а спорит, и чем более он неправ, тем его тон становится неприятнее, даже до грубости. Мы условились с ним никогда не вступать ни в споры, ни в отвлеченную беседу. Не то, чтобы я был им недоволен, но я не вижу с его стороны сердечного отношения. Что делать! таков уж его характер, и нельзя ставить ему это в вину. У него ум наизнанку; он философствует о вещах, которых не понимает, и так мудрит, что всякий смысл испаряется. То же самое с чувством: он очень любит Николашку [1]) и беспрестанно его целует, но он так же любил и целовал Аттилу [2]). От него зависит, чтобы я его полюбил или, вернее, чтобы я открыл ему мою любовь. Я думаю, что он не верит в любовь, так как сам ее не испытывает, и не старается ее внушить. Я делаю для него все, когда только есть случай, но я скрываю чувство, которое побуждает меня к этому, потому что он равнодушно принимает все, что бы я ни делал для него. Я не сержусь на него за это. Делай и ты так, Катенька; он тебя любит настолько, насколько способен любить. Говорю тебе это для того, чтобы тебе не пришлось страдать от ошибки, тягостной для нежного сердца. Николай будет, может-быть, легкомыслен, наделает много глупостей и ошибок; но он способен на порыв, на дружбу, на жертву, на великодушие. Часто одно слово искупает сто грехов».—В этом портрете недостает одной существенной черты: старик не мог знать того сарказма, которым обычно дышала речь Александра,—для этого он слишком импонировал сыну. Но вот две мимоходом брошенных заметки, которые дополняют портрет. В 1823 году Орлов пишет А. Н. Раевскому из Москвы: «Я не

---

[1]) Ребенок-черкес, приемыш А. Н. Раевского, который вывез его 3-х лет раненого с Кавказа и на коленях привез в Киев.

[2]) Собака.

видел здесь никого, кроме моих родных, и все мои сношения с ними представляли собою одно непрерывное излияние нежных чувств—вещь, я знаю, тошнотворная для твоего стоического сердца»; а в 1841 г. тот же Орлов пишет жене, что только что был с Эвансом у Александра и что его девочке лучше: «Он осыпал нас обоих сарказмами; это хороший знак: если к нему вернулись его сарказмы, это показывает, что к его дочке возвращается здоровье».

Любопытно, что этот друг Пушкина и прототип пушкинского «Демона» и наружностью удивительно походил на того гётевского друга Мёрка, который послужил моделью для Мефистофеля: он был высок и худ, почти костляв, с небольшой головой, длинным и острым носом, очень широким с тонкими губами ртом и маленькими изжелта-карими глазами, которые блестели сквозь очки наблюдательным и слегка насмешливым взглядом; «он всегда,—прибавляет очевидец,—(я думаю, даже когда спал) сохранял саркастическое выражение» [1]).

Раевский был, конечно, очень умен. Пушкин, после первого сближения с ним на Кавказе, писал о нем, что он будет «более, нежели известен», а на словах, как передавали слышавшие, выражался еще решительнее: «при тогдашнем всеобщем ожидании политических перемен во всех углах Европы Пушкин говорил об А. Раевском, как о человеке, которому предназначено, может быть, управлять ходом весьма важным событий» [2]). Это был ясный, холодный и твердый ум, гордый и независимый, казавшийся на первый взгляд непобедимым. Его сила заключалась в необыкновенной остроте взгляда, с которою он подмечал иррациональное. Никакое противоречие, никакая туманность мысли, никакой каприз воли не ускользал от него; он мгновенно вскрывал невинную хитрость бедной души человеческой и безжалостно казнил ее самообман одним словом, одной язвительной насмешкой. Он не знал иллюзий, был недоступен им и по злому инстинкту неутомимо охотился за ними в других. И так как всякое чувство—иллюзия и ка-

---

[1]) Рус. Стар., 1899, май, 241.

[2]) Анненков, А. С. Пушкин в Александровскую эпоху, В. Евр., 1874, янв., 8.

приз, то перед его взором не могло уцелеть ни одно нравственное чувство: он обдавал холодом энтузиазм и, шутя, показывал элементарный эгоизм на дне всякого благородства. Пушкин так изображает Раевского-демона:

Неистощимой клеветою
Он Провиденье искушал,
Он звал прекрасное мечтою,
Он вдохновенье презирал;
Не верил он любви, свободе,
На жизнь насмешливо глядел—
И ничего во всей природе
Благословить он не хотел.

Но ум, лишенный способности чувствовать силу и красоту иррационального в мире,—плоский и скудный ум, и таков, при всей своей остроте, был ум Раевского. Высшие сферы человеческого духа были для него закрыты. Вигель говорит по поводу его отношений к Пушкину: «Поэзия была ему дело вовсе чуждое, равномерно и нежные чувства, в которых видел он одно смешное сумасбродство». Это подтверждается документально. В марте 1825 года, когда Раевский страдал бессонницей, сестра прислала ему для развлечения рукопись «Горе от ума» (он был приятель с Грибоедовым), и вот что он писал ей затем: «Твоя глупая пьеса, которую я читал всю эту ночь, отвратительна во всех отношениях: две-три меткие черты не составляют картины и не могут искупить ни отсутствие плана, ни нелепость характеров, ни жесткость и беспорядочность версификации, достойной Тредьяковского. Меня всегда удивляет, как Грибоедов, с его острым умом, становится тяжел и нелеп, лишь только возьмет в руки перо».

В атмосферу этого-то ума, как раскаленное железо в холодную воду, погрузился Пушкин. Это были два человеческих типа в необыкновенно ярких проявлениях, две противоположные нравственные стихии: наивысшая полнота переживаний--и скудность рассудочной мысли, нераздельность порыва—и чувство, парализованное в корне, наивное ясновидение—и жалкая проницательность рассудка. Но глубокая мудрость Пушкина была безоружна, как голый ребенок, а трезвый ум Раевского был вооружен всем оружием логики; и случилось

то, что всегда случается в таких случаях: умный покорил мудрого, и, как всегда,—на минуту. Пушкин ясно говорит:

Но, одолев мой ум в борьбе,
Он сочетал меня невольно
Своей таинственной судьбе.

Иначе и не могло быть. На стороне Раевского были два великих преимущества: первое—та непоколебимая уверенность, которая всегда присуща абсолютному скептицизму; эта уверенность сообщала его отрицанию неотразимую убедительность, его сарказму—страшную остроту. Второе—то, что та стихия, которой Раевский был олицетворением, жила и в самом Пушкине. Потому что холодная расчетливость ума присуща поэту даже в большей степени, чем средним людям: без нее как мог бы он мерить, отбрасывать, шлифовать формы? Она обуздана в нем высокой настроенностью духа и несет лишь служебную роль, но в ней—опасное искушение.

Пушкин сам в чудесных строках описал свою дружбу с Раевским [1]). Во власти, которую приобрел над ним Раевский, было какое-то наваждение, и самому Пушкину чудились здесь дьявольские чары. От него веяло на Пушкина дыханием смерти:

Его улыбка, чудный взгляд,
Его язвительные речи
Вливали в душу хладный яд.

Юзефович рассказывает, что Пушкин, ходивший к Раевскому обыкновенно по вечерам, выговорил себе право тушить свечи, чтобы разговаривать с ним свободнее впотьмах. И в то же время Пушкин жадно слушал эти речи, он упорно повторяет:

Непостижимое волненье
Меня к лукавому влекло...
Я неописанную сладость
В его беседах находил...

---

[1]) «Демон», черновые наброски этого стихотворения и варианты XLV строфы I гл. «Онегина».

В чем же была тайна этого очарования? Что сообщало такую сладость беседам?

Пред Пушкиным открывалась здесь новая, неожиданная точка зрения на мир. В своей наивной мудрости он ощущал до сих пор мир, как неразгаданную увлекательную тайну, и жадно смотрел вокруг и вглядывался в бездонную глубь бытия, ища разгадать эту тайну; а Раевский давно разгадал ее и знал все с полной ясностью:

Он обещал...
Истолковать мне все творенье
И разгадать добро и зло...

Каждой своей улыбкой, каждым мимолетным сарказмом он говорил поэту: все твои мысли о жизни—вздор; ты видишь в ней глубину и тайну, потому что одурачен романтическим бредом. Взгляни трезво, и ты увидишь, что вся она—смесь немногих простых и в сущности дрянных элементов.

Эта плоская мудрость была бы безвредна для Пушкина, если бы в нем самом не было задатков того же рационализма, да если бы еще ранние страдания не ожесточили его самого и не научили презирать людей. Но голос внутри его сочувственно откликался на цинизм Раевского: «Я стал взирать его глазами», говорит Пушкин:

С его неясными словами
Моя душа звучала в лад.

И казалось, секрет действительно разгадан; но, Боже мой, как жалко было то, что открылось, и с какой бесконечной грустью Пушкин говорит: М н е ж и з н и д а л с я б е д н ы й к л а д!

Но и сам Раевский был глубоко несчастлив. Где-то за семью замками эгоизма и холодной рассудочности в его душе жила большая острая нежность, и я думаю, когда он спал, его лицо не сохраняло саркастического выражения, а принимало отпечаток скорби, и еще резче становилась морщина между бровей, унаследованная им от отца. Во время его близости с Пушкиным в Одессе ему было 28 лет; с 15-ти лет он вел походную жизнь, сначала при отце, потом ад'ютантом при

Воронцове во Франции, в 1818 году служил на Кавказе и жил в одной палатке с Ермоловым, в 1820 был товарищем Чаадаева по ад'ютантству при Васильчикове. Теперь он полковником праздно жил в Одессе. Он переехал туда вслед за Воронцовым, назначенным на пост Новороссийского генерал-губернатора,—переехал потому, что любил жену Воронцова. Она была ему сродни и давно близка: она была дочерью графини Браницкой, приходившейся ему, кажется, троюродной теткой и не чаявшей в нем души. Он часто гостил у Браницкой в ее царственных поместьях (ей принадлежала Белая-Церковь и в трех верстах Александрия с чудным дворцом), и как раз в 1822 году долго жил у нее одновременно с Воронцовой. В это время, повидимому, он и полюбил ее. Летом этого года он писал сестре из Александрии, что среди царящей там скуки его -единственное утешение—Воронцова: «Она очень приятна, у нее меткий, хотя и не очень широкий ум, а ее характер—самый очаровательный, какой я знаю. Я провожу с нею почти весь день». Будучи издавна близок и с мужем, он в Одессе занял в их доме родственное положение. О происходившем здесь существуют только смутные сведения. Вигель, как очевидец, и П. Каннист—по рассказам современников [1]) передают, что Раевский для прикрытия своего чувства к графине воспользовался Пушкиным: Пушкин не замедлил влюбиться в Воронцову, и на него-то обратилась вся подозрительность, а потом и ненависть мужа. Вигель прибавляет, что, не довольствуясь этим, Раевский еще разжигал безнадежную страсть Пушкина и с дьявольским злорадством тешился его восторгами и мукой. Но достоверно то, что Раевский сам глубоко страдал. В сентябре 1825 года он писал сестре: «Милый друг, я все так же печален, как всегда, мое существование бессмысленнее, чем когда-нибудь, и я не вижу никакой утешительной надежды ни с какой стороны». И в позднейших своих письмах к ней он беспрестанно повторяет то же.

От Пушкина не ускользнула удивительная красота чувства, овладевшего Раевским, этого нежного цветка, расцветшего в безводной пустыне. Уже несколько лет спустя он по-

---

[1]) Русская Старина, 1899, май, 243.

своему рассказал эту историю, возведя в перл создания и демона—Раевского и Воронцову—молодую, счастливую мать, чей быстрый, нежный взгляд и улыбку уст с удивлением вспоминал потом даже Вигель, и чью всегда несколько склоненную вниз головку Пушкин так часто чертил пером в своих тетрадях.

В дверях Эдема ангел нежный
Главой поникшею сиял,
А демон мрачный и мятежный
Над адской бездною летал.

Дух отрицанья, дух сомненья
На духа чистого взирал,
И жар невольный умиленья
Впервые смутно познавал.

Прости, он рек, тебя я видел,
И ты не даром мне сиял:
Не все я в мире ненавидел,
Не все я в мире презирал.

X.

В январе 1825 года в Киеве состоялась свадьба будущего декабриста кн. С. Г. Волконского с Марией Николаевной Раевской, сестрой Александра. В своих записках Волконский рассказывает, что, будучи давно влюблен в М. Н. и решив, наконец, сделать предложение, он повел дело чрез своего друга Орлова, при чем категорически заявил, что если его принадлежность к тайному обществу будет признана помехою в получении руки М. Н., то он, хотя с болью, предпочтет отказаться от своего счастия, нежели изменить своим убеждениям. Однако согласие было дано. Раевской было 17 лет, ему 36. Она с грустью шла под венец, покоряясь отцовской воле. «Мои родители,—говорит она,—думали, что обеспечили мне блестящую по светским воззрениям будущность».

Известие о 14-м декабря застало Орлова в Москве. Принимал ли он последние 2-3 года какое-нибудь прямое участие в делах тайного общества, об этом ничего неизвестно. По-видимому, от активной деятельности он держался в стороне. Но нет никакого сомнения, что он поддерживал самые тесные

отношения с некоторыми виднейшими членами общества, был осведомлен, так сказать, об ежедневном ходе дел в московском кружке и в Южном обществе и пользовался большим престижем среди заговорщиков. События, разыгравшиеся в московском кружке 16-18-го декабря, доказывают, что московские а отчасти и петербургские заговорщики придавали большое значение участию Орлова, и что первые, идя к нему, были заранее уверены в его полном сочувствии их делу.

Из неясного рассказа Якушкина можно извлечь следующие фактические сведения, подтверждаемые и другими показаниями [1]).

Когда получено было в Москве Семеновым письмо от Пущина с известием о том, что в Петербурге решено сделать попытку восстания, на первом предварительном совещании между Якушкиным, Фон-Визиным, Шереметьевым и Митьковым (в ночь с 15-го на 16-е декабря) условлено было созвать назавтра (или на 18-е) московских членов к Митькову и пригласить на это собрание Орлова. Между тем Нарышкин выпросил у Семенова письмо Пущина, чтобы показать его Орлову, «как принимавшему участие в делах общества и по своей скромности ему известному»; притом, и сам Пущин писал, чтобы его письмо показали Орлову. Вечером 17-го декабря Фон-Визин приехал к Орлову и показал ему это письмо. На утро, рассказывает Якушкин, Фон-Визин просил его (Якушкина) непременно побывать у Орлова и привести его вечером к Митькову. В это время в Москве уже все знали о неудачном исходе события 14-го декабря. Приехав к Орлову под Донской, Якушкин вошел к нему со словами: «Eh bien, général, tout est fini». Орлов протянул ему руку и с уверенностью отвечал: «Comment fini? Ce n'est que le commencement de la fin». Тут вошел незнакомый Якушкину Муханов, который, рассказав подробности о многих петербургских заговорщиках, арестованных после 14-го числа, сказал, что надо во что бы ни стало выручить их и что он поедет в Петербург и убьет императора. При этих словах Орлов встал, подошел к Муханову, взял его

---

[1]) Обществ. движ. в России, т. I, статья В. И. Семевского, стр. 46 и слл., Якушкин, 74 и слл., Доклад след. ком., и пр.

за ухо и поцеловал в лоб. Якушкин уговаривал Орлова поехать к Митькову, где все его ждали, но Орлов отвечал что не может приехать, так как сказался больным, чтобы не присягать сегодня; «а между тем,—пишет Якушкин,—он был в мундире, звезде и ленте, и можно было подумать, что он возвратился от присяги». Совещание у Митькова прошло без толку, и в ближайшие дни московские заговорщики начали присягать; так, 20-го декабря принес присягу Фон-Визин. 21-го декабря первым в Москве был арестован Орлов и тотчас отвезен в Петропавловскую крепость; прочих московских взяли только погодя, Якушкина, например, лишь спустя три недели.

27-го декабря был арестован в полку младший Раевский—Николай, 29-го в Белой-Церкви—Александр, 7-го января в Умани взят Волконский, жена которого родила пять дней назад, и к числу этих арестованных надо присоединить еще В. Л. Давыдова из Каменки, брата по матери старику Раевскому. Таким образом, из одной этой семьи взято было пять человек. 5-го января, еще не зная об аресте Орлова, и до ареста Волконского и Давыдова [1]), старик Раевский писал другому брату, П. Л. Давыдову, что оба его сына взяты и увезены в Петербург. «Если сие происшествие и огорчительно, по крайней мере, не нарушает моего спокойствия: на сыновей моих я не имею надежду,—ты знаешь, брат Петр, что я без основания утверждать не стану, но отвечаю за их невинность, за их образ мыслей и за их поступки... Вот, брат милый, несчастливые обстоятельства. Меры правительства строги, но необходимы, говорить нечего; со всем тем, время для всех вообще чрезвычайно грустное» [2]).

14-го января 1826 г. оба брата Раевские из заключения написали сестре Екатерине Николаевне (т.-е. Орловой). Александр писал ей: «Мы спокойны и здоровы и тревожимся только о тебе. Ради Бога, береги себя, не поддавайся

---

[1]) Кн. П. В. Долгоруков в своем некрологе кн. С. Г. Волконского (Колокол, № 212, от 15 янв. 1866 г.) говорит, что после 14-го декабря старик Раевский уговаривал Волконского бежать за границу, но тот не послушался его и 7-го января поехал в Умань, где и был взят.

[2]) Записки кн. Волконской, «Приложения», стр. 124.

отчаянью... У нас есть книги, помещение хорошее, и мы ждем отца, который должен теперь скоро приехать». Это письмо из-за разных формальностей было отправлено только 16-го; в промежутке Раевские получили от сестры часы и деньги. 18-го А. Н. уже опять писал сестре: «Спасибо, милый друг, за твое письмо от 13-го. Только через тебя мы и получаем известия о нашей семье. Я очень рад, что отец решил остаться на контракты; это доказывает, что он не беспокоится о нас больше, чем следует; это с его стороны знак доверия к нам. Удивляет меня только, что до сих пор от него нет прямых известий... Что до нас, то мы здоровы и терпеливо переносим свое заключение, так как у нас есть книги, удобная комната, деньги и хорошая пища, которую нам приносят из трактира». На следующий день, 19-го января, А. Раевский уже извещал сестру, что и он, и брат свободны.

Они, действительно, не были ни в чем замешаны, и их арестовали только по огульному доносу, основанному, конечно, на их родственной близости с Орловым, В. Л. Давыдовым, Волконским и другими обвиняемыми. Следствие обнаружило их полную непричастность к заговору, и их отпустили. В записках Лорера есть любопытный рассказ о допросе Раевских Николаем. Призвав их к себе, царь сказал Александру Раевскому: «Я знаю, что вы не принадлежите к тайному обществу; но, имея родных и знакомых там, вы все знали и не уведомили правительство; где же ваша присяга?» Александр Раевский, один из умнейших людей нашего времени, смело отвечал государю: «Государь! Честь дороже присяги; нарушив первую, человек не может существовать, тогда так без второй он может обойтись еще» [1]).

Мы знаем, что обычно такие ответы приводили Николая в ярость. Как бы то ни было, Раевских он решил помиловать, как ввиду их невинности, так и ради заслуг, высокого положения и заведомой лойяльности их отца. Но в то же время он захотел использовать и это помилование; оправдание Раевских должно было путем соответственной инсценировки по-

---

[1]) Рус. Арх., 1874, I, 389.

лучить характер публичного назидания, стать как бы отрицательной казнью. И вот, 20-го января оба Раевских были удостоены чрёзвычайно любезного приема на аудиенции; царь поручил Александру написать отцу об их освобождении и о готовящемся на его имя указе, обнадежил их насчет Орлова и предложил Александру, который уже несколько лет не служил, вновь поступить на службу или быть камергером. Раевский, поблагодарив, отговорился плохим состоянием здоровья, а в письме к отцу, где он на следующий день описывал эту аудиенцию, он признается, что не желал бы воспользоваться «никакою милостью до тех пор, пока участь мужей моих сестер не будет окончательно решена». 23-го января был подписан и затем опубликован в газетах высочайший рескрипт на имя старика Раевского: «С особенным удовольствием могу уведомить вас, что следственная комиссия, рассмотрев поведение сыновей ваших, нашла их совершенно невинными и непричастными к обществу злоумышленников, и что я первый душевно радуюсь, что дети столь достойного отца совершенно оправдались. Пребываю, впрочем, всегда к вам благосклонным. Николай». Сверх того, от следственной комиссии был выдан А. Н. Раевскому «Аттестат» о его невинности [1]).

XI.

Теперь Александр Раевский настойчиво звал отца в Петербург, потому что дела Орлова и особенно Волконского принимали очень серьезный оборот. Николай, конечно, издавна знал о политическом вольнодумстве Орлова и о влиянии, которым он пользовался в оппозиционных кругах общества. Имя Орлова встретил он и в той собственноручной записке Александра I, которая нашлась в кабинете покойного императора; а следствие на первых же порах дало веский фактический материал для обвинения. Открылось, что однажды, говоря о Пестеле, властолюбие которого внушало заговорщикам. как известно, большие опасения, Трубецкой сказал:

---

[1]) Рескрипт и аттестат напечатаны в «Приложениях» к Запискам кн. Волконской, стр. 128.

— Должно будет послать Орлова во 2-ю армию, и сила Пестеля исчезнет.

— Да разве Орлов наш?—спросил Рылеев.

— Нет,—отвечал Трубецкой, — им владеют Раевские; но тогда поневоле будет наш.

Далее было дознано, что накануне мятежа, 13-го, диктатор-Трубецкой послал Орлову в Москву письмо с кавалергардским офицером Свистуновым, который в пути, узнав о событии 14-го декабря, сжег это письмо. По показанию Трубецкого, он в этом письме, не упоминая о причинах, звал Орлова в Петербург, но прибавлял: «Если быть чему-нибудь, то будет и без вас, как при вас». Это показывало, что заговорщики во всяком случае имели основание считать Орлова своим единомышленником и придавали большое значение его поддержке. О том же свидетельствовала открывшаяся на допросах история Пущинского письма. Сам Трубецкой на вопрос следственной комиссии, чем была обусловлена его решимость сделать такое предложение Орлову, отвечал: «Решился я сделать столь опасное предложение ген.-м. Орлову по причинам, кои я уже и прежде об'яснял: то-есть, что ген.-м. князь С. Г. Волконский сказывал мне по приезде моем в Киев, что хотя ген.-м. Орлов теперь и не вмешивается ни во что и от всех обществ отстал, но в случае нужды можно на него надеяться, и что я и сам полагал, что ген.-м. Орлов, которого образ мыслей столь гласен был прежде, по каким-нибудь причинам только притаился, но образа мыслей своего не переменил» [1]). Но главное обвинение против Орлова состояло в том, что, когда Никита Муравьев сообщил ему о решении Якубовича убить императора, он не донес властям.

Орлов был привезен в Алексеевский равелин 29-го декабря, а на следующий день Николай велел Сукину перевести его на офицерскую квартиру, «дав свободу выходить, прохаживаться и писать, что хочет, но не выходя из крепости» [2]). 31-го декабря Бенкендорф наедине снял с него допрос

---

[1]) Довнар-Запольский, цит. соч., стр. 311.

[2]) Собственноручные повеления Николая на имя ген.-ад. Сукина, Былое, 1906, май, 202.

в крепости. 4-го января Орлов по требованию Николая представил в следственную комиссию обширную записку о своем отношении к Союзу Благоденствия и к членам тайного общества. Это была чрезвычайно искусная апология, где все фактически верно, но все так сопоставлено и освещено, что получается картина, очень далекая от истины. Она написана в тоне отвращения и ужаса перед безумством заговорщиков; самое неприятное в ней—ее аффектированное чистосердечие и благородство, подчеркиваемое на каждой странице. Из дополнительных запросов, поставленных Орлову следственной комиссией в ближайшие дни, видно, что она не придала большой веры его записке [1]).

9-го января статс-секретарь Вилламов, фактотум императрицы и свой человек во дворце, записал в своем дневнике, со слов шталмейстера Самарина, сцену допроса М. Ф. Орлова царем [2]). Позвав Орлова в свой кабинет, Николай сказал ему:

— В этот момент с тобой говорит не император, но Николай Павлович.

Они уселись.

— Ты любил моего покойного брата; ты знаешь, что он тебя любил также; ты ему обещал оставить это сообщество. Что же ты сделал? Вот письмо, которое ты писал после своего обещания. Что ты можешь ответить? Честный человек сдерживает свое слово, и т. д. Говори, что можешь сказать!

Орлов не дал никакого ответа, несмотря на дружественные увещания императора, который, наконец, поднялся и сказал ему:

— Теперь император приказывает тебе: иди прочь!—При этом государь показал Орлову дверь. Сконфуженный Орлов хотел что-то пробормотать, но император, показывая дверь, сказал ему:

---

1) Эта записка, как и дополнительные показания Орлова, напечатаны в сборнике М. В. Довнар-Запольского, Мемуары декабристов, 1906, стр. 1—26. В предыдущем изложении мы пользовались ею с величайшей осторожностью.

2) Воцарение имп. Николая I (Из дневн. Г. И. Вилламова). Рус. Стар., 1899, март, стр. 670—671.

— Император не повторяет; теперь ты станешь отвечать в крепости на вопросы комиссии.

Этот неудавшийся допрос мог бы сильно повредить Орлову, но дело скоро раз'яснилось, как видно из следующего письма А. Н. Раевского к сестре Орловой. «Милый друг,—писал он,—теперь я могу подробнее рассказать тебе историю Михаила. Дело в том, что он принадлежал к первому обществу, которое по своим замыслам было гораздо менее преступно, нежели второе, так, что большая часть тех, кто принадлежал к нему, уже освобождены. Но против него было еще другое обвинение, более тяжкое,—это сообщения, сделанные ему в Москве Никитой Муравьевым, и письмо, которое должен был показать ему Фон-Визин. В последней вине его оправдало простое сопоставление дат; что же касается первого обвинения, то тут его вполне оправдывает то моральное освещение, в котором представил ему дело Никита. История Мемпона совсем его не касается—тут он чист. Главная ошибка Михаила та, что он нехорошо вел себя с императором, не отвечал как следовало на его дружеские увещания; он оскорбил его лично. Но потом Михаил об'яснился: причиною его молчания было присутствие Левашева. Теперь это дело поправлено».

«Моральное освещение» заключалось в том, что, сообщая Орлову о намерении Якубовича, Муравьев настойчиво-де говорил о необходимости всячески помешать этому безумию [1]), так что Орлов, будто бы, и весь разговор принял за хитрость с целью снова завлечь его в тайное общество, чтобы посредством его влияния предотвратить злодейства и несчастия. Это было хорошо придумано, но, конечно, ни этот отвод, ни раз'яснение причины своего молчания на царском допросе не спасли бы Орлова: мало ли людей, гораздо менее заподозренных, чем он, ушли в Сибирь по делу 14-го декабря! Но он имел могущественного заступника в лице своего брата Алексея.

А. Ф. Орлов был года на два старше Михаила, такой же из себя богатырь и красавец, такая же открытая и талантливая натура, но уже умом и жестче сердцем. Не портя своей карьеры вольнодумством, напротив—искореняя его и в подчи-

---

[1]) Так показал на следствии и сам Муравьев.

пепных, он, в противоположность брату, быстро и без задержек шел в гору, давно уже был генерал-ад'ютантом и пользовался дружеским расположением великих князей. Мятеж 14-го декабря застал его командиром конногвардейского полка. Известно, как много Николай был обязан своей победою в этот день преданности и решимости Орлова: он первый из полковых командиров явился со своим полком на Сенатскую площадь и первый повел его в атаку на карре мятежников. 25-го декабря Алексею Орлову пожаловано было графское достоинство, и с этих дней в течение всего царствования Николая он был, как известно, ближайшим другом и доверенным последнего.

Нет сомнения, что он с первой же минуты следствия начал действовать в пользу брата. Выпросив себе у Николая разрешение посещать брата в тюрьме невозбранно [1]) и будучи непрерывно осведомлен о ходе допросов, он мог, во-первых, сообщать Михаилу нужные сведения о поведении других подсудимых и руководить его показаниями; кроме того, он, без сомнения, и прямо просил за него Николая. Этим было сразу обусловлено благоприятное отношение царя к М. Ф. Орлову, выяснившееся уже на аудиенции братьев Раевских 20-го января, так что в том письме, уже цитированном выше, где А. Н. Раевский описывал отцу эту аудиенцию, он уже мог сообщить успокоительные известия об Орлове: «Его величество велел мне передать тебе относительно Орлова, что хотя он и виновен и был одним из первых соучастников этого общества, но не разделял его преступных замыслов, и вся его вина заключается в том, что он не открыл того, что знал по этому поводу. Его величество отозвался о нем весьма милостиво, сказав, что сделает все возможное, дабы облегчить его участь; я не имею более никаких опасений относительно нашего дорогого Михаила; приехав сюда, ты довершишь остальное».

«Что до Волконского,—продолжает тут же А. Н.,—то его дело гораздо хуже. Его величество сказал мне, что он даже не достоин того участия, которое ты, вероятно, оказываешь ему, и

---

[1]) Это разрешение было ему дано на следующий день после водворения М. Ф. Орлова в Алексеевском равелине, 30 декабря (Б ы л о е, там же, стр. 202).

велел мне предупредить тебя об этом». В конце письма он опять с явной тревогой возвращается к положению Волконского и опять просит отца приехать: «Ты можешь своими просьбами много облегчить участь Волконского, а следовательно и Маши» [1]).

XII.

А Мария Николаевна лежала в это время, тяжело больная после родов, в усадьбе отца, Болтышке, Киевской губ. Она ничего не знала; когда, приходя в себя, она спрашивала о муже, ей говорили, что он уехал по делам службы в Молдавию. Старик Раевский не решался оставить ее одну с матерью, и в то же время рвался в Москву, чтобы успокоить Екатерину Николаевну, которой в ее состоянии (она была беременна) и при ее постоянной нервозности тревога за мужа могла причинить серьезный вред,—и оттуда в Петербург, чтобы выяснить положение дел и, если надо, похлопотать за Орлова и Волконского. Наконец, в 20-х числах января мы видим его уже в Петербурге; по пути он, конечно, останавливался в Москве. Как видно, ему тотчас была дана аудиенция, и он спешил успокоить Е. Н. «Милый, бесценный друг мой Катенька,—писал он,—ничего тебе нового еще не скажу, но в полной надежде на хороший конец, кроме брата Василия (Давыдова) и Волконского. Прочти письмо мое к матери, запечатай и отправь по почте. Завтра надеюсь увидеть твоего мужа. Волконскому будет весьма худо, он делает глупости, запирается, когда все известно. Что будет с Машенькой! Он срамится. Государь сказал мне: «в первый раз, как я буду ими доволен (т.-е. Давыдовым и Волконским), в награждение им позволю тебя видеть».

Чтобы не оставлять долго женщин одних, старик 3-го февраля отправил прямо к ним в Болтышку младшего сына, Николая. Царь позволил ему (как и А. Н. Раевскому) навестить

---

[1]) Письмо А. Н. Раевского к отцу от 21 янв. 1826 было впервые напечатано (в русском переводе) в Рус. Стар., 1884 г., май, и затем перепечатано в «Приложениях к Запискам кн. М. Н. Волконской, в обоих случаях—с пропуском приводимых здесь в тексте слов Николая I о Волконском; пред нами подлинник письма.

Орлова в тюрьме. Видел ли он и Волконского, мы не знаем. В столице он пробыл недолго; он уехал, повидимому, 7-го февраля, но не к себе, а к дочери в Москву, оставив в Петербурге Александра, который следить за ходом дел и осведомлять о них семью. Александр сам был очень мрачно настроен: его мучил страх за судьбу сестры Маши, мучил вообще разгром, постигнувший стольких родных и друзей, мучила разлука; в его письмах к сестре Орловой за это время то и дело встречаются такие строки: «Сам я все еще болен, снедаем скукой и очень печален», или: «Что до меня, то я болен и несчастен больше, чем могут выразить слова».

Орлов писал жене из крепости 3—4 раза в неделю и получал столько же писем от нее; А. Н. Раевский пишет ей каждые четыре дня, с экстрапочтою. Екатерина Николаевна, сначала собиравшаяся в Петербург, довольно скоро успокоилась насчет мужа и осталась в Москве; да и для всей семьи, оглушенной на первых порах, уже в конце января было ясно, что тяжелый удар грозит только Маше, 18-летней, больной Маше. И в письмах А. Н. Раевского к Орловой — на первом плане дело Волконского и участь Маши. 12-го февраля, вернувшись от А. Ф. Орлова, чрез которого он добывает сведения, А. Н. пишет: «Дело Михаила будет кончено чрез четыре недели наверное; стало-быть, тебе незачем приезжать сюда. Что до Маши, то ее дела отчаянно плохи, как и дела Василия; для них нет никакой надежды». Чрез несколько дней после этого А. Н. представлялся при дворе, и 16-го он сообщает сестре: «Государь велел мне передать тебе его привет, императрица также. Все это хорошие предзнаменования для Михаила, потому что для бедной Маши мне ничего не было сказано». Два дня спустя он пишет ей длинное письмо, полное подробностей о деле: «Михаил не в ведении следственной комиссии; он был допрошен только раз, в своей комнате Бенкендорфом. Карою ему послужит его заключение и, вероятно, отставка. Как видишь, тебе не о чем тревожиться; его не отпускают только потому, что есть и другие члены, как, например, Александр Муравьев, замешанные не более Михаила, но нужные для очных ставок, почему их и держат до окончания следствия, а если освободить Михаила, то пришлось бы осво-

бодить и остальных. Что касается Волконского, то нет такого ужаса, в котором он не был бы замешан; к тому же, он держит себя дурно—то высокомерно, то униженнее, чем следует. Его все презирают, каждую минуту в нем открывают ложь и глупости, в которых он принужден сознаваться. Бедная Маша!» [1]). 12-го марта А. Н. пишет: «Насчет Волконского не могу сообщить тебе ничего хорошего; теперь он ведет себя, по слухам, как фанатик идеи; но я не ручаюсь, что завтра он опять не начнет хныкать». И беспрестанно в своих письмах он повторяет: «Бедная Маша!» «Мне страшно подумать, что ждет бедную Машу» и т. п. И Орлов 1-го апреля писал жене: «Нынче день рождения бедноїї Маши. Что я могу прибавить к этому, кроме того, что в страхе за нее я повторяю эту короткую молитву: Умилосердись, Господи, над участью Машеньки! [2]). Один Бог может дать еїї довольно душевноїї силы, чтобы стать выше своеїї участи».

Старик Раевский вернулся в Болтышку в последних числах февраля, когда Мария Николаевна уже начала поправляться. Как-раз в отсутствие отца сїї, наконец, решились сказать правду. Узнав, где муж, она тотчас решила ехать в Петербург и, несмотря на свою болезнь и весеннюю распутицу, пустилась в дорогу с двухмесячным ребенком; оставив его по пути у гр. Браницкоїї в Александрии, она прямым путем, минуя Москву, двинулась дальше, а следом за нею поспешала мать. 6-го апреля А. Раевский писал Орловой: «Мама приехала сегодня утром, Маша здесь со вчерашнего вечера. Ее здоровье лучше, чем я смел надеяться, но она страшно исхудала и ее нервы сильно расстроены. Бедная, она все еще

---

[1]) Мы знаем теперь, на что намекает последними словами А. Раевский: это, во-первых, история вскрытия Волконским пакета, адресованного Киселеву, которую передает в своих Записках кн. Волконская, во-вторых, ложь, в которой уличала его следственная комиссия. В «Донесении» последней читаем: «По всему видно, что и деятельнейшие в тайном обществе, точно не стыдясь, обманывали друг друга. Так г.-м. кн. С. Волконский сообщал Пестелю, что он подговорил многих офицеров из всех полков 19-й дивизии... называл некоторых, будто-бы, принятых им... и после должен был признаться, что все было им вымышлено из тщеславия, для доказательства его преступного усердия».

[2]) Эти слова написаны по-русски.

надеется. Я буду отнимать у нее надежды только с величайшей постепенностью: в ее положении необходима крайняя осторожность». А отец из Болтышки 14-го писал ей в догонку (по-русски): «Неизвестность, в которой о тебе, милый друг мой Машенька, я нахожусь, мне весьма тягостна. Я знаю все, что ожидает тебя в Петербурге. Трудно и при крепком здоровьи переносить таковые огорчения. Отдай себя на волю Божию! Он один может устроить судьбу твою. Не забывай, мой друг, в твоем огорчении милого сына твоего, не забывай отца, мать, братьев, сестер, кои все тебя так любят. Повинуйся судьбе; советов и утешений я никаких более тебе сообщить не могу».

XIII.

И вот началась та изумительная борьба, где слабой женщине-полуребенку был противопоставлен целый заговор мужской хитрости и настойчивости, и где, в конце концов, воля сердца все же одержала верх. Наши письма дают возможность проследить перипетии этой борьбы. Все нити заговора держал в своих руках Александр Раевский; отец и старшая сестра, Орлова, действовали с ним заодно, следуя его указаниям. Их цель была—не дать Марии Николаевне последовать за мужем в ссылку; а для этого нужно было, во-первых, устроить так, чтобы она узнала о приговоре как можно позже, по возможности—когда осужденные уже будут отправлены в ссылку, во-вторых, оградить ее от влияния мужниной семьи, так как легко было предвидеть, что Волконские как-раз станут внушать ей решимость разделить судьбу мужа. В начале апреля, когда она приехала в Петербург, уже все знали, что бо́льшую часть подсудимых ждет Сибирь, и некоторые жены уже готовились последовать за своими мужьями.

В этой борьбе Мария Николаевна стояла совсем одна, ни от кого не встречая дружеской поддержки или совета. Обе семьи—и мужнина, и своя—действовали корыстно, и корысть делала их жестокими, устраняла простоту и тепло отношений. Свекровь, обер-гофмейстерша Волконская, была «в полном смысле слова придворная дама»; она ни разу не с'ездила к сыну в тюрьму, боясь, что это свидание ее «убьет». Приехав

в Петербург, Мария Николаевна сразу почувствовала себя во враждебной среде. Ее первой мыслью было, конечно, просить свидания с мужем. Волконский понимал и отчасти знал, что между ним и женою стали ее родные; недаром он не получил от нее до сих пор ни одной весточки: значит, от нее все скрывают. Еще до приезда жены в Петербург он писал из Алексеевского равелина сестре Софье Григорьевне: «Уже некоторые из жен просили и получили разрешение следовать за своими мужьями к месту их назначения, о котором они будут предуведомлены. Выпадет ли мне это счастье, и неужели моя обожаемая жена откажет мне в этом утешении? Я не сомневаюсь в том, что она с своим добрым сердцем всем мне пожертвует, но я опасаюсь посторонних влияний, и ее отдалили от всех вас, чтобы сильнее на нее действовать. Если жена приедет ко мне на свидание, то я бы желал, чтобы она приехала без своего брата, иначе ее тотчас же увезут от меня. Врач был бы при этом нужнее» [1]).

По воле императора, А. Ф. Орлов сам отвез ее в крепость на свидание с мужем, и при ней действительно был врач. Это свидание было единственным. Инстинктивно ища в ком-нибудь опоры, Мария Николаевна хотела дождаться любимой сестры мужа, Софьи, с которою не была знакома и которая на время отлучилась из Петербурга. Но А. Раевский стал убеждать ее, что ей необходимо ехать назад к сыну: следствие кончится еще не скоро—можно ли оставлять ребенка так долго на чужих руках? что же касается Софьи Волконской, то они несомненно встретят ее в дороге (С. Г. Волконская ехала из Белева, сопровождая тело императрицы Елизаветы Алексеевны).

Ничего не подозревая, Мария Николаевна сдалась на эти увещания и решилась ехать, с целью привезти ребенка в Петербург. Раевский поехал с нею; отныне он уже не отпустит ее ни на шаг. Они поехали на Москву, чтобы повидаться с сестрой, Орловой; здесь М. Н. была принята императрицей. Раевский устроил так, что с Софьей Волконской они раз'ехались. В Александрии они застали ребенка бледным и слабым

---

[1]) «Записки» кн. С. Г. Волконского, прилож., стр. 453.

после прививки оспы. Теперь Александр становится форменно тюремщиком сестры. В Александрии для нее потянулись долгие месяцы ожидания и неизвестности. При ней находилась еще сестра София, гр. Воронцова с детьми тоже была здесь. Раевский удерживал Марию Николаевну под тем предлогом, что теперь незачем ехать, что надо подождать решения дела, а сам скрывал от нее все получаемые письма, из которых она могла бы узнать что-нибудь о ходе следствия. 18-го мая он пишет Орловой: «Маша здорова, а ее сын прелестен... Хотя она и ни о чем не догадывается, однако большую часть времени она проводит при своем ребенке, а когда есть чужие, то выходит только к завтраку или обеду; я не мешаю ей в этом, потому что нахожу это удобным. При ней все время Соня; ты знаешь, какой я плохой утешитель, благодаря моему резкому характеру. Графиня Браницкая относится к ней с трогательной добротой. Нового нет ничего. Жду известий от Бенкендорфа или Алексея насчет духовного завещания, как мы условились». «Пиши для меня одного,—просит он 1-го июня.—Впрочем, я вскрываю все письма, адресованные Маше, потому что письма тетушки иной раз так зажигательны, что я не могу отдавать их ей». 9-го июня он пишет другой сестре, Елене, которая жила при Орловой в Москве: «Спасибо за твои письма, милый друг; только скажи Кате, чтобы она не писала Маше ничего, относящегося до приговора и суда; она забывает, что если бы только Маша подозревала близость суда, то не было бы возможности удержать ее здесь. Необходимо, чтобы она узнала все как можно позже. Последние дни она очень грустна; не знаю, что делать с этим, потому что подавать ей ложные надежды было бы жестоко. Я решил вообще не говорить с нею обо всей этой грустной истории. Ее сын здоров,—это большое счастье». «Маша с каждым днем грустнее,—пишет он неделю спустя.—Она сердится на меня за то, что я не говорю с нею о деле ее мужа, и жалуется на это Соне; но я предпочитаю навлекать на себя ее несправедливые упреки, нежели внушать ей ложные надежды... Со дня на день ждем гр. Воронцова, который привезет нам известия». 22-го июня он пишет отцу: «Дорогой отец, в своих письмах ко мне ты говоришь о приговоре, о категориях и пр., и Катя

тоже, поэтому я не могу показывать ваших писем Маше, которая, по моему мнению, не должна ничего знать до окончательного решения. Пожалуйста, пишите ей отдельно, не говоря ничего, а мне—со всеми возможными подробностями. До сих пор я получал достоверные сведения благодаря письмам Воронцова к его семье, но теперь он приехал, и мы уже ничего не будем получать из Петербурга. Браницкая уезжает в Москву в первой половине июля. Маше не хочется оставаться здесь без графини, и я ей ничего не говорю об этом, исключая того, что ты к тому времени, вероятно, вернешься... Вот письмо Бенкендорфа. Предупреждаю тебя, что это—человек грубый и наглый со своими подчиненными; поэтому нельзя вполне доверять его словам. Когда ты будешь ближе к Одессе, ты сам сможешь гораздо лучше уладить дело».

Наконец суд был кончен, и 12-го июля подсудимым об'явлен приговор. 24-го июля А. Раевский писал сестре: «Видишь, как я был прав, решив остаться с Машей, потому что она каждую минуту может узнать о своем несчастии и о всех прискорбных обстоятельствах, которыми оно сопровождалось... Хотел писать тебе много, но моя голова пуста. Я не думал, что разжалование и ссылка Волконского так расстроят меня; я был готов к этому, да и никогда не любил этого человека, а между тем мне больно и за него, не говоря уже о Маше. Не забудь напомнить отцу о денежных делах сына Маши: Волконский написал завещание, оно должно быть у министра юстиции; для этого надо обратиться к Бенкендорфу».

Раевский не торопился сообщать сестре о приговоре; он ждал, конечно, пока Волконского отправят в ссылку. Во всяком случае, главное было сделано; теперь надо было обдумать вторую половину дела, именно—дальнейшее положение Маши и ее сына. И этот вопрос он считал нужным решить также не справляясь о ее собственных желаниях, с тою же деспотической непреклонностью воли, с какою он раньше решил, что ей не следует ехать за мужем. 31-го июля он пишет Орловой: «Только что получил письмо от несчастного Волконского, копию которого прилагаю здесь. Я принимаю ответственность, которую он возлагает на меня, принимаю не столько ради него

и его доверия ко мне, сколько ради Маши, потому что, несмотря на несчастие, постигшее этого человека, я чувствую к нему только жалость. Теперь нам надо внимательно обсудить вопрос о том, что должна делать Маша. Покажи мое письмо отцу и попроси его взвесить мои доводы без предубеждения». Тут он подробно разбирает несколько планов устройства М. Н. на зиму с точки зрения удобства для нее и присутствия надлежащей медицинской помощи для ее ребенка; затем он продолжает: «Не относись легко к вопросу о месте жительства Маши и о враче для ее ребенка. Помни, что в этом ребенке все ее будущее, помни о страшной ответственности, которая падет на нас, если мы не примем всех мер предосторожности, какие в нашей власти. Мы должны строго руководиться наиболее благоприятными вероятностями, а они все или за кн. Репнину, или за Одессу. Что касается ее самой, ее воли, то, когда она узнает о своем несчастьи, у нее, конечно, не будет никаких желаний. Она сделает и должна делать лишь то, что посоветуют ей отец и я. Заклинаю тебя показать мое письмо отцу целиком и не поступать по собственному усмотрению; если ты не сделаешь этого, я напишу прямо отцу. Надо действовать рассудительно и оставить в стороне все мелкие соображения».

Итак, Мария Николаевна и теперь еще ничего не знала, хотя со времени приговора прошло уже три недели. Наконец, 26-го июля Волконский был отправлен в ссылку. Теперь больше не было смысла скрывать от нее правду, и, вероятно, в начале августа Раевский сообщил ей все сразу—и приговор, и ссылку. Но как грубо он обманулся в своем уверенном предвидении! Он был убежден, что, узнав о своем великом горе, она истает в слезах и впадет в полное бессилие,—а случилось обратное: горе не только не парализовало ее воли, но, напротив, вдруг, как это всегда бывает с женщинами, стянуло в одну точку все тайные силы ее существа, и она явила зрелище такой непреклонной энергии в достижении своей цели, какой невозможно было ожидать от 18-летней избалованной женщины.

В своих «Записках» М. Н. Волконская рассказывает, что, узнав о приговоре, она тотчас об'явила брату, что последует

за мужем; А. Н., которому нужно было ехать в Одессу, сказал ей, чтобы она не трогалась с места до его возвращения, но она на другой же день после его от'езда уехала с ребенком в Петербург. Она поехала не прямо в столицу, а в Яготин, Полтавской губ., к брату мужа Репнину; этот брат, Николай Григорьевич, был в детстве переименован высочайшим указом по деду, за прекращением рода Репниных, в князя Репнина. Мария Николаевна нашла шурина больным; как только он поправился, все, т.-е. он с женою и М. Н. с ребенком, пустились в Петербург [1]).

Раньше ее прибыл туда ее отец, старик Раевский. 23-го октября он писал Орловой [2]): «Государь принял меня милостиво вместе с императрицей; они ехали гулять. Государь хотел уведомить, когда ему угодно будет пожаловать аудиенцию, чего и дожидаюсь.—Я жду Машеньку с сыном вместе с княгиней Репниной всякую минуту. Буду ее удерживать от влияния эгоизма Волконских». А 5-го ноября он сообщает брату, П. Л. Давыдову: «Вчерась приехала дочь моя Машенька. Ее Репнина обманом склонила отправиться сюда, будто старуха Волконская [3]) едет к сыну; но я все это привел в порядок». Последняя записка старика помечена 20-м ноября: «Дела мои приводятся к концу, но все еще дней пять пробыть должен, pour toucher un peu d'argent для Машенькиного путешествия, которое будет, как я думаю, в январе. Государь утвердил духовную Волконского, итак ничто меня более не задержит».

Из «Записок» М. Н. Волконской мы знаем, при каких условиях она уезжала в Сибирь, как черство относились к ней родные мужа, не позаботившиеся даже снабдить ее всем необходимым для страшного путешествия. Она уехала, оставив ребенка на попечение свекрови и невесток и дав слово отцу, что вернется через год. Она поехала через Москву, и пробыла здесь два дня; здесь 26-го декабря Зинаида Волконская устроила для нее музыкальный вечер, на котором был и Пуш-

---

[1]) Рус. Стар., 1878, июнь, стр. 337.
[2]) По-русски, как и дальнейшие его письма.
[3]) У Раевского здесь описка: «Репнина».

кин и который так трогательно описан другим присутствовавшим поэтом, Вяземским. По немногим строкам в ее «Записках» Некрасов создал чудную картину ее свидания с Пушкиным на этом вечере:

Печальна была наша встреча. Поэт
Подавлен был истинным горем.
Припомнил он игры ребяческих лет
В далеком Юрзуфе над морем.
Покинув привычный насмешливый тон,
С любовью, с тоской бесконечной,
С участием брата напутствовал он
Подругу той жизни беспечной.
Со мной он по комнате долго ходил,
Судьбой озабочен моею,
И помню, родные, что он говорил,
Да так передать не сумею:
«Идите, идите! Вы сильны душой,
Вы смелым терпеньем богаты;
Пусть мирно свершится ваш путь роковой,
Пусть вас не смущают утраты!
Поверьте, душевной такой чистоты
Не стоит сей свет ненавистный.
Блажен, кто меняет его суеты
На подвиг любви бескорыстной!»

и т. д.,—но кто не помнит этих строк?

Она ехала с лакеем и горничной. 1-го января Александр Раевский писал сестре Орловой: «Путешествие Маши довольно плохо обставлено; при ней нет ни одного надежного человека. Не понимаю, как можно было не принять всех надлежащих мер; кажется, стоило позаботиться. Кроме того, она едет с взвинченной головой; я предпочел бы, чтобы она предприняла эту поездку только из сознания долга, а не по чувствительному порыву. Теперь Бог знает, когда она вернется».

Глубоко и сильно было горе отца. Оно сломило его крепкую натуру, и он недолго пережил разлуку с Машей. Уцелели два его письма к старшей дочери, писанные вскоре после от'езда Волконской. Их нельзя читать без волнения.

«Ты не совсем справедливо судишь, мой друг Катенька,—пишет он 20-го марта 1827 г.—И ты также несколько подвержена экзальтации, но энтузиазм в некоторых случаях, до не-

которой степени, есть дар Божий, переступая же черту, обращается в сумасшествие.

«Если б я знал в Петербурге, что Машенька едет к мужу безвозвратно и едет от любви к мужу, я б и сам согласился отпустить ее навсегда, погрести ее живую; я б ее оплакал кровавыми слезами, и не менее отпустил бы ее. Если б ты была в ее несчастном положении, я б сделал то же.

«Возвратясь из Петербурга, я узнал от брата твоего и сестер, что М. им говорила, что муж бывает ей несносен. Муж и отец, погубив жену, как погубил Волконский, теряет все свои права на сердце жены своей; священные и светские законы уничтожают справедливо брак. Но если из-за этого сердце жены влечет ее к мужу, как я полагал М., тогда никто не должен препятствовать ей в исполнении ее желаний. Я то и сделал, но полагал не без причины после, что она знала, что она едет навсегда, и что она меня обманывала.—Письмо ее, вчера полученное, доказывает мне противное,—но не менее она не чувству своему последовала, поехав к мужу, а влиянию волконских баб, которые похвалами ее геройству уверили ее, что она героиня,—и она поехала, как дурочка. Нельзя мне не негодовать на нее: она должна иметь более доверенности ко мне и к моему рассудку, чем к скверным В—м; мне и спокойствие, и слава ее должны быть драгоценны. Если б я мог надеяться, что ее заблуждение не исчезнет, тогда б я не жалел о ее поступке; но это не в существе вещей, а между тем она единородного своего сына оставила без слезинки!

«Мой друг! сердце отца не может сохранить долго огорчения своего на детей своих, и источник оного доказывает привязанность мою к ней. Я не показал ей ни капли оного и никому не дал подозревать его, кроме тебя. Адресуясь с оным к тебе, я выбрал того, кто не будет возбуждать его. Мой друг, если бы ты знала, что мне стоит Машенька здоровья, ты б извинила мою чувствительность.

«Письмо ее от 29-го января, писанное из Иркутска, принесло не малое утешение. Или она не знает, что ей не позволено будет возвратиться, или сие запрещение существует только для удержания жен несчастных от поездки в Сибирь. Милосердый Государь наш не будет наказывать несчастных

и невинных жертв своей любви к мужьям за оную, и, конечно, через некоторое время им позволено будет возвратиться. Дай Бог мне дожить до этого! Я тебе говорю, мой друг, что письмо ее усладило мою горесть, и в самую нужную для сего минуту, ибо за час до получения оного я писал к Машеньке, и писал в первый еще раз по ее от'езде».

Второе письмо писано месяцем позже, 17-го апреля.

«Неужто ты думаешь, мой друг Катенька, что в нашей семье нужно защищать Машеньку, Машеньку, которая, по моему мнению, поступила хотя неосновательно, потому что не по одному своему движению, а по постороннему влиянию действует, но не менее она в несчастии, какого в мире жесточе найти мудрено, мудрено и выдумать даже. Неужто ты думаешь, что могут сердца наши закрыться для нее? Но полно и говорить об этом. В письмах своих она все оправдывает свой поступок, что доказывает, что она не совсем уверена в доброте опого. Я сказал тебе, мой друг, один раз: ехать по любви к мужу в несчастии—почтенно. Не будем возвращаться к этому предмету. Дай Бог, чтобы наша несчастная Машенька осталась в этом заблуждении, ибо опомниться было бы для нее еще бо́льшим несчастием» [1]).

И точно для того, чтобы довершить свой портрет, он пишет в конце этого письма по поводу отставки А. П. Ермолова: «Ермолов заслужил свое огорчение, но не могу не жалеть об нем. Он не великодушен, поэтому будет несчастлив: привыкши быть видным человеком, ничтожность его будет ему мучительна». Сам Раевский не любил громких почестей и всего охотнее, по словам его биографа, «терялся в сельском убежище среди семейства своего».

XIV.

Орлов отделался легко: полугодичным комфортабельным заключением в крепости да увольнением со службы, Лорер рассказывает, что А. Ф. Орлов выбрал для ходатайства за брата ту минуту, когда царь шел приобщаться. Сначала Ни-

---

[1]) Последняя фраза написана по-французски.

колай отказал ему, но А. Ф. Орлов просил, умолял, обещал за прощение брата посвятить Николаю всю свою жизнь,—и царь, наконец, уступил. «Ночью,—говорит Лорер,—приехал за М. Орловым возок, и так как он недалеко от меня сидел в каземате, то я видел, как Подушкин сильно суетился, как одели генерала в шубу, как его с низкими поклонами усаживали и увезли» [1]).

Герцен, без сомнения, был прав, сказав позднее, что если Орлов не попал в Сибирь, то это была н е е г о в и н а, а е г о б р а т а. Не будь Николай I так обязан Алексею Орлову, и, главное, не нуждайся он и дальше в нем, он не выпустил бы из своих рук Михаила. Есть веские основания думать, что он считал М. Ф. Орлова одним из главных з а к у л и с н ы х виновников заговора. Это, конечно, о самом Николае рассказывает Розен, что по окончании суда над декабристами «одно очень важное лицо сказало своим приближенным: «Орлова следовало бы повесить первого» [2]). Точно так же думал вел. кн. Константин Павлович: когда Николай написал ему, что Орлов знал о намерении Якубовича, он отвечал 14-го июня 1826 г.: «Одна вещь удивляет меня—говорю тебе это прямо: именно, поведение Орлова, и как он сумел выйти сухим из воды и избегнуть суда» [3]). И еще много позднее, в декабре 1832 г., когда был открыт в Тифлисе заговор, имевший целью вернуть Грузии независимость, Николай писал Паскевичу: «Г.-м. кн. Чавчавадзе был всему известен и, кажется, играл в сем деле роль, сходную с Михайлою Орловым по делу 14-го декабря» [4]).

16-го июня 1826 г. относительно М. Ф. Орлова последовала высочайшая резолюция: «во уважение прежней отличной его службы и вменяя в штраф шестимесячное содержание в крепости», приказано отставить его от службы с тем, чтобы и впредь никуда не определять, и с обязательством безвыездно жить в деревне; местному же начальству иметь за ним бди-

---

[1]) «Из записок декабриста», Р у с. Б о ' т., 1904, март, стр. 55.

[2]) Барон А. Е. Розен, М. Н. М у р а в ь е в, Р у с. С т а р., 1884, янв., стр. 69.

[3]) Шильдер, Н и к о л а й I, примеч. № 519.

[4]) Р у с. А р х., 1897, янв., стр. 9.

тельный тайный надзор [1]). 19 июня Орлов был уже в Москве, в об'ятиях своей жены. Она родила чрез несколько часов после его приезда. 30 июня, извещая свою сестру о своем освобождении и о благополучном рождении дочери, он пишет: «Следственно, все мои несчастия кончились, слава Богу, и могу я надеяться на спокойную и счастливую жизнь в семейственном круге. Что же касается до помыслов о службе и блестящем состоянии в обществе, вы знаете так же, как и я, что в душе моей все таковые мысли давно уже исчезли. Спокойствие и счастие в умеренности, вот мой удел. Он не хуже удела прочих для благоразумного».

Спокойствие и счастье в умеренности—как это было далеко от мечтаний о бурной жизни за родную страну, от надежд на «событие»! Правда, в эту минуту Орлов ошибался: как человеку, спасшемуся из кораблекрушения, ему казалось, что на свете нет ничего желаннее тихой пристани и семейного очага. Но он не догадывался, как скудно окажется это счастие в умеренности и как будет он томиться до конца. Лучше бы ему было не спастись так удачно!

Ближайшие годы он жил в своей калужской деревне, занимаясь хозяйством, заводом и политической экономией. В 1831 году он сделал попытку выйти опять на сцену: он обратился к Николаю с просьбой позволить ему вступить в военную службу рядовым. Николай велел сообщить ему, что ему разрешается жить в Москве и чтобы прислал своего сына для воспитания в Пажеском корпусе. На это Орлов отвечал, что с благодарностью принимает разрешение жить в Москве, сына же своего хочет воспитать сам [2]).

И вот он переехал в Москву, где купил и великолепно отделал себе большой дом на Пречистенке. Здесь он и прожил до смерти, все время под тайным надзором; лишь незадолго до смерти, в 1841 г., ему был дозволен и в'езд в Петербург. Он занял видное место среди московского общества, войдя в круг тех передовых людей, которые собирались в салонах Свербеевой, Елагиной или у него самого. Всех ближе он был с

---

1) Остаф. арх., I, стр. 459, и Шильдер, Николай I, стр. 447.
2) Из писем Кристина, Рус. Арх. 1884, № 6, стр. 148.

Чаадаевым; их связывали долголетняя дружба и общность положения. Орлов пользовался большим уважением молодежи, как либерал и западник. У него бывал молодой Герцен, и Пушкин, наезжая в Москву, знакомился у него с литературной молодежью из «Моск. Наблюдателя».

Герцен художественно изобразил Орлова в последний период его жизни [1]). Герцен познакомился с ним в начале 30-х годов. «Тогда он был еще красавец: «чело, как череп голый», античная голова, оживленные черты и высокий рост придавали ему истинно что-то мощное. Именно с такою наружностью можно увлекать людей. Возвращенный из ссылки, но не прощенный, он был в очень затруднительном положении в Москве. Снедаемый самолюбием и жаждой деятельности, он был похож на льва, сидящего в клетке и не смевшего даже рычать. Faute de mieux он окружил себя небольшим кругом знакомых и проповедывал там свои теории; главное лицо по талантам и странностям занимал в этом кругу Чаадаев. Подавленное честолюбие, глубокая уверенность, что он мог бы действовать с блеском на высших правительственных местах и воспоминание прошедшего, желание сохранить его как нечто святое, ставило Орлова в беспрерывное колебание. «Стереть прошедшее» и явиться кающейся Магдалиной, говорил один голос; «не сходить с величественного пьедестала, который дал ему прошедшим интересом, и оставаться окруженным ореолом оппозиционности», говорил другой голос. От этого Орлов делал беспрерывные ошибки, вовсе без нужды и без пользы громогласно иной раз унижался и приобретал один стыд. Ибо те, перед которыми он это делал, не доверяли ему, а те, которые были свидетелями, теряли уважение... И в самом деле, неприятно было видеть на московских гуляньях и балах Михаила Федоровича в то время, как все его товарищи ныли и уничтожались на каторге. Орлов не умел носить траур, который ему повелевала благопристойность высшая».

«От скуки Орлов не знал, что начать. Пробовал он и хрустальную фабрику заводить, на которой делались средневековые стекла с картинами, обходившиеся ему дороже, чем он

---

[1]) Соч. Герцена, русск. изд., т. VI, стр. 4 сл., т. II, стр. 131.

их продавал, и книгу он принимался писать «О кредите» [1]), нет, не туда рвалось сердце, но другого выхода не было. Лев был осужден праздно бродить между Арбатом и Басманной, не смея даже давать волю своему языку».

Герцен оставил Орлова в 1834 г. и снова увидел уже незадолго до его смерти, в 1841 г.: «Он на меня сделал ужасное влияние: что-то руинное, убитое было в нем. Работавши 7 лет и все по пустому, чтоб получить поприще, он убедился, что там никогда не простят, что ни делай. А юное поколение далеко ушло и с снисхождением (а не с увлечением) смотрело на старика. Он все это чувствовал и глубоко мучился, занимался отделкой дома, стеклянным заводом, чтоб заглушить внутренний голос, но не выдержал».

Орлов умер в Москве в 1842 г., 18-го марта, в день сдачи Парижа.

«Он умер спокойно, величаво,—говорит Герцен.—Все путное в Москве показало участие к больному, даже незнакомые. Оценили, поняли, благословили в путь. Толпа народу была на отпевании и проводила его. После его смерти полиция опечатала бумаги и отослала в Петербург».

Внуки Орлова хранят листок бумаги, где рукою Чаадаева написан проект надгробной надписи другу: «Здесь покоится прах ген.-м. М. Ф. Орлова. Современники помнили, что он участвовал в достославном увенчании всенародной войны против Франции, подписав 1814 года, марта 18, сдачу Парижа. Друзья любили его добрую душу. Боже, помилуй эту добрую душу! Родился 1788 года, скончался 1842 года, марта 18» [2]). Иного рода эпитафию написал ему Герцен в «Былом и Думах»:

---

[1]) Книга Орлова «О государственном кредите» вышла анонимно в 1833 г. и позднее (1840) была переведена на нем. яз., см. Рус. Арх. 1899, I, 633—4.

[2]) Шевырев в 1843 г. написал некролог Орлова и посылал его для прочтения Чаадаеву. В И. Публ. Библ. находится рукоп. письмо последнего к Шевыреву без даты: «Покорнейше благодарю вас, милостивый государь Степан Петрович, за сообщение вашей статьи умной, благородной. Все друзья и ближние нашего доброго Орлова вам за нее скажут спасибо. Без вас он бы пропал без вести. От всей души желаю, чтоб с вами цензура обошлась милостиво. Душевно вам преданный П. Чаадаев». Цензор не пропустил этой статьи, назвав Орлова «каторжным». Остаф. арх. IV, 232.

«...В Люцерне есть удивительный памятник; он сделан Торвальдсеном в дикой скале. Во впадине лежит умирающий лев; он ранен на смерть, кровь струится из раны, в которой торчит обломок стрелы; он положил молодецкую голову на лапу, он стонет, его взор выражает нестерпимую боль; кругом пусто, внизу пруд, все это задвинуто горами, деревьями, зеленью; прохожие идут, не догадываясь, что тут умирает царственный зверь.

«Раз как-то долго сидя на скамье против каменного страдальца, я вдруг вспомнил мое последнее посещение Орлова...»

А остальные наши герои?

Гроза 14-го декабря убила их всех, но по-разному. Если Орлова она отравила ядовитыми газами, которые медленно убивали его в продолжение 16-ти лет, то старика Раевского она контузила на смерть. Он умер в сентябре 1829 г. Он давно простил свою Машеньку. Он делал выговоры сыну Николаю, который в своих письмах к сестре никогда не посылал поклона Волконскому [1]); а накануне смерти он сказал одному из своих друзей, указывая на портрет Марии Николаевны, висевший в его комнате: «Вот самая удивительная женщина, какую я видел» [2]).

Александр Раевский так и не вернулся больше на службу и всю свою остальную жизнь проходил «отставным камергером». Он вернулся в Одессу и жил то здесь, то у Браницкой, смотря по тому, где жила Воронцова. В 1828 г. эта история кончилась: ее кончил Воронцов, и так же грубо, как четыре года назад с Пушкиным. Что собственно произошло, мы не знаем, но в один прекрасный день граф Воронцов послал письменное заявление полицеймейстеру одесскому о том, что Раевский, встретив его супругу на загородной прогулке, преследовал ее своими любезностями; он жаловался, как частный человек (а он был местным генерал-губернатором), угрожая в то же время прибегнуть к высшей власти, если не получит удовлетворения.—Получив эту бумагу, полицеймейстер лично отправился к Раевскому, который счел

---

[1]) Воспоминания М. В. Юзефовича, Рус. Арх. 1880, III, стр. 432.

[2]) Рус. Стар. 1878, июнь, 338.

нужным дать письменный отзыв. Он отвечал, что не говорил графине ничего дерзкого. «Мне весьма прискорбно,—писал он,—что граф Воронцов вмешивает полицию в семейственные свои дела и через то дает им столь неприятную гласность. Я покажу более умеренности и чувства приличия, не распространяясь далее о таковом предмете. Что же касается до донесений холопий его сиятельства, то оные совершенно ложны» [1]).

В это время старик Раевский еще был жив. О дальнейшем ходе дела красноречиво повествует его письмо на имя Николая I от 12-го июля 1828 г.:

«В. и. в., всемилостивейший государь, граф Воронцов извещает меня письмом, что сын мой, по высочайшему вашему повелению, выслан из Одессы в Полтаву за разговоры его против правительства и военных действий, оправдываясь предо мною, что он сему не причиною.

«Тридцать с лишним лет я знаю графа Воронцова.

«Несчастная страсть моего сына к графине Воронцовой вовлекла его в поступки неблагоразумные, и он непростительно виноват пред графинею.

«Графу Воронцову нужно было удалить моего сына, по всей справедливости, что мог он сделать образом благородным: графиня Браницкая могла о сем просить вас для спокойствия семейного. Но он не рассудил сего. Граф Воронцов богат, военный генерал-губернатор, может деньгами и другими награждениями найти кого донесть и присягнуть в чем угодно графу Воронцову.

«Всемилостивейший государь, сын мой не в состоянии говорить ни мыслить против правительства; накажите его за его неблагоразумие, но не по клевете, на него взнесенной; первое может его ввести в рассудок, а последнее— погубить; если же я обманул вас, я преступник, накажите меня по вине моей.

---

[1]) Рассказывают, что перед своим вынужденным от'ездом из Одессы А. Н. Раевский нашел случай встретиться с гр. Воронцовой на улице или на бульваре, и при свидетелях сказал ей: «Je pars. Soignez bien nos enfants!» (или «ma fille»).

«Имею счастие быть и проч. Николай Раевский, генерал от кавалерии» [1]).

В Полтавской губ. А. Н. оставался заточенным довольно долго; еще год с лишним спустя он только по специальному разрешению мог с'ездить оттуда к умирающему отцу. После смерти отца, когда его мать и сестры уехали жить в Италию, он заперся в Болтышке, чтобы привести в порядок расстроенное хозяйство и исправно посылать им деньги на жизнь. Из экономии он не завел своего стола, а ел то, что ела застольная, и одевался почти так же. Это продолжалось года три. За это время Болтышку посетила холера, и он сделал все возможное, чтобы облегчить бедствие, не жалея трудов и нимало не думая о себе; он всегда интересовался медициною. Самоотвержение, выказанное им при этом, могло быть обусловлено не столько альтруизмом, сколько известным складом характера; но в то время, говорят, один из его знакомых выразился по этому поводу: «Пушкин его демоном зовет, а люди в Болтышке ангелом».—Потом он получил право жить в столице, поселился в Москве, женился, скоро овдовел и затем весь отдался воспитанию своей малютки-дочери. Потом и дочь выросла и вышла замуж (за гр. Ностица), и уже не на что было тратить остаток так бесцельно растраченных душевных сил. Знавшие его рассказывают о сильном впечатлении, которое произвела на него книга Бокля; он прочитал ее всю сразу,—а увлекшись какой-нибудь книгой, он имел обыкновение ложиться в постель и приказывал затворить ставни в комнате, зажечь лампы и никого не впускать. Последние несколько лет он жил в Ницце, где и умер на 74-м году, 23-го октября 1868 г.

И отца, и мужа, и братьев, и всех сестер пережила Екат. Ник. Орлова, умершая только в 1885 году.

---

[1]) Р у с. С т а р. 1885, ноябрь, стр. 402—3.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

В. С. Печерин

В середине 1835 года, по возвращении из заграничной командировки и выдержании докторского экзамена, 27-летний Владимир Сергеевич Печерин был назначен экстраординарным профессором греческого языка и древностей в Московском университете. Зиму 1835—1836 г.г. он с блестящим успехом читал лекции, а в июле уехал за границу и оттуда написал гр. Строгонову, что решил не возвращаться в Россию, что не может жить среди людей, на челе которых напрасно было бы искать отпечаток их Создателя, что с детства его ведет таинственная звезда, что он носит в своем сердце предчувствие своей великой судьбы и кровью своего сердца подписал окончательный договор с диаволом, и этот диавол—мысль. В это время Печерин был бесконечно далек от всякой религиозной веры. Четыре года спустя он уже монах, и монах к а т о л и ч е с к и й; католичеству он и остается верен до конца жизни, в течение 45-ти лет. Такова была жизнь Печерина.

Он происходил из незнатного, хотя и дворянского рода; его прадед из лакеев Елизаветы Петровны дослужился до обермундшенков, дед служил в войске, по полиции и, наконец, заседателем в суде, отец умер полковником в отставке. Мать Влад. Серг. была дочь статского советника, повидимому, полька по происхождению (Симоновская), родом из Черниговской губернии. Владимир Сергеевич был единственным сыном своих родителей. Он родился 15-го июня 1807 г. в с. Дымерке, Киевской губ.

Как рос Печерин, в какой обстановке протекало его детство, об этом мы почти ничего не знаем. Много лет спустя, в 1867 г. его племянник Поярков, посетив Дымерку, писал Печерину: «Внешняя обстановка Дымерки нисколько не изменилась. Тот же дом, правда, перестроенный, но в том же виде, окруженный болотом и лесом; тот же громадный сад, только сильно запущенный; та же двуверстная аллея чрез лес к дому; тот же окоп, т.-е. лес, окопанный рвом, куда все обитатели Дымерки, всех поколений, неизменно ходили собирать грибы. Все службы у дома еще времен вашего пребывания в Дымерке».

Много лет спустя после описываемого периода, в 60-х годах, Печерин об'яснил ту психологическую тревогу, которая увлекла его из России и бросила в католицизм, влиянием на него в детстве, с одной стороны, «жгучих идей либерализма», которыми пропитал его гувернер-швейцарец, с другой—деспотического обращения отца. Читавшие биографию Граповского знают, какое действие оказала на последнего случайная встреча в Орле с французом Жонью, а Герцен сам рассказал о том, как суровый старик Гушо, один из малых участников великой революции, обучавший его французскому языку, заметив однажды в своем ученике симпатию к своим радикальным идеям, перестал считать его пустым шалуном, процал стилистические ошибки и рассказывал эпизоды 93 года и историю своего бегства из Франции, когда «развратные и плуты взяли верх».

К этому типу принадлежал, повидимому, и гувернер Печерина. Он не мог не полюбить своего пылкого, даровитого, одаренного живой фантазией ученика, и, вероятно, в пламенных речах завещал ему непримиримую ненависть к деспотизму, учил его гражданскому героизму и любви к свободе по Плутаху, и, может быть, ему самому, этому богато одаренному мальчику, слушавшему его с горящими глазами, пророчил, как Ромм Строгонову, великую будущность в первом ряду борцов за процветавшую в древности, ныне попранную свободу. А деспотическое обращение отца, старого полковника, который непременно хотел вырастить сына солдатом, делало впечатлительную душу мальчика еще более восприимчивой

для радикальных идей учителя и доводило в ней отвращение ко всякому гнету до степени личной, страстной ненависти.

В 1829 г. Печерин уже в Петербурге, студентом филологического факультета, и свой человек в кружке Никитенка.

Что представлял собою Петербургский университет в конце 20-х и начале 30-х годов, до преобразования его по уставу 1835 года, это довольно хорошо известно из воспоминаний Никитенка и других. Сам Печерин позднее писал: «Когда теперь припоминаю тогдашний Петербургский университет, то так и руки опускаются. Ведь действительно никакое самостоятельное развитие не было возможно. В преподавании не было ничего серьезного: оно было ужасно поверхностно, мелко, пошло. Студенты заучивали тетрадки профессоров, да и сам профессор преподавал по тетрадкам, им же зазубренным во время оно». В. Григорьев, ставший студентом в 1831 году, рассказывает, что заучивание требовалось дословное и что большинство профессоров бывало недовольно, если слушатель на репетициях отвечал собственными словами. Почти все время студентов уходило на слушание и записывание лекций, читавшихся не только утром, но и после обеда [1]). Курс историко-филологического факультета ограничивался богословием, древними и новыми языками, словесностью, историей и статистикой; философия и политическая экономия принадлежали к юридическому факультету, а теория изящных наук и археология филологам не читались за недостатком преподавателей. Древние языки, составлявшие главный фонд факультетской науки, преподавались по-гимназически [2]); проф. Попов томил студентов переводами с греческого на латинский и латинским перифразом, поминутно восклицая: «nolite negligere grammaticam Butmani» (им же переведенную на русский язык), Соколов одно полугодие питал и поил их греческой грамматикой, заставляя переводить с греческого на русский и латинский—кроме грамматических упра-

---

[1]) В. Григорьев, Т. Н. Грановский до его профессорства в Москве, Рус. Бес., 1856, кн. III.

[2]) Ф. Фортунатов, Воспоминания о С.-Петерб. унив. за 1830—1833 г.г., Рус. Арх., 1869, № 2.

жнений в 1-й части хрестоматии Якобса—помещенные в ней мифологические рассказы, а во втором полугодии читал с ними отрывки из Геродота и Гомера по 2-й и 4-й частям той же хрестоматии. Русский язык и словесность на 3-м курсе читал Толмачев, внедрявший в студентов этимологическую премудрость. Образчиком его патриотического корнесловия может служить производство слова х л е б на разных языках: сначала, говорил он, когда месят хлеб, делается хлябь—отсюда наше х л е б; эта хлябь начинает бродить, отсюда немецкое B r o d; перебродивши, хлябь опадает на-низ, отсюда латинское p a n i s; затем поверх ее является пена, отсюда французское p a i n. К а б и н е т он производил от слов к а к б ы н е т, поясняя: человека, который удаляется в кабинет, как бы нет. «Честь и украшение» факультета составлял академик Грефе, выписанный из Лейпцига, ученый друг минувшего себя латинистом гр. С. С. Уварова; он читал на высшем курсе латинский и греческий языки, оба по-латыни. Узкий специалист-филолог, великий мастер по части стилистического комментария и конъектур, он также не мог способствовать умственному развитию студентов, но, по крайней мере, мог дать серьезную научную подготовку тем из них, у кого обнаруживались охота и способности к изучению древних языков. Одним из таких студентов оказался Печерин. Замечательные филологические способности уже в половине университетского курса обратили на него внимание Грефе. Повидимому, и Печерин высоко ценил своего учителя и ревностно занимался под его руководством; в том же отрывке 1869 года, откуда выше приведена выдержка, он говорит: «Мне казалось, что мы с нашим академиком Грефе звезды с неба снимаем».

Эпоха, когда юный Печерин со своими мечтами о борьбе против деспотизма попал в Петербург, принадлежит к самым мрачным периодам русской истории за XIX век. После подавления декабрьского мятежа русское общество как бы вдруг оцепенело; всякая духовная жизнь замерла под гнетом железной руки, и утопические мечты, еще тлевшие в немногих умах, должны были постепенно угаснуть среди безнадежно-печальной действительности. А какова была она, каково было в ней положение молодого поколения, об этом красноречиво свиде-

тельствуют слова Никитенка, писанные в 1834 году: «Сначала мы судорожно рвались на свет. Но когда увидели, что с нами не шутят, что от нас требуют безмолвия и бездействия, что талант и ум осуждены в нас цепенеть и гноиться на дне души, обратившейся для них в тюрьму, что всякая светлая мысль является преступлением против общественного порядка, когда, одним словом, нам об'явили, что люди образованные являются в нашем обществе париями, что оно приемлет в свои недра одну бездушную покорность, а солдатская дисциплина признается единственным началом, на основании которого позволено действовать,—тогда все юное поколение вдруг нравственно оскудело. Все его высокие чувства, все идеи, согревавшие его сердце, воодушевлявшие его к добру, к истине, сделались мечтами без всякого практического значения, а мечтать людям умным смешно» [1]). В числе этих лучших людей, предавшихся мечтам (потому что худшие просто примирились), находился и Печерин. В том отрывке 1869 года, который мы уже дважды цитировали [2]), он так характеризует состояние общества и свое собственное настроение накануне польской революции 1830 года: «Бури улеглися, настала какая-то глупая тишина, точно штиль на море. В воздухе было ужасно душно, все клонило ко сну. Я, действительно, начинал уже дремать». Это значит, без сомнения, что он начинал забывать уроки либерализма, преподанные ему гувернером; революционный пыл в нем ослабел.

Если он не заснул тогда совсем, этим—по его собственному признанию—он был обязан следующему обстоятельству. Попечитель Бороздин, которому он, очевидно, был рекомендован профессором Грефе, призвал его к себе и предложил помогать барону Розенкампфу в его работе по изданию Кормчей книги, взамен чего освободил его от слушания некоторых лекций. Это было, по всей вероятности, в 1829 или 1830 году;

---

[1]) Никитенко, Дневник, т. I, стр. 327.

[2]) Этот отрывок (Из записок В. С. Печерина), посвященный воспоминаниям Печерина о баронессе Розенкампф, помещен в Рус. Арх. 1870 г. Из него же взяты все приводимые ниже в разных местах автобиографические показания Печерина.

очевидно, молодой студент уже обратил на себя внимание, как способный и знающий классик.

Его работа состояла в том, чтобы переписать из древней рукописи греческий текст Иоанна Схоластика (извлечение из Новелл Юстиниана), привести en regard славянский перевод его из рукописи XIII века, а под строкой латинский, сличить основной текст с другими редакциями и, наконец, описать самую рукопись. Работа Печерина составила одно из приложений во 2-м издании (1839 г.) «Обозрения Кормчей книги» барона Г. А. Розенкампфа. Предисловие Розенкампфа к этому приложению кончается такими словами: «Над составлением сего приложения трудился Владимир Сергеевич Печерин, молодой филолог, образующийся в С.-Петербургском университете и подающий хорошие о себе надежды» [1]).

«Каждое утро,—рассказывает Печерин,—в 8-м или 9-м часу я являлся в его кабинет и садился за свою работу. Это была прекрасная рукопись из Императорской Публичной библиотеки, X или XI века. Сколько я над нею промечтал! Я воображал себе бедного византийского монаха в черной рясе,—с каким усердием он выполировал и разграфил этот пергамент! С какою любовью он рисует эти строки и буквы! А между тем вокруг него кишит бестолковая жизнь Византии, доносчики и шпионы снуют взад и вперед; разыгрываются всевозможные козни и интриги придворных евнухов, генералов и иерархов; народ, за неимением лучшего упражнения, тешится на ристалищах; а он, труженик, сидит да пишет... «Вот,—думал я,— вот единственное убежище от деспотизма: запереться в какой-нибудь келье, да и разбирать старые рукописи!» Так начинал дремать Печерин; «мне грезился,—говорит он,—какой-то вздор, какое-то с ч а с т ь е: жить в уединении с греками и латинами и ни о чем более не заботиться...»

Однако знакомство с Розенкампфами оказалось для Печерина прямым продолжением уроков швейцарца-гувернера: оно углубило и расширило те самые благородные запросы, которые внушил ему учитель,—правда, не в сторону политиче-

---

[1]) Проф. Евг. Бобров. «Литература и просвещение в России XIX в.», т. I, стр. 107—111.

ского радикализма, а в смысле высокого представления о человеческом достоинстве, о духовной независимости и чистоте личной жизни. При Александре I барон и баронесса играли видную роль; с воцарением Николая они впали в немилость, и теперь жили в совершенном уединении, бездетные, оставленные прежними друзьями. Глубоко затаив горечь обиды, они гордо несли опалу. В их доме, рассказывает Печерин, господствовала оппозиция. «Все действия нового правительства были беспощадно порицаемы. Когда мы читали в «Journal des Débats» о первых неудачах русского оружия в Польше, барон качал головою и говорил: «Вот видите, так и выходит, что Гораций сказал правду: vis consilii expers mole ruit sua!» Баронесса полюбила юного филолога «чистейшею материнскою любовью» и усердно принялась за его воспитание. «Ах! как жалко,—говорила она ему,—как жалко, что в Петербурге нет средств для развития молодого человека!» И когда, года три спустя, Печерин перед от'ездом в Берлин зашел проститься с нею, она «с жарким участием благословила его на новый путь, на новый подвиг».

Печерин дремал и грезил о мирном счастии далекой от жизни научной работы—как вдруг «блеснула молния, раздался громовый удар, разразилась гроза польской революции... Воздух освежел,—рассказывает он,—все проснулись, даже и казенные студенты. Да и как еще проснулись! Словно Дух Святой низошел на них. Начали говорить новым, дотоле неслыханным языком: о свободе, о правах человека и пр. и пр. Да чего тут еще не говорили?! И мы этому добродушно верили. Sancta simplicitas!—С тех пор я уже более не засыпал».

II.

На первых порах этот напряженный идеализм принимает в двадцатитрехлетнем Печерине ту форму, которая и вообще присуща юношескому возрасту, а в начале 30-х годов прошлого века с особенной силой обусловливалась и духом времени,—форму романтической мечтательности.

Мы видели выше, что, по словам Никитенка, все благородные чувства людей его времени роковым образом превра-

лались в мечты, лишенные всякого практического значения. Действительно, вся духовная энергия лучшей, идеалистически настроенной части молодежи тратилась на восторженное, прекрасподушное волнение в атмосфере крайне туманного идеализма. Ближайшим образом это явление об'ясняется, конечно, невыносимым гнетом тогдашней действительности, осуждавшей на полную безнадежность всякое стремление воплотить в жизни даже элементарнейшие запросы развитого общественного самосознания, равно как и скудостью образовательных средств, которые могли бы отвлечь возбужденный ум в сторону философской разработки этих запросов. Но главной причиной была, без сомнения, та, которую так искусно определил в своей недавней работе проф. Овсянико-Куликовский [1]),—та восторженная чувствительность, которая составляет основную черту психологического типа людей 30-х годов. Поколение, увидевшее свет около 1810 года, т.-е. сверстники Печерина, в молодости своей являет зрелище столь бурной экзальтации, какой мы не видим ни в одном из предшествовавших или следовавших за ним поколений. «Душевная жизнь таких умов и талантов, как Белинский, Герцен, Станкевич, Огарев и др., была какая-то напряженная и наэлектризованная избытком чувств, требовавших выражения и излияния; перед нами любопытная картина как бы душевной неуравновешенности, порою близкой к тому, что наблюдается у натур религиозно-экзальтированных, у мистиков, заражающих друг друга своим экстазом». У многих из них эта восторженность, действительно, принимала форму религиозного экстаза.

На почве этой экзальтации сложился юношеский идеал поколения 30-х годов. Это была возвышенная мечта о нерасторжимой связи, соединяющей человека с космосом, о красоте, наполняющей космос, о божественном достоинстве человеческой личности, о долге сохранять в себе незапятнанной эту божественную сущность и содействовать ее обнаружению во всем человечестве.

Это чувство чрезвычайной миссии наполняло юношей сознанием своего высокого, исключительного призвания. Нака-

---

[1]). История рус. интеллигенции, т. I, М., 1906.

луне женитьбы Огарев пишет своей невесте: «Я чувствую, что Бог живет и говорит во мне; пойдем туда, куда зовет нас Его голос. Если я имею довольно души, чтобы любить тебя, наверное я буду иметь довольно силы, чтобы итти по следам Иисуса—к освобождению человечества... Наша любовь, Мария, заключает в себе зерно освобождения человечества»; и позднее, вспоминая юношеские годы, он пишет Герцену: «Мы вошли в жизнь с энергическим сердцем и с ужасным самолюбием и нагородили планы огромные и хотели какого-то мирового значения; право, мы тогда чуть не воображали, что мы исторические люди». Они в самом деле считали себя избранными сосудами или орудиями Божества и наивно верили, что судьба, ведущая остальных людей гуртом, нарочито и в отдельности внимательно занята ими. Бакунин говорил Станкевичу, что каждый раз, когда он возвращается откуда-нибудь домой, он ждет у себя чего-нибудь необыкновенного; когда в 1835 году Герцен переправлялся через Волгу на дощанике и последний начал тонуть, 23-летний идеалист, струсив в первую минуту, тотчас успокоился: «quid times? Caesarem vehis!» и с л е п о, чтобы он мог погибнуть, ничего не сделав,—и где! между Услоном и Казанью! Приведя слова Огарева (половины 30-х годов): «мой fatum написан рукой Бога на пути вселенной: он неизменен», Анненков замечает: «Легкость, с которою и он, и Герцен постоянно призывали само Провидение на вмешательство в их дела, как бы в виде своего доверенного и уполномоченного лица, всего лучше об'ясняет восторженное состояние как их самих, так и вообще той эпохи. Черта эта была у них общая со многими сверстниками из других лагерей. Станкевич, Грановский, В. Боткин, Белинский, так же точно, как К. Аксаков и др., одинаково считали себя орудиями высших сил и пытались содержать себя в надлежащей чистоте, приличной избранникам Промысла» [1]). Мы увидим дальше, какую большую роль играло это чувство в душевной жизни и судьбе Печерина.

Как само собою понятно, этот идеал был чужд всякой национальной окраски. В политической области он порождал

---

[1]) А н н е н к о в и е г о д р у з ь я, С.-Петербург, 1892, стр. 51.

фанатическую ненависть к деспотизму и восторженное обожание свободы, но и то, и другое в т у п о р у носило вполне космополитический характер. Эти юноши, как вспоминал позднее Герцен, со всем огнем любви жили в сфере общечеловеческих вопросов, придав им суб'ективно-мечтательный цвет [1]).

Естественно, что оракулом этой пылкой молодежи должен был стать Шиллер, этот призванный глашатай юношески восторженного и туманного идеализма, поэт-космополит, страстный трибун, зовущий в бой против тиранов. Он, действительно, был их оракулом, как свидетельствуют письма Станкевича, Белинского, Огарева, Герцена и др. Герцен рассказывает, что он и Огарев разбирали, любили и ненавидели лица шиллеровских драм не как поэтические образы, а как живых людей,—мало того, видели в них самих себя: «мой идеал был Карл Мор, но я вскоре изменил ему и перешел в маркиза Позу». «Resignation» Шиллера, по словам Анненкова, была у Станкевича на уме и на языке почти беспрерывно. В каком направлении влиял на них Шиллер, можно видеть из позднейшего (1839 г.) показания Белинского, что «Разбойники», «Коварство и любовь» и «Фиэско» породили в нем вражду к общественному порядку во имя абстрактного идеала общества, оторванного от всяких географических и исторических условий развития, что «Дон-Карлос» и «Орлеанская Дева» бросили его в абстрактный героизм, вне которого он стал все презирать, все ненавидеть [2]). За Шиллером следовали Шекспир и Гёте, но в некотором отдалении. Поэзия, театр, музыка и дружба наполняли жизнь, что, впрочем, не мешало юным романтикам и танцовать на вечеринках, ухаживать за барышнями и шалить по-мальчишески.

III.

Изобразив романтический идеализм молодежи 30-х годов, мы обрисовали вместе с тем общий духовный облик Печерина, каким он представляется непосредственно по окончании уни-

1) Дневник 1842 г., т. I, стр. 44.

2) Пыпин. Б е л и н с к и й, т. I, стр. 297.—Сравн. Герцен, соч., т. VIII, стр. 30: «Шиллер! Благословляю тебя, тебе обязан я святыми минутами начальной юности!» и т д.

верситета. Печерину было тем естественнее стать восторженным мечтателем, что он был одарен несомненным поэтическим талантом. В 1831 году его на первый взгляд, вероятно, трудно было бы отличить от Станкевича, Герцена, Огарева и др. Какой-то провинциал, посетивший в этом году Петербург и лично незнакомый с Печериным, сохранил нам в одной строке такую характеристику его,—без сомнения, со слов общих знакомых: «Он обожает Шиллера и живет в мире идеалов»,—и только [1]). В это время он много переводил из Шиллера, печатая свои переводы в «Сыне Отечества», и лучшей характеристикой его настроения в эту эпоху является стихотворение «Желание лучшего мира» («Sehnsucht» Шиллера), о котором он тогда же писал своей кузине: «Хотя это только перевод стихотворения Шиллера, оно вылилось у меня из глубины души» [2]).

Ах! Из сей долины тесной,
Хладною покрытой мглой,
Где найду исход чудесный?
Сладкий где найду покой?

Он грезит об ином мире, где не веют зимние бури, где век не вянут цветы, где звучит музыка райских лир и пение чистых духов.

Но увы! Передо мною
Воды яростно шумят,
Грозною катясь волною:
Дух мой ужасом об'ят.
Вот челнок колышут волны...
Но гребца не вижу в нем!..
Прочь, боязнь! Надежды полный,
В путь лети! Уж ветерком
Паруса надулись белы...
Веруй и отважен будь:
В те чудесные пределы
Чудный лишь приводим путь! [3]).

---

[1]) Рус. Стар. 1900 г., февр., стр. 480.

[2]) Он напечатал его даже дважды, в феврале и в марте 1831 г., второй раз—в пополненной редакции; см. Е. Бобров, цит. соч. IV, 17.

[3]) Du musst glauben, du musst wagen,
Denn die Gôtter leihn kein Pfand;
Nur ein Wunder kann dich tragen
In das schöne Wunderland.

Но он был не только обожателем „Шиллера, живущим в мире идеалов, каким казался людям, сравнительно мало знавшим его. Грезы о чудесной стране, куда приводит лишь чудесный путь, были у него общи со всей лучшей частью его поколения; но одна сторона этого всеоб'емлющего идеала должна была с особенной силой овладеть его душою: именно, тот абстрактный героизм, в котором каялся позднее и Белинский. К этому предрасполагали его и страстность натуры, и влияния отроческих лет.

В начале 1832 года, по поводу «прекрасных стихов» на университетскую годовщину, прочитанных Печериным в дружеском кружке, Никитенко замечает: «Это—человек с истинно поэтической душою. В нем все задатки доблести, но еще нет опыта в борьбе со злом. Выйдет ли он в заключение победителем из нее?» Печерин был не из тех людей, которые, как Никитенко, довольствуются кропотливым выпалыванием «зла»: он, как гаршинский безумец, жадно искал «красный цветок» всемирного зла, чтобы ценою мученичества вырвать его с корнями—

И к цели высшей бытия
Ленивую громаду передвинуть.

Два типа, в которых искони воплощается идеализм!

IV.

В феврале 1831 года Печерин блестяще окончил университет, один из всего выпуска со степенью кандидата. Пользуясь расположением Грефе и Бороздина, он сразу хорошо устроился—стал старшим учителем при 1-й гимназии, помощником библиотекаря в университете и лектором по кафедре латинского языка [1]). Он был свой человек в молодом кружке Никитенка, посещал с приятелями маленькие балы в знакомых семействах, увлекался театром и, на зло сонной публике, неистово аплодировал «великому Шекспиру», так что возвращался домой с опухшими руками. В то же время он печатал в

---

[1]) Е. Бобров, цит. соч. I, стр. 88

«Сыне Отечества» и в разных альманахах стихотворные переводы из Шиллера и из греческой антологии, написал также статью о трагедиях Софокла.

Эту статью нельзя пройти молчанием [1]). Она показывает, как неотступно преследовала Печерина мысль об «ином» мире и как рано зародилось в нем то странное, полу-сознательное стремление уйти из жизни, пренебречь ее суетными соблазнами ради чистого и высокого служения какому-то неясному идеалу, внушавшее ему за текстом Иоанна Схоластика грезу об уединенной жизни с греками и римлянами. Основная мысль, которую он находит в трагедиях Софокла,—вера в бессмертие и глубокое сознание ничтожности всего земного; гармонические стихи Софокла кажутся ему «отголосками иного, лучшего мира». Разобрав «Антигону», он кончает так: «В заключение скажу: чем более углубляемся в сию трагедию, тем более проясняется горизонт перед нами; жизнь земная, со всем ее волнением, остается позади нас; пред очами нашими развивается постепенно новый, прекрасный мир; некое кроткое сияние, некая священная тишина окружают путника; земные оковы его распадаются, и дух свободный, окрыленный парит в жилища горние». Ту же идею он находит в «Аяксе»: когда Тевкр, наконец, призывает родственников предать погребению тело Аякса, так как все уже кончено,—«мне кажется,—пишет Печерин,—я вижу, как волнение жизни постепенно утихает,—как все земное распадается в прах, как возникает новый, прекрасный мир, немерцающим светом озаренный»; и, заключая свою статью, он говорит: «Так окончил великий Софокл свое бессмертное творение; так поступает и всякий истинный трагик, представив очам зрителя борение человека с судьбою; он, как провозвестник неба, приподнимает, наконец, перед ним завесу лучшего мира, и в отдалении, кротким светом озаренном, показывает осуществленным в действительности то, что здесь, в юдоли слез, живет, как светлая идея, в сердце мужа благочестивого, исполненном веры, надежды и любви».

---

1) «Взгляд на Трагедии Софокла: Антигона и Аякс», Сын Отечества, т. XVIII, 1831 г., стр. 351—361.

Переводы из антологии обратили на Печерина внимание Уварова, который сам когда-то вместе с Батюшковым занимался переводом антологических стихотворений с греческого; Печерин сблизился с Уваровым и стал под его покровительство. Сохранившееся письмо его к кузине от 1831 года рисует его приятным молодым человеком петербургского пошиба, с байроническим оттенком и не без склонности пококетничать своими служебными и литературными успехами. Расплывчатый романтический идеализм оказывался ненадежным панцырем против пошлости света и чиновничества. Позднее, все в том же отрывке из мемуаров, Печерин так вспоминал об этом времени: «Я между тем поступил на службу. Меня сделали лектором и суббиблиотекарем при университете и старшим учителем в 1-й гимназии. Началась жизнь петербургского чиновника. Я усердно посещал маленькие балики у чиновников-немцев, волочился за барышнями, писал кое-какие стишки и статейки в «Сыне Отечества»; но что еще хуже—я сделался ужасным любимцем товарища министра просвещения, С. С. Уварова, вследствие каких-то переводов из греческой антологии, напечатанных в каком-то альманахе. Я начал просто ездить к нему на поклон, даже на дачу. Благородные внушения баронессы Розенкампф изглаживались мало-по-малу. Раболепная русская натура брала свое. Я стоял на краю зияющей пропасти».

Но тут судьба Печерина вдруг круто изменилась: ему предложено было отправиться в Берлин для приготовления к кафедре. «К счастию,—продолжает Печерин,—в одно прекрасное утро, 19-го февраля 1833 года, очень рано, министр Ливен прислал за мною и, сделав мне благочестивое увещание в пиетистическом стиле, отправил меня в Берлин, где и поручил меня благим попечениям от'явленного пиетиста, профессора Кранихфельда, главы берлинских пиетистов. Разумеется, нога моя никогда не была у Кранихфельда. Некоторые из товарищей нашли нужным, ради приличия, сделать ему визит; но я настоял на своем и тотчас же написал отчаянное письмо к академику Грефе, а через него к Уварову, что вот так и так, нас, членов профессорского института, будущих профессоров России, отдали под присмотр какому-то берлинскому ханже, ко-

торый шпионствует за нами даже на наших квартирах, и пр. и пр. Письмо мое имело отличный успех. К этому времени Ливен вышел в отставку, а на место его сделался министром Уваров. Крапихфельда тотчас же отставили от должности, и за это ему дали Владимира, а нас из духовного ведомства перевели в военное, т.-е. отдали под надзор честнейшему и благороднейшему человеку, военному агенту генералу Мансурову».

Печерин прожил за границей два года, не в одной Германии, но и в Швейцарии и Италии. За эти годы решился вопрос его судьбы. Он уже раньше знал от Шиллера и Руссо, что рабство, унижение, страдание и труд—искажение бытия, что человек рождается для игры и молитвы. Но до сих пор эти слова звучали ему извне,—теперь все его существо наполнилось ими: он—не пасынок, а сын природы, облеченный всеми правами своего царственного происхождения, и все люди—царские сыновья, кем то проданные в рабство.—И тут, по естественной ассоциации чувств, воскресли в Печерине те тайные влечения, которые уже и раньше давали себя знать: инстинкт власти, чувство своего исключительного призвания. Его предназначение—он уверен в том—начертано на скрижалях судьбы. Его личность безраздельно спаялась с его мечтою и личная слава манит его только как апофеоз его мечты. Ветхий мир должен быть разрушен, на его месте должно водвориться царство свободы и радости,—и это сделает о н, предназначенный к тому судьбою.

А пока надо было вернуться на родину. «Через два года, в 1835 г.,—пишет Печерин,—я возвратился в Петербург, с какою неизлечимою тоскою в сердце, с какими отчаянными планами для будущего,—не здесь место об этом говорить».

Причины этой тоски нетрудно понять; она томила и товарищей Печерина, вместе с ним вернувшихся в Россию. Вкусив широкой науки Запада, его культурного быта и сравнительно большой свободы, они, словно в мрачное подземелье, возвращались на родину, где (как заявлял позднее Уваров) среди прав гражданина не числилось права публично выражать свое мнение, где солдатская дисциплина душила кастрированную науку, душила мысль и энергию еще в пеленках.

где народ был раб, а «общество» коснело в невежестве и нравственном растлении, где личность, по образному выражению Огарева, была столько же свободна, «как жук, привязанный за ножку». Притом на Западе им беспрестанно твердили, что их родина—прирожденный враг культуры (дело было тотчас после подавления польского мятежа в 1831 году, которое вызвало взрыв негодования по всей Европе), и молодые идеалисты не могли не уверовать в горькую правду этого мнения. В половине 1834 года Никитенко, со слов вернувшегося из Берлина Калмыкова, заносит в свой дневник, что русских везде в Германии ненавидят, не исключая и Берлина; знаменитый Крейцер сам сказал Калмыкову после взятия Варшавы, что отныне питает к русским решительную ненависть, а одна дама пришла в страшное негодование, когда Калмыков попытался защищать русских: это—враги свободы, кричала она,—это гнусные рабы. Под 17-м июня 1835 года Никитенко пишет: «Возвратились из-за границы студенты профессорского института. У меня были уже: Печерин, Куторга младший, Чевилев; Калмыков приехал прежде. Они отвыкли от России и тяготятся мыслью, что должны навсегда прозябать в этом царстве (крепостного) рабства. Особенно мрачен Печерин. Он долго жил в Риме, в Неаполе, видел большую часть Европы и теперь опять заброшен судьбой в Азию. По словам их, ненависть к русским за границею повсеместная и вопиющая. Часто им приходилось скрывать, что они русские, чтобы встретить приветливый взгляд и ласковое слово иностранца. Нас считают гуннами, грозящими Европе новым варварством. Профессора провозглашают это с кафедр, стараясь возбудить в слушателях опасения против нашего могущества» [1]).

С безнадежной тоской в сердце ждал Печерин решения своей судьбы. Был учрежден комитет для «справедливого и безотлагательного» размещения воспитанников профессорского института по русским университетам. В июле или августе Печерин прочитал в Академии Наук пробную лекцию на тему, выбранную им, несомненно, по соглашению с Грефе, который

---

[1]) Никитенко, Дневник I, стр. 358—359.

был членом упомянутого комитета: о знаменитом надгробном слове Перикла из второй книги Фукидида [1]).

Печерин защищал подлинность этой речи, между прочим, «внутренними доказательствами, почерпнутыми из господствующего в целом сочинении духа», и «сравнением речей Фукидида с нынешними парламентскими речами» [2]). С каким грустным умилением он должен был смотреть на эту радостную, как майское утро, картину прекрасной, гармонической жизни Афин в расцвете их могущества!

7-го августа 1835 года Печерин был назначен преподавателем в Московский университет. Он был еще только кандидатом. Осенью он выдержал в Москве экзамен на ученую степень: по-латыни—из энциклопедии филологических наук, из греческих древностей, римских древностей, истории греческой литературы и истории римской литературы, и по-русски—из археологии искусства. В декабре он получил разрешение представить диссертацию по предмету, которым, как мы видели, давно уже занимался,—о греческой антологии («Observationes criticae in universam Anthologiam Graecam»), а 31-го декабря того же 1835 года был утвержден в звании исправляющего должность экстраординарного профессора для преподавания греческой словесности [3]). Кафедру латинской словесности одновременно с ним занял Крюков.

---

1) Для истории назначения Печерина в Моск. унив., см. Е. Бобров, цит. соч. I, стр. 124.

2) Краткий отчет о пробной лекции Печерина из Журн. Мин. Нар. Пр. за 1835 г. приведен у проф. Боброва, I, стр. 124—125.

3) Н. Попов, Предание суду проф. В. С. Печерина, в Юрид. Вестн. 1880 г., май. Печерин не получил докторской степени, как, повидимому, думает проф. Бобров (I, стр. 127): в имеющихся у нас копиях его формулярного списка 1836 года и позднейших документов по поводу предания его суду он и сам называет себя и официально именуется «испр. должн. э.-о. профессора кандидатом П—м». Это обстоятельство заставляет думать, что Печерин, выдержав испытание на степень доктора, диссертации так и не представил до своего от'езда из Москвы в июне 1836 года. Мы ниже увидим, в каком настроении провел он эту зиму: ему было не до греческой антологии.

V.

Деятельность Печерина в Московском университете продолжалась всего один семестр,—с января по июнь 1836-го года; но и за это короткое время и несмотря на пожиравшую его тоску, он составил себе своим преподаванием блестящую репутацию. По словам Погодина, его товарища по университету, он до такой степени сумел заинтересовать студентов своим предметом, что все они принялись за греческий язык и в один год сделали необыкновенные успехи; по словам Ю. Ф. Самарина, его лекции отличались художественной законченностью и совершенной новизной; то же подтверждают Д. Валуев, В. Григорьев и Ф. Чижов. Буслаев, бывший сам слушателем Печерина, рассказывает в своих «Воспоминаниях»: «Профессор греческого языка (ни имени его, ни отчества не припомню) был совсем молодой человек, самый юный из всех прибывших вместе с ним товарищей, небольшого роста, быстрый и ловкий в движениях, очень красив собою, во всем был изящен и симпатичен, и в приветливом взгляде, и в мягком, задушевном голосе, когда об'ясняя нам Гомера и Софокла, он мастерски переводил их стихи прекрасным литературным слогом. Но к несчастию, мы пользовались его высокими дарованиями и сведениями очень недолго, менее года». Чтобы дополнить этот его портрет, приведем еще писанные много лет спустя (в 1865 году) слова И. С. Аксакова, который знал Печерина по рассказам близких лиц, «по тем воспоминаниям,—добрым воспоминаниям,—которые оставила в сослуживцах и учениках его профессорская деятельность». «В короткое время своего профессорства,—говорит Аксаков,—он успел внушить и слушателям, и товарищам чувства самой живой симпатии. Строгий ученый, он соединял с замечательной эрудицией по части классической древней литературы живое поэтическое дарование и нежную, хотя постоянно тревожную душу, болезненно чутко отзывавшуюся на все общественные задачи своего времени, на всякую боль тогдашней русской действительности. Какова была эта действительность—пусть припомнят сами читатели. Направление мыслей его было атеистическое—общее почти всем его товарищам».

Да, Печерин задыхался в этой «действительности», как орел в клетке. Ужаснее всего было даже не политическое состояние России, а его непосредственный результат—невыносимая духота обстановки, в которой приходилось жить, сытая пошлость общества, окружавшего Печерина в Москве. Герцен двумя строками характеризует эти мрачные дни, когда всякая духовная жизнь замерла в Москве, когда он сам был в ссылке, когда кружок Станкевича рассеялся, когда один за другим были запрещены «Московский Телеграф», «Европеец» и «Телескоп» и Чаадаев об'явлен сумасшедшим: «Кругом глушь, молчание,—все было безответно, бесчеловечно, безнадежно, и притом чрезвычайно плоско, глупо и мелко». Что общего мог иметь Печерин со всеми этими Ивашковскими, Терновскими, Котельницкими, Герингами и Гастевыми, своими товарищами по университету, преподававшими так, что студенты больше забывали, чем узнавали, всецело погрузившимися в жалкие интересы домашнего благополучия и чиновничьей карьеры, с благочестивым Снегиревым, по сердечному влечению строчившим доносы (между прочим, и на Печерина), или с грубым цинником Погодиным, который в своем дубовом патриотизме огулом ругал западную жизнь и западную науку? Этот самый Погодин в своих воспоминаниях приводит любопытный рассказ, показывающий, какие чувства наполняли Печерина и его молодых товарищей, какие мысли сверлили их мозг. Провожая их от себя после чая за оврагом на Девичьем поле в 1836 году, он говорил им: «Те профессора, которых вы теперь сменяете: Ивашковские (предшественник Печерина по кафедре), Котельницкие и прочие, были ведь смолоду так же ревностны, так же благоговели в науке, так же горели желанием распространять истину,—а что сталось с ними теперь в их несчастной среде? Увидим, что будет с вами» [1]).

Эта последняя мысль была слишком справедлива,—в ней и заключался главный ужас их положения.

Печерин не мог вынести этой муки. Повидимому, еще без всякого определенного плана, даже без ясного намерения на-

---

[1]) «Школьные воспоминания» М. П. Погодина, Вестн. Евр., 1868, авг., стр. 614.

всегда покинуть Россию, он уже вскоре по приезде в Москву решил на вакации уехать за границу. По свидетельству Герцена, подтверждаемому приводимым ниже письмом, он свел свои расходы на самое необходимое, давал уроки, избегал людей, и к весне скопил деньги, нужные на поездку. Ему, очевидно, было невтерпеж. Уже 19-го февраля 1836 года, т.-е. задолго до начала каникул, которые в то время считались с 10-го июня (по 22-е июля), он обращается в совет университета с следующим прошением [1]): «Непредвиденные обстоятельства, требующие моего присутствия в Берлине для свидания с одним весьма близким ко мне семейством, равно как и намерение напечатать у книгопродавца Дюмлера мою диссертацию: De Anthologia Graeca,—заставляют меня просить покорнейше совет Императорского университета об исходатайствовании мне от начальства позволения ехать в Берлин, в отпуск, на время летних вакаций». По постановлению Комитета министров и с царского согласия отпуск ему был разрешен, о чем университет и известил его 7-го мая; но это значило сидеть в Москве еще целый месяц. И вот уже 11-го мая ректор сообщает попечителю новое прошение Печерина: так как его занятия по занимаемой им должности должны прекратиться 14-го мая, с окончанием экзамена, то он, Печерин, просит уволить его в отпуск с сего времени, почему ректор спрашивает, можно ли уволить Печерина ранее официального срока вакаций, т.-е. ранее 10-го июня, и если можно, то удержать ли у него следующее ему по 10-е июня жалованье со дня дачи отпуска. О судьбе, постигшей это второе прошение Печерина, мы ничего не знаем, но, повидимому, преждевременного отпуска он не получил; по крайней мере, в его формулярном списке 1836 года значится, что он уволен был в отпуск с 10-го июня [2]).

---

[1]) Эта, как и помещаемые ниже официальные бумаги по делу Печерина, заимствованы из архива Московского университета (1836 г., № 8, «Об увольнении преподавателей в отпуск»).

[2]) Вот официальные сведения о службе Печерина в Московском университете. В «Отчете» этого университета за 1835 г. сказано: «И. д. э.-о. проф. В. Печерин (преподает греч. словесность и древности). Рязанской губ., из дворян, 28 лет, исправляет должность с 7 авг. 1835 г.; жалованья 2.000 руб. (ассигн.)». В «Отчете» за 1836 г. сказано: «Г. Печерин студентам 2 и 3 кур-

В июле [1]) Печерин уехал за границу, и—как значится в его формулярном списке—более «к должности не явился».

Формально это было нарушением взятого на себя обязательства, потому что, принимая в 1833 году заграничную командировку, Печерин, в числе других командируемых (Порошин и Геник), подписал бумагу, составленную в следующих выражениях: «Мы, нижеподписавшиеся, чувствуя в полной мере оказанное нам благодеяние правительством, доставившим средства на содержание себя в продолжение двух лет в Берлине для окончательного образования в тамошнем университете,—по истечении сего срока обязуемся немедленно возвратиться в Россию и прослужить не менее двенадцати лет по учебной части в высших учебных заведениях по распоряжению Министерства Народного Просвещения». Действительно, против пропавшего без вести Печерина тотчас (в феврале 1837 г.) было возбуждено судебное преследование, прекращенное лишь в 1846 году за нерозыском обвиняемого [2]). Лично для Печерина важнее была другая сторона дела: своим поступком он нанес тяжелый удар гр. С. Г. Строгонову, который, будучи назначен в 1835 году попечителем Московского округа, на первый план поставил обновление университета, лелеял молодых доцентов, по его же настоянию назначенных в Москву, и благородством своего характера, широтою взглядов, заботою об истинных нуждах просвещения заслужил их искреннюю симпатию. От'езд Печерина должен был глубоко огорчить Строгонова не только потому, что в лице Печерина университет терял ценную научную силу, но и потому, что этот проступок мог тяжело отозваться на положении всего

сов по 3 часа в неделю об'яснял происхождение и дух поэм Гомера и читал с комментариями Одиссею», а в выноске к этим строкам прибавлено: «Г. Печерин начал преподавание с января 1836 г. студентам 2 и 3 курсов, и по окончании академического года уволен был с Высочайшего соизволения за границу в Берлин на 4 месяца, но до сего времени в университет не явился, о чем донесено высшему начальству». Жалованье в этом отчете показано 3.500 р. и 400 р. квартирных денег.

[1]) Никитенко, I, 377.

[2]) Об этой канцелярской процедуре см. статью Нила Попова «Преданье суду профессора В. С. Печерина», Юридич. Вестн., 1880 г., май, стр. 77 и слл.

высшего образования в России и, во всяком случае, на системе отправления молодых ученых для усовершенствования за границу. Действительно, Калмыков рассказывает, что граф несказанно скорбел о поступке Печерина, писал к нему, напоминал ему о долге и советовал вернуться в отечество [1]). В ответ на эти увещания Печерин, 23-го марта 1837 года, из Брюсселя написал Строгонову нижеследующее письмо, в пламенных строках которого заключено столько душевной муки и столько непреходящей красоты [2]).

«Граф!

«Письмо, коим вы меня почтили, дошло до меня лишь 21-го сего месяца, вероятно, по оплошности почтмейстера в Лугано. Спешу на него отвечать.

«Я глубоко тронут участием, которое вы во мне принимаете, вашими добрыми намерениями относительно меня, вашими великодушными предложениями... О, если бы я еще был достоин такой заботливости!.. Но, граф, я решился. Судьба моя определена безвозвратно—вернуться вспять я не могу.

«Почти с моего детства надо мною тяготеет непостижимый рок. Повинуюсь необоримому влечению таинственной силы, толкающей меня к неизвестной цели, которая виднеется мне в будущности туманной, сомнительной, но прелестной, но сияющей блеском всех земных величий... Вот об'яснение загадки.

«Об'яснюсь откровенно о сцеплении мелких обстоятельств, доведшем меня до настоящего моего положения.

«Убаюкиваемый сладкими мечтами, я приближался, в 1835 году, к пределам моей родины. Я остановился в раздумьи у ее границы, я поднял глаза и увидел над нею зловещую надпись:

Voi ch'intrate, lasciate ogni speranza!

«И я прозрел ожидавшую меня будущность...

---

[1]) Рус. Стар., 1887 г., апрель.

[2]) Письмо писано по-французски; привожу его в очень точном переводе Рус. Архива, 1870 г., № 11.

«Вы призвали меня в Москву... Ах, граф! Сколько зла вы мне сделали, сами того не желая! Когда я увидел эту грубо-животную жизнь, эти униженные существа, этих людей без верований, без Бога, живущих лишь для того, чтобы копить деньги и откармливаться, как животные; этих людей, на челе которых напрасно было бы искать отпечатка их Создателя; когда я увидел все это, я погиб! Я видел себя обреченным на то, чтобы провести с этими людьми всю мою жизнь; я говорил себе: кто знает? Быть может, время, привычка приведут тебя к тому же результату; ты будешь вынужден спуститься к уровню этих людей, которых ты теперь презираешь; ты будешь валяться в грязи их общества, и ты станешь, как они, благонамеренным старым профессором, насыщенным деньгами, крестиками и всякою мерзостью!

«Тогда моим сердцем овладело глубокое отчаяние, неизлечимая тоска. Мысль о самоубийстве, как черное облако, носилась над моим умом... Оставалось только избрать средство. Я не знал, что лучше: застрелиться ли, или медленно погибнуть от раз'едающего яда мысли...

«Я погрузился в мое отчаянье, я замкнулся в одиночество моей души, я избрал себе подругу столь же мрачную, столь же суровую, как я сам... Этою подругою была н е н а в и с т ь! Да, я поклялся в ненависти вечной, непримиримой ко всему меня окружавшему! Я лелеял это чувство, как любимую супругу. Я жил один с моею ненавистью, как живут с обожаемою женщиною. Ненависть—это был мой насущный хлеб, это был божественный нектар, коим я ежеминутно упивался. Когда я выходил из моего одиночества, чтобы явиться в этом ненавистном мне свете, я всегда показывал ему лицо спокойное и веселое; я даже удостоивал его улыбки... Ах! я походил на того лакедемонского ребенка, который не изменялся в лице, в то время как когти зверя, скрытого под его одеянием, терзали его внутренности.

«Я стал в прямой разрез с вещественною жизнью, меня окружавшею; я начал вести жизнь аскетическую; я питался хлебом и оливками, а ночью у меня были видения.

«Всякий вечер звезда, гораздо более блестящая, чем все прочие, останавливалась перед моим окном, насупротив моей

кровати, и лучи ее ласкали мое лицо. Я вскоре догадался, что это та самая звёзда, под которой я родился. Она была прекрасна, эта звезда! Ее блеск манил меня, призывал меня ей подчиниться.

«В одну из этих торжественных ночей я услышал голос моего Бога, тот строгий, грозный голос, который потряс все струны моего сердца. Этот голос прокричал мне: «Что ты тут делаешь? Здесь нет будущности! Встань! Покинь страну твоих отцов! Возьми Мое святое знамя! Возьми Мой тяжкий крест, и неси его, если нужно, до Голгофы! Ты падешь, но имя твое будет записано в книге живота между именами величайших мучеников человечества!» Я услышал этот голос и решился.

«Между тем мои мнения окрепли; из подвижных и текучих они перешли в состояние окаменения. Они приняли форму жесткую, суровую, пуританскую. То уже не были отвлеченные начала, которые можно обсуждать хладнокровно с той и с другой стороны. То была живая вера, слепое, непоколебимое, фанатическое убеждение, то убеждение, которое посылает своих верных умирать на поле битвы, на костре, на плахе...

«Вскоре весь мой катехизис свелся к этому простому выражению: цель оправдывает средства. Я сказал себе: Bisogna esse volpe o leone! Мне не позволяют быть львом: хорошо же, станем на время лисицею! Обманем своих тюремщиков! И проклятие тем, кто меня к тому принуждает!

«Вот моя история... Относительно вас, граф, я поступил недостойно.—Человек благородный и великодушный, как я люблю и уважаю вас! Я готов отдать за вас жизнь—но... вы лишь единичное лицо, и человечество имеет более прав, чем вы! Я отрекся от всяких чувств; у меня остались одни правила. Я служу неумолимому божеству. Я на его алтаре принес в жертву то, что человеку всего дороже—отечество, родных, друзей! Я имел мужество отказаться от общественного положения, весьма выгодного и обставленного всеми прелестями вещественного довольства; я добровольно избрал жизнь лишений, жизнь бродячую, бесприютную, нередко грозящую голодною смертью...

«Вы говорите мне, граф, о д о л г е и ч е с т и! Разве не мой долг прежде всего повиноваться моим убеждениям? А моя честь?—Пусть ее марают, если хотят! Какое мне дело до моей чести, до моего доброго имени, только бы восторжествовало мое убеждение. Ношу в сердце моем глубокое предчувствие великих судеб. Верю в свою будущность, верю в нее твердо и слепо...

«Юношеское ли это тщеславие? Или безмерное честолюбие? Или безумие?—Не знаю. Мой час еще не настал.

«Провидение никогда не обманывает. Семена великих идей, бросаемые им в нашу душу, всегда суть верный залог прекрасной жатвы славы... Слава! Волшебное слово! Небесный призрак, для которого я распинаюсь! О, Провидение! Прошу у тебя лишь дня, единого дня славы, и дарю тебе остаток моей жизни!

«Извините, граф, лихорадочную напряженность, беспорядочность, безумие этого письма, и прощайте навеки. Примите это письмо, как завещание умирающего, ибо я умираю для всего, что когда-то было мне дорого. Завещаю вам мою любовь к этим юношам, которых Небо поручило вашему попечению. Берегите эти прекрасные, нежные растения! Защищайте их от аквилона! Сохраняйте их для лучшего будущего! Да сохранит вас Бог, граф! Да поддержит вас, на вашем трудном пути, Его всемогущая десница. Да увенчает блестящий успех ваши великодушные усилия!

«Забудьте, что я когда-либо существовал, и простите меня! Не довольно ли я поплатился за мой проступок, разорвав свой договор с жизнью и с счастием? Я извлек из своего измученного сердца несколько капель крови и подписал окончательный договор с диаволом, а этот диавол—м ы с л ь.

«Имею честь быть, с глубоким уважением и преданностью, которая кончится лишь с моею жизнью, ваш покорнейший слуга

Владимир Печерин».

VI.

Печерин оставил Россию в июле 1836 г. Отныне наши сведения о нем чрезвычайно скудны. В декабре того же года Чижов—один из его ближайших друзей по Петербургу—по-

лучил от него письмо из Лугано: не открывая своих намерений, Печерин «заклинал» прислать ему 500, в крайнем случае хоть 200 руб. Вспоминая его речи за последнее время, друзья догадывались, что он решил навсегда покинуть Россию; в ответ на его письмо четверо из них (Чижов, Гебгардт, Поленов и Никитенко) послали ему 400 руб., по 100 руб. с каждого, для возвращения в Россию [1]). Как мы уже знаем, он не последовал зову друзей: в марте следующего 1837 года уже из Брюсселя он пишет приведенное сейчас письмо к графу Строгонову и—очевидно, несколько дней спустя—уже категорически сообщает Чижову о своем решении не возвращаться, прибавляя, что не создан для того, чтобы учить греческому языку, что чувствует в себе призвание итти за своей звездой, а эта звезда ведет его в Париж [2]). В ноябре он уже опять в Швейцарии, именно в Цюрихе, где к новому году должен был получить гражданство [3]). Натурализовавшись здесь, он, можно думать, прожил в Швейцарии два ближайших года; по крайней мере, в августе 1839 г. Погодин, знавший его в Москве, напал на его след в Берне, где Печерин, по его словам, незадолго до того содержал какую-то библиотечку; Погодин искал его по всей Европе, думая склонить к возвращению. Все это время Печерин, вероятно, очень бедствовал. Средств у него не было никаких; уже в письме к Строгонову он писал, что обрек себя на бесприютную жизнь, нередко грозящую голодной смертью; о том же свидетельствуют такие факты, как заем у друзей и содержание библиотечки в Берне. Он перебивался, повидимому, главным образом, уроками, и притом нищенскими—за полфранка, как сообщает Чижов [4]), а одно время, в 1838 или 1839 году, если верить слуху, который передает в своих воспоминаниях Буслаев, жил учителем или гувернером в какой-то русской или иностранной семье.

---

[1]) Никитенко, Дневник, I, стр. 376—377, под 23 дек. 1836 г.

[2]) Ibid., под 3 апреля 1837 г.

[3]) Проф. Е. Бобров, I, стр. 150 (из письма Грановского к В. В. Григорьеву).

[4]) Рус. Стар., 1889, XI, 367.

15-го октября 1840 года по новому стилю, после четырехлетнего скитания по Европе, Печерин в Saint-Trond, в Бельгии, вступил в монашеский орден редемптористов, незадолго перед тем приняв католичество.

VII.

Нам предстоит нелегкая психологическая задача—понять поступок Печерина, кажущийся на вид столь чудовищным. Как, прожив до 33-х лет в полном равнодушии к вере, человек с европейским образованием, богато одаренный для науки и поэзии, с отрочества проникнутый ненавистью ко всякому деспотизму,—как мог он, во-первых, с жаром вдруг предаться церкви и, во-вторых, добровольно наложить на себя ярмо самой страшной тирании, абсолютнее которой не существовало в его время,—ярмо католического монашества? Не только мы,—и современники, знавшие Печерина лично или по наслышке, как Никитенко и Герцен, были несказанно поражены, узнав, что он стал католическим монахом.

Много лет спустя, в 1863 г., Катков в «Московских Ведомостях» к слову рассказал историю обращения Печерина. По его словам, Печерин уверовал под влиянием одного случая, который глубоко его потряс. Будучи человеком безусловно неверующим, он однажды в Брюсселе вошел в католическую церковь, чтобы посмеяться и покощунствовать, и затеял богословский спор с монахом-редемптористом; но монах разбил его доводы, поразил его непоколебимой твердостью своего убеждения и сумел пробудить в молодом вольнодумце религиозное чувство; результатом был переход Печерина в католичество и вступление его в орден редемптористов [1]).

Когда этот рассказ дошел до сведения Печерина, он отозвался на него такими строками: «Странные у людей понятия о так называемых о б р а щ е н и я х в католическую

---

[1]) Повидимому, на аналогичный случай намекает и Огарев, говоря об обращении Печерина: «в н е ш н е е ч у д о столкнуло его живого в гроб» (предисловие к сборнику русс. запрещенных стихотв., стр. LXXVIII).

веру! Восприимчивость пылкой юности—проповедь—католический священник: все это вздор! Оно вовсе не так было!.. Никакой католический священник не сказал мне ни слова и не имел на меня ни малейшего влияния!» И дальше он об'ясняет, что его обращение было результатом долгого процесса, начавшегося еще в детстве при виде неправды и насилия, царивших вокруг, и увлекшего его на Запад ложной надеждой на торжество освободительных идей.

В этом признании—ключ к решению Печеринской загадки, поскольку она вообще может быть решена. Дело в том, что в ней есть момент, по самому своему существу не поддающийся об'яснению: это—факт пробуждения в Печерине религиозного чувства. Искреннее обращение неверующего к вере—всегда чудо и, как чудо, непостижимо, равно для самого обращенного и для зрителей.

Но если цветок веры расцветает тайно, то почва, на которой он расцветает, доступна изучению, и наша обязанность—проследить то сложное духовное перерождение, последним актом которого явилось обращение Печерина.

Три основные черты характеризуют мировоззрение Печерина в тот момент, когда он решил навсегда оставить Россию: во-первых, страстная мечта о возрождении человечества для новой, свободной, прекрасной жизни и фанатическая ненависть ко всякому деспотизму, как главной помехе к осуществлению этого идеала; во-вторых, проистекающая отсюда глубокая ненависть к России; в третьих, непоколебимая вера в свое высокое предназначение, которая при таком направлении ума превращалась в уверенность, что ему, Печерину, суждено сыграть руководящую роль в великой борьбе, что именно он введет народы в царство свободы и красоты.

Все эти три черты явственно выступают уже в приведенном выше письме Печерина к Строгонову. Еще более ясное выражение нашли они в поэме Печерина «Торжество смерти», написанной, вероятно, в 1837 году [1]). Эта аллегорическая

---

[1]) Напечатана в упомянутом выше сборнике Огарева, стр. 308—331. Сам Огарев относит ее к 1837 или 1838 г., что, вероятно, и справедливо: указание некоторых рукописей, будто поэма написана «для февральского праздника

поэма, обнаруживающая местами сильный поэтический талант, в первой части изображает «разрушение древней столицы»—столицы «Поликрата Самосского»: мстя за столетние обиды, Немезида велит морским волнам затопить твердыню тирании, и столица исчезает под водою при хоре народов, славословящих Немезиду; ее приветствуют, между прочим, и «пять померкших звезд» (казненные декабристы). Вторая часть представляет апофеоз смерти: хор юных народов поет гимн ей, как богу свободы, движения, вечного преображения, а на «древних развалинах» стоит поэт, поющий свою предсмертную песнь; он поет о том, что «вся жизнь его—одно желанье, несбывшийся надежды сон», что в его груди давно рдеет светлая заря России; его кровь смоет ее грехи, его смерть—залог ее обновления; он умирает, но в урочный день, «в день славы», он прольется на Россию благодатной силой...

По этой бедной передаче читатель, конечно, не сумеет оценить того пламенного чувства, которым проникнута поэма Печерина,—жгучую боль за попранную свободу и достоинство человека, сладострастие мести, упоение собственной мукой. В итоге поэма выражает вполне определенную мысль и столь же определенное чувство: Печерин твердо верит, что деспотизм в мире должен рухнуть и уступить место свободе; Россия осуждена бесповоротно; свой долг в отношении к ней поэт видит в том, чтобы содействовать торжеству общечеловеческой идеи: только этим путем он может ускорить и обновление своей родины. Какова она сейчас—она должна сгинуть вся: вместе с Поликратом тонет, хотя и проклиная его, весь народ. Вот четверостишие, подлинник которого, относящийся,

---

1834 г.», приходится отвергнуть уже потому, что в то время, т.-е. в начале заграничной командировки, настроение Печерина, несомненно, не было таким, какое проникает поэму. Притом, в подстрочном примечании к последней Печерин говорит, что приводимую им здесь легенду о графине Турн ему рассказывал содержатель гостиницы в Тешене; но, уехав из Петербурга в июле 1833 года, Печерин никак не мог совершить поездки по Богемии ранее лета следующего или даже 1835 г.—Проф. Бобров (Литерат. и просвещ., IV, стр. 289) справедливо указывает, что в основании печеринской поэмы лежит довольно распространенное в 30-х годах предсказание, что Петербург будет когда-нибудь поглощен морем; укажем, что в том же сборнике Огарева помещено анонимное стихотворение на ту же тему—«Подводный город», стр. 224—226.

-без сомнения, к этому же времени, мы нашли среди бумаг Печерина:

Как сладостно отчизну ненавидеть!
И жадно ждать ее уничтоженья!
И в разрушении отчизны видеть
Всемирного денницу возрожденья!

В этих словах—резюме «Торжества смерти» и целое мировоззрение. Что̀ должен был пережить человек, чтобы быть в состоянии написать такие страшные четыре стиха! И что̀ должно было пережить поколение, из которого он вышел! В этих строках лежит ключ к пониманию целой полосы нашего умственного развития.

Тридцать лет спустя Печерин, обманутый кругом и уже не монах, а просто католический священник, тихо жил в Дублине при больнице, утешая страждущих, напутствуя умирающих и наполняя свой досуг чтением, изучением арабского языка, копированием еврейской Библии. Тогда снова вернулась к нему муза, подруга его юношеских лет. В немногих стихотворениях, написанных им тогда, он говорит все только о себе—о себе и о «незримой красоте», служению которой была посвящена его жизнь; и вот в одном из этих стихотворений он сам рассказал, какие замыслы одушевляли его в то время, когда он решал навсегда расстаться с Россией. Это стихотворение—итог всей жизни—озаглавлено: «Ирония судьбы», и помечено: Miltownpark, 29-го сентября 1868 г. [1]).

Не сбылися предсказанья
Лжепророков и друзей;
Рассыпались, как дым, мечтанья
Гордой юности моей.
Может быть, чего-то ждала
Русь святая от меня;
Над главой моей сияла
Вестница златого дня.

---

[1]) В 1885 году в библиотеку Моск. университета чрез русского генер. консула в Лондоне поступило несколько ящиков с книгами В. С. Печерина. Вместе с книгами получена была и папка, в которой оказалось несколько рукописных, доселе ненапечатанных стихотворений Печерина и разные другие бумаги, о которых речь будет ниже.

Но денницы блеск летучий
Всем надеждам изменил;
Мрак внезапный черной тучи
Светлый день мой затемнил.
Чья ж вина? Вина ль России?
Кто же станет мать винить!
Не хотел я гордой выи
Перед матерью склонить!
Нет! средь праздного покоя
Я не мог евнухом жить:
Мне хотелось под грозою
Новый след себе пробить.
«Вот он, рыцарь благородный!
Несравненный Дон-Кихот!
Он — поэт! он — вождь народный!
Он отечество спасет!
«Все венцы ему готовы
И науки, и любви.
О, гряди ж! и жизнью новой
Ветхий мир наш обнови!»
Мефистофель громким смехом
Оглашает свод небес:
«Рыцарь! верь своим доспехам!
Время настает чудес!
«Видишь? исполин ужасный!
Г него избавь ты свет.
Зазвучит из уст прекрасных
Сладостный тебе привет.
«Узников разбей оковы,
Правду всюду воцари.
Твердою рукой основы
Новых царствий положи!
«Ветхая система мира
Уж от дряхлости падет;
Вспрянь, поэт, и твоя лира
Новый мир для нас найдет!»

Это не поэтическая гипербола; мы видели, то же самое он писал Строгонову, извещая о своем решении остаться за границей: им владеет слепое, непоколебимое, фанатическое убеждение (он не писал—какое, но мы знаем это), и он носит в сердце глубокое пречувствие своей великой судьбы; настало время чудес, и чудо свершится чрез него,—тому залог семена великих идей, брошенные Провидением в его душу.

Эти великие идеи, действительно, были лучезарны и возвышенны. Их исходной точкой была торжественная вера в человека, в его божественную красоту и высокое призвание. В мире есть одно достойное внимания,—человек. Когда Печерину приходится говорить об археологии, он не в силах сдержать своего лиризма. Открывать в вещественных остатках древности следы древних идей—вот важная задача археологии, вот благородная цель, к которой она стремится. «Мы по какому-то невольному непобедимому влечению углубляемся в эти темные времена отдаленной древности: эти исследования имеют для нас особенную прелесть—почему? Потому, что на каждом шагу мы встречаем то, что всего более нас занимает—человека. И сие благородное стремление не есть тщеславное себялюбие, нет! Это—похвальная гордость ума, который жадно ищет самого себя в остатках угасших поколений и везде, где только возможно их проявление; который хочет воссоздать свои собственные летописи и доказать, что он постоянно пребыл верен себе самому и божеству, наложив-шему на него печать своего величия» [1]). Эти слова о божественной печати на челе человека Печерин повторяет спустя два года в письме к Строгонову. Никакая красота в мире не может насытить его души, кроме красоты человека, достойного этого имени; когда в Неаполе Солнце, указывая ему на царственную красу волн, призывает его воспеть величие естества, поэт отвечает:

Океан блестит от века
Тою же красой:
Скучно! дай мне человека
С бурною душой! [2])

---

[1]) Энциклопедич. словарь Плюшара, т. III, Спб., 1835 (ценз. ном. 1 дек. 1835 г.), стр. 251—255, ст. Археология за подписью: В. С. Печерин.

[2]) Отрывки из путешествий доктора Фуссгенгера, Моск. Набл., 1835 г., ч. V, стр. 362. Эта статья, подписанная инициалом П..., несомненно, принадлежит перу Печерина: в нее вставлены два стихотворения, принадлежащие ему, именно: 1) песня о графине Тури, перенесенная им потом в «Торжество смерти», и 2) «Римские вечера на Monte Pincio», подлинную рукопись которого мы нашли среди бумаг Печерина.

На этой почве сложилась жизненная мечта Печерина: это была мечта об осуществлении потенциальной красоты человека, о водворении на земле царства разума, справедливости, радости и изящества,—та самая мечта о «гармонии», которая во все времена жгла сердце художников и учителей человечества, то неутолимое «желание лучшего мира», о котором, вслед за Шиллером, пел Печерин уже в юношеские годы. Мы видели, что из этой всеобъемлющей идеи в уме Печерина рано выделилась и стала на первое место более узкая и более определенная мечта об освобождении человечества от деспотизма; но она никогда не застилала ему того юношеского идеала. Выходя на подвиг, он собирался не только разбить оковы узников, но и воцарить всюду правду, и еще много лет спустя он упорно свидетельствовал: «За небесные мечтания я земную жизнь отдал...»

VIII.

С такими-то мыслями и стремлениями явился Печерин в Западную Европу. Мы post factum заранее видим, что он был вдвойне обречен року за свое двойное безумие: он верил, что чудо близко и что оно свершится чрез него. Может быть, он и сам в глубине души предвидел это, и все-таки он пошел туда, куда посылал его «грозный голос его Бога», с полным сознанием, отрекшись от всего, за что так цепко держатся люди: от обеспеченного куска хлеба, определенного общественного положения, родины, родных и друзей. Его отец и мать были живы (они на много лет пережили и его переход в католичество), а он был их единственный сын.

Он кажется нам безумцем со своими двумя верами, но в ту эпоху на Западе было много таких, как он.

Это было удивительное время. Рационалистическая философия XVIII века разрушила все старые верования и об'явила абсурдом всякое метафизическое искание; но потребность обобщающего принципа не могла быть истреблена в людях, и когда рассеялся угар великой революции, мыслящая часть общества увидела себя в пустыне без вожатая. Глубокая меланхолия владела первыми поколениями XIX века;

они задыхались в атмосфере материалистических абстракций, лишенных об'единяющего начала и отрицавших права сердца; «что делать и что любить среди непостоянства принципов»— этот вопрос терзал лучшие умы. И вот постепенно обнаруживается глубокая реакция против философии просвещения, против критики в пользу догмата, против сенсуализма в пользу идеализма: приблизительно с 1820 года европейским обществом овладевает страстная жажда цельного идеалистического мировоззрения. А с этим течением, взаимно оплодотворяя друг друга, слилось другое, обусловленное естественным ходом социально-экономического развития,—возникновение социального вопроса. Эти два течения и определили характер эпохи: она стала эпохою веры и утопий. Что для нас особенно важно отметить, это—ее глубокоидеалистическое направление. То была заря европейского социализма, и здесь, в своей первой стадии, он выступал в неразрывной связи с высшими проблемами человеческого духа,—черта, уже совершенно чуждая научно-практическому социализму Прудона, Лассаля и Маркса. Таков был дух времени; вспомним, что в эту эпоху даже чисто-политические движения выступали под религиозным знаменем,—вспомним Маццини и «Молодую Италию» с их лозунгом: «Бог и народ».

История не знает другого периода, когда в столь короткий промежуток времени было бы создано такое большое количество столь универсальных и столь догматических учений и когда бы эти учения воспринимались с большим энтузиазмом и более слепой верою. Оуэном в Англии и Сен-Симоном во Франции начинается длинный ряд великих и малых идеологов, из которых каждый выступал с законченной системой, содержавшей категорические ответы на все жгучие вопросы— от религиозных до экономических, и все они имели задачей исцелить язвы человечества, все были твердо уверены, что наступил час, когда рай должен водвориться на земле. И так сильны были в обществе потребность веры и чувство уродливости социального строя, что, как бы наивна ни была утопия, она находила фанатических сторонников, энтузиазм которых нам кажется часто диким и непонятным, как бред умалишенного.

Печерин попал за границу в самый разгар этой идейной оргии. Несколько хронологических указаний могут дать представление о характере пятилетия 1836—1839 г.г. В 1832 году распалась сен-симоновская школа; на смену ей явился фурьеризм; в 1836 году его апостол, Консидеран, издал свою «Destinée sociale», и в этом же году начала выходить «La Phalange»; в 1838 году вышел «Essai sur l' Egalité» Пьера Леру, в 1840 году выйдет книга Кабэ, уже давно проповедывавшего свои «икарийские» идеи. В это же самое время энергично возобновляют свою деятельность коммунисты, широкой пропагандой возбуждающие восстание 1839 года, и в лице Луи Блана впервые формулирует свои требования социализм, вскоре находящий себе более мощного глашатая в Прудоне (Qu'est-ce que la Propriété 1840 г.). Всюду—и не в одной только Франции—сотни явных и тайных обществ готовились приступить к немедленному осуществлению, каждое своего евангелия; бесчисленные журналы, брошюры, летучие листки с пламенным энтузиазмом распространяли идеи социального обновления, и тысячи, может быть, десятки тысяч людей в экстазе протягивали руки навстречу восходящему солнцу всемирного равенства, свободы, благоденствия. И все эти реформаторы и их последователи были твердо убеждены в своей трезвости, в совершенной практичности и осуществимости своих утопий. Фурье до самой смерти (1837 г.) ежедневно в полдень ждал в своей квартире миллионера, который дал бы ему средства для осуществления его системы; Кабэ едет в Иллинойс устраивать икарийскую республику, фурьеристы создают фаланстер в Техасе, и т. п.

На этом фоне Печерин перестает казаться безумцем, каким он непременно должен был представляться своим русским знакомым, Погодину или Никитенке. Здесь таких, как он, было много,—веривших, что настало время чудес.

На первых порах это должно было окрылить его. В этой атмосфере, насыщенной утопическими идеями, его вера в близкое обновление жизни должна была превратиться в уверенность. То, о чем он только мечтал, здесь на всех перекрестках провозглашалось умнейшими, талантливейшими, лучшими людьми, как исторический закон, как неизбежная, без-

условно-осуществимая формула, и он воочию мог видеть, как люди переходят от мечтаний к делу, в подробностях обсуждают план новой веси и то там, то сям, под руководством все обдумавших зодчих, уже приступают к ее созиданию.

Естественно, что он должен был примкнуть к одной из групп, занятых этим делом, ибо как иначе мог он надеяться увидеть исполненной свою мечту о лучшем мире—он, бедный, одинокий и неизвестный? Мы видели, «его звезда вела его в Париж», в главную лабораторию утопических планов и предприятий, а И. С. Аксаков прямо говорит, что по от'езде за границу Печерин вначале «увлекся крайними теориями европейских революционеров» [1]); но мы должны были бы с уверенностью предположить это и без прямых свидетельств.

Вот отрывки из двух позднейших писем Печерина к Чижову [2]).

«Ты хорошо понимаешь, что не слепой случай, а определенная политическая цель привела меня в Лугано. Какая же цель? Для этого надобно возвратиться назад к концу 1833 года.

«До тех пор у меня не было никаких политических убеждений, да и никаких убеждений вообще. Был у меня какой-то пошленький либерализм, желание пошуметь немножко и потом, со временем, попасть в будущую палату депутатов конституционной России,—далее мысли мои не шли. В конце 1833 г. вышла в свет брошюрка Ламенне «Paroles d'un croyant», наделавшая тогда много шуму. Это было просто произведение сумасшедшего, но для меня она была откровением нового евангелия. «Вот», думал я, «вот она, та новая вера, которой суждено обновить дряхлую Европу! Эти великодушные рес-публиканцы, которых теперь влекут перед судилища новых Иродов и Пилатов, это те же святые мученики и апостолы первобытной церкви. Присоединиться к их доблестному сонму, разделять их труды и опасности и пожертвовать жизнию святому делу,—вот благородная, возвышенная цель».

---

[1]) Д е н ь, 1865 г., № 29.

[2]) «Русские Пропилеи», т. I, стр. 99—101.

Политика стала для меня религиею, и вот ее формула: «Аллах у Аллах! у Махомед росул Аллах!« Понимаешь? Это значит: республика есть республика, и Маццини ее пророк!

«Первое мое путешествие в Швейцарию и Италию (1833 г.) было чисто русское, то-есть без всякой разумной цели, так просто посмотреть да погулять... На следующий год я путешествовал один и уже с определенною целью сблизиться с республиканцами. Из этого тогда ничего не вышло, но намерение все же таки было. Я возвращался в Россию (1835 г.) как агнец, влекомый на заклание, с ужасною тоскою, с глубоким отчаянием, но вместе с тем с искреннею решимостью убежать при первом благоприятном случае. Я жил в Москве ужасным скрягою, часто отказывал себе в обеде и питался черным хлебом и оливами, для того чтобы накопить несколько денег. Ты думаешь, что я оставил Россию так просто, очертя голову, без всякого плана? Ты ошибаешься. Все было обдумано, взвешено и рассчитано до последней копейки»...

«По трем причинам мне невозможно было оставаться в России:

«1-ая Религия. Итти говеть по указу и причащаться Св. Таин без веры и с кощунством? До этого я не мог унизиться: мне это казалось первою подлостью и началом всех прочих подлостей. На первый год оно сошло бы с рук; но впоследствии мое отсутствие было бы замечено, и я был бы принужден подчиниться этому обряду.

«2-ая Профессорство. Профессорство в России невозможно, и я, правду сказать, никакого к нему призвания не имел. Может быть, в Петербурге я мог бы ужиться как-нибудь; но разгульная Москва с ее вечными обедами, пирушками, вечеринками и беспрестанною болтовнею, вовсе не шла к тому строгому и грустному настроению, с каким я возвращался из-за границы. Одна московская дама, с обыкновенною женскою проницательностью, заметила обо мне: Il a le mal du pays, что тогда значило: «у него тоска по заграница».

3-я Литература. В письме из России, один весьма почтенный господин писал ко мне: «Je ferai tout ce que dépendra de moi pour vous rendre à la carrière de belles lettres à laquelle vous pouvez

être utile». В этом-то я и сомневался. Я беспристрастно, аршином измерял свой талант до последнего вершка. Я очень хорошо понимал, что в тогдашней России, где невозможно было ни говорить, ни писать, ни мыслить, где даже высшего разряда умы чахли и неминуемо гибли под нестерпимым гнетом,—в тогдашней России, с моею долею способностей, я далеко бы не ушел. Я скоро бы исписался и сделался бы мелким пошленьким писателем со всеми его низкими слабостями,—а на это я никак согласиться не мог. По мне: aut Caesar, aut nihil,—или пан, или пропал.

«Но если пойти глубже, то может быть найдется другая основная причина, то-есть неодолимая страсть к кочевой, бродяжнической жизни.

«Как сын пустыни, я терпеть не мог оседлости. Усесться на профессорской кафедре, завестись хозяйством, жениться, быть коллежским советником и носить Анну на шее,—все это казалось мне в высшей степени комическим. Как Ленский в «Онегине», я тоже носил бы стеганый халат, и пр. и пр.

Но от этого именно позора я бежал за тридевять земель в тридесятое царство. Да и как еще бежал! Словно погоня была за мною; некогда было духу перевести. Я в первый раз свободно вздохнул, когда дилижанс высадил меня на площадь в Базеле 23 июня 1836 г.».

«Как подобало благочестивому республиканцу», первым делом Печерина по приезде в Швейцарию было итти на поклонение в Лагранж,—место, освященное воспоминаниями о Мадзини: там Мадзини несколько месяцев укрывался от французской полиции. «Об этом Лагранже я читал еще в Москве, в гамбургских газетах в швейцарской кондитерской, что близ университета, и как тогда уже душа рвалась к этой святыне!» [1]) Теперь он осмотрел эту святыню с благоговением,—и с детским любопытством, в простоте сердца, рас-

---

[1]) Там же, и далее.

спрашивал прислугу и хозяина гостиницы обо всем касающемся Мадзини. Он решил поселиться в Лугано. «Теперь понятно,—говорит он,—для чего я поселился в Лугано: Лугано был фокусом революции, сборным местом мадзинистов». Он прожил здесь в кругу итальянских выходцев до тех тор, пока у него вышли все деньги, накопленные в Москве; итальянцы собрали ему небольшую сумму на дорогу и отправили его в Цюрих, где можно было давать уроки. В Цюрихе он сошелся с Бернацким и другими «апостолами коммунизма», преимущественно поляками. Они так и рекомендовали себя: «мы на апостолув пошли», а он слушал их пустые речи, всматривался в их неприглядную, праздную и подчас распутную жизнь, и холод отчаяния сжимал его сердце: с этими-то людьми он мечтал освободить род людской!

В начале мая 1838 года, оставшись без копейки денег, Печерин заложил за 12 франков свой петербургский плащ и пешком двинулся во Францию: его звезда, как он уже раньше писал, вела его в Париж. Он шел бодро и весело. В пограничном Сор-Луи он отдал последние два франка за визу на паспорте,—но что из этого! он все еще был полон надежд. «Теперь я свободен и легок, как птица: ни копейки в кармане, ни облачка заботы на сердце! Ведь я во Франции! Будущее мне принадлежит, путеводная звезда сияет предо мной. Я не хуже Цезаря имею право веровать в свою фортуну. Итак, вперед!»—Но есть все-таки надо. На Печерине был щегольской сюртук, жилет и панталоны совершенно новые. И вот, в Альткирхе, на толкучем рынке, он обменял это платье на белую блузу, жилет и брюки того же материала, и получил в придачу 8 франков. Недалеко от Нанси его захватил дождь: в городе было шумно и весело по случаю ярмарки, играла музыка, у префекта был большой прием; усталый и продрогший стоял Печерин под деревом, укрываясь от дождя, возле под'езда, к которому беспрестанно под'езжали кареты; важные господа и прелестные дамы, выходя из карет, с недоумением оглядывали странника, и, как нарочно, слепой с шарманкой затянул какую-то жалобную песнь. Сердце сжалось у Печерина, слезы выступили на глазах. «Я ужасно как упал духом, чувствовал себя покинутым, забытым, без друзей и без

приюта; в голове был какой-то лихорадочный бред, я не умел связать двух мыслей, и припомнил стих Хомякова:

И сынов твоих покинет
Мысли светлой благодать...

А между тем, спасение было под рукой: у него лежало в кармане письмо гр. Строгонова, дававшее ему кредит на тысячу франков в любом русском посольстве. «Но даже и в эту страшную пору испытания ни на одну минуту, ни на одну секунду я не имел поползновения воспользоваться этим документом»: это значило бы вернуться в Россию.

В Нанси его привели к директору какого-то пансиона, этот добрый человек не мог дать ему места, но дал 3 франка и кое-что из своей одежды, а на другой день утром Печерин пустился по направлению к Мецу, где ему были обещаны уроки латинского и греческого языков. Ему пришлось ночевать в Понт-а-Муссон, но ни на ночлег, ни на еду не было денег; и то, и другое он добыл, выменяв свое и без того уже жалкое платье на какое-то отрепье, и в Мец пришел в изношенном черном фраке и мужицких разноцветно-заплатанных штанах. Но в Меце полиция не позволила ему остаться, и он двинулся в Бельгию, опять по пути то получая подаяния, то продавая свою одежду, пока добрался до Льежа. Здесь он в скорости устроился довольно сносно: переводил для какого-то англичанина-масона его проповеди на французский язык. Первые два франка, полученные им за эту работу, он употребил на покупку «Меморабилий» Ксенофонта,—на толкучем случайно попалась эта книга; этим чтением он хотел освежиться умственно после двухмесячной бродяжной жизни.

В Льеже Печерин прожил два года, и здесь же решилась его судьба. Он рассказывает, что, когда, изгнанный полицией из Меца, он решил итти в Брюссель, к Лелевелю, жившему там, ему на дороге встретился какой-то молодой человек в белой блузе; в разговоре тот об'яснил ему, что кратчайшая дорога в Брюссель—не здесь, а чрез Льеж. Печерин послушался,—так он попал в Льеж. «Клянусь Богом,—говорит он,—что я никогда не думал о Льеже, даже на карте его не замечал, и в голову он мне не приходил, и во сне не грезился, тем более,

что его у нас обыкновенно называли Люттихом. Это было для меня совершенно новое открытие. Кто же был этот молодой человек в белой блузе? Был ли он добрый или злой гений? Не знаю; но в том дело, что слова его поворотили поток моей жизни в новое русло и окончательно решили судьбу мою на веки-веков. Этот таинственный посланник, совершив свою роковую миссию, учтиво со мной раскланялся и исчез». В Льеже два года спустя совершилось обращение Печерина.

К какой революционной группе, или, что вероятнее, к каким группам попеременно, примкнул Печерин, какую роль играл он здесь и какие горькие уроки вынес из этого опыта, мы не знаем. Но наиболее существенные итоги нетрудно вывести à priori.

Это—прежде всего разочарование в скорой осуществимости идеала и сознание, что осуществить его теми средствами, к каким прибегали утописты, невозможно: громада оказывалась слишком косной, чтобы можно было передвинуть ее к высшей цели пламенными воззваниями, устройством фаланстера или даже революцией. Сюда присоединялось еще разочарование в самих учителях и апостолах обновления, в тех людях, с которыми он думал заодно потрудиться во славу своего Бога; их слабость, суетность, склонность к патетической фразе и местничеству должны были грубо оскорбить его,—не даром он под старость так презирал французский характер. Этого мало: обманута была еще другая мечта Печерина, и эта рана жгла, может быть, всего больнее. Он явился на Запад с непоколебимой верой в свое исключительное призвание: это о н должен был указать народам путь к всемирному счастию, и его ждала бессмертная слава в веках. Прошли четыре года—что же он видел теперь, оглядываясь на пройденный путь? Он не только не обновил мира и тем терял права на бессмертие, но он видел вокруг себя немалое число людей, в такой же мере, как он, считавших себя исключительно избранными на дело обновления жизни, так что оказывалось, что одни не желают признать его пророком потому, что равнодушны ко всяким вообще великим идеям, другие потому, что сами, подобно ему, чувствуют в себе семена великих идей, сознают себя пророками.

Положительный Чижов, посетивший Печерина в монастыре редемптористов в августе 1842 года, так, с его слов, но в отвратительном ироническом тоне, изображал итог его четырехлетней заграничной жизни до момента обращения в католичество [1]): «Обстоятельства и самолюбие воспитали в нем страсть к деятельности. За нею он бросался всюду, и, не справляясь с своими силами, поднимая на плечи тяжести, налагаемые не убеждением, а беспредельно высоким понятием о себе и низким—о людях, он падал под ними на каждом шагу. Разумеется, по общему порядку вещей, везде виноваты были люди: одни за то, что при его появлении не подняли знамя свободы и не провозгласили его своим диктатором, другие за то, что при первом его слове не сделали его представителем европейской учености и не разослали об'явления по всему миру, как о Пике Мирандолийском, а преспокойно заставили учить за ½ франка, и то снисходя к его бедности. Сквернавцы люди ценят только то, что приносит им существенную, нравственную или физическую пользу, и не верят на слово».

И вот он стоял среди чуждой ему жизни, как прежде, нищий, неизвестный и одинокий, и уже без тех надежд, которые одушевляли его в минуту расставания с Россией. При обычных условиях ему оставался теперь один выход: явно, или за ширмой науки, примириться с существующим строем жизни, как это сделало большинство его сверстников на Западе. Но мечта о «новом мире»—мы увидим это дальше—продолжала упорно владеть им; он вынес ее невредимой из кораблекрушения всех надежд, и теперь, как раньше, мог жить только в непрестанной борьбе за ее осуществление. Все испробованные оружия оказались непригодными для борьбы; в эту минуту его окликнула католическая церковь и протянула ему на победу с в о е оружие—крест.

И тут, по естественной последовательности чувств, он вдруг снова вспомнил о своей матери, вспомнил со страстной тоскою и болью. Он давно ничего не знал о ней. Жива ли она? и как она переносила все эти годы неизвестность о нем? —

---

[1]) Письмо к Никитенке от 29-го авг. 1842 г., Р у с. С т а р., 1899, XI, стр. 367.

ведь он был единственный сын. 10-го мая 1840 г. он из Парижа написал Чижову [1]).

«Дорогой Чижов! Я только что написал к моему двоюродному брату. Теперь пишу вам о том же деле.

«Я прошу у вас дружеской услуги, в которой вы наверное не откажете мне. Умоляю и заклинаю вас Богом дать мне весть о моих родителях, а главное—сообщить мне о здоровье моей матери, моей бедной матери, которою я так жестоко пожертвовал ради моих безрассудных мечтаний. Ответьте мне как можно скорее; ваш ответ будет иметь большое влияние на мои дальнейшие решения. Адрес, который я посылаю вам, совершенно надежен.

«Это письмо докажет вам, что я еще жив и чувствую себя довольно хорошо. Мое материальное положение изрядно; я живу уроками. Мои чувства к вам не изменились и никогда не изменятся. Выпив до дна чашу горьчайших разочарований и увидев пустоту и ничтожество всего, что раньше казалось мне великим и прекрасным, я образумился, и теперь моя душа жаждет покоя и уединения,—уединения ненарушимого и покоя вечного... «Иным обманутым существованием, говорит Бальзак, нужно небо или ад, разврат или уединение на вершине Гран-Бернара»... Разврат не подходит ни к моему темпераменту, ни к моим принципам. Итак, что же мне остается?

«Я уже стою на краю этой пучины поэзии и религии, куда раньше бросались все пылкие и обманутые души, которых мир не мог удовлетворить... Я с любопытством заглядываю в нее; оттуда веет на меня прохладою, таинственным ароматом, который меня опьяняет и вызывает в моих членах дрожь целомудренного сладострастия... Верьте мне, друг: только Бог и его бесконечная любовь может наполнить пустоту души, которая обманулась в самых дорогих своих стремлениях и которая, убедившись в бесплодности всех своих жертв, раздирается нестерпимым раскаянием... Да будет и вам дано понять когда-нибудь, как понял я, эту великую истину, и оце-

---

[1]) Как это, так и следующее письмо писаны по-французски.

нить мир и его утехи по достоинству, т.-е. как пустоту и ничтожество!

«Но прежде, чем кинуться вниз головою в эту бездонную пропасть, которая меня влечет и манит неотразимым очарованием, я хочу еще бросить взгляд на узы, которые должны были привязывать меня к этому миру и которые я порвал, как капризный ребенок ломает игрушку. Я хочу в последний раз проститься с этими любимыми узами, прежде чем за мною бесповоротно закроется дверь вечного уединения».

Во втором письме, от 26-го июня 1840 г., Печерин писал Чижову:

«Ты пишешь, что тон моего письма показался тебе странным. Мой друг, разве ты не знаешь, что в эти четыре года я прошел несравненно более основательную выучку, нежели какую можно получить в университетах, и под ферулой учителя несравненно более непреклонного и сурового, нежели ваши изящные профессора? И ты сам—разве не убедился в ничтожестве света, его отравленных наслаждений, его легкомысленных влюбленностей, его жалких лавров политических и литературных? Разве ты не разочаровался в науке? Разве она не осудила себя сама, обнаружив свою полную неспособность дать нам счастие и душевный мир? Верь мне, друг: в звуках органа, сопровождаемых церковным песнопением, в дыме ладана, поднимающемся к небу сквозь солнечный луч. в любой иконе Богоматери—больше истины, больше философии и поэзии, чем во всем этом хламе политических, философских и литературных систем, которые меняются теперь ежедневно, как картинки мод, и которые все неизменно в конце концов становятся смешными. История последних десяти лет дала нам важные и благотворные уроки. Люди и системы—все рушилось; самые громкие предприятия позорно обанкротились, и со всех четырех концов мира, мне кажется, слышен торжественный голос, который нам говорит: «Человек—ничто, только Бог велик!» И со всех концов земного шара несутся стоны, громко требующие сокровища, отнятого у людей, бесценного сокровища религии, которое обманщики, наряженные в тогу философов, пытались тайком похитить у страждущего человечества. Мы стоим на пороге великого по

ворота в общественном мнении. Его приближение чувствуется в самых легкомысленных произведениях литературы. Век становится серьезнее, вольтерианские шутки уже не имеют доступа в хорошее общество: они предоставлены старым провинциальным господам, кабакам и гауптвахтам. Да, близится час, когда церковь встанет победно над обломками мнимо-философских систем: мирские волны бессильно разобьются о камень Петра» [1]).

IX.

Тридцатые годы были эпохой блестящего возрождения католической церкви на Западе, внешнего и внутреннего. Этому возрождению способствовали разнообразные причины, но главною было то настроение умов, о котором мы говорили выше: та самая волна, которая выбросила на поверхность такое большое количество социальных утопий, подняла на небывалую высоту и старый католицизм. Люди алкали веры, притом такой, которая обещала бы обновление жизни: разве не таково учение Христа? А вместе с тем и самый католицизм обновился в духе времени. С одной стороны, он перешагнул пропасть, отделявшую его от образованного общества, во всеуслышание заявив страстный интерес к наиболее жизненным вопросам, какие волновали это общество, и взяв под свою защиту многие из его наиболее прогрессивных требований; он протягивал руку науке, он требовал свободы совести, слова, ассоциаций и преподавания, наконец, в лице Ламеннэ он освящал социализм,—и, о чем бы он ни говорил, его язык был светский и просвещенный, чуждый обскурантизма и схоластики. С другой стороны, он заявлял притязание уже не только на руководство одной специальной областью личной и общественной жизни: он властно требовал подчинения себе всей социальной жизни с ее жгучими вопросами и противоречиями, потому что только он из своего незыблемого, божественного принципа в состоянии решить эти вопросы и тем спасти человечество от конечной гибели.

Именно это всеоб'емлющее притязание, опиравшееся на

---

[1]) См. мою книгу: «Жизнь В. С. Печерина», М. 1910, стр. 148—150.

авторитет Христа и на тысячелетнее славное прошлое католицизма, составляло главную силу католической пропаганды; именно оно привело тогда в церковь столько искренних и образованных людей и собирало сливки парижского общества в две и три тысячи человек на проповеди Лакордера, Равиньона и Дюпанлу. Умный и просвещенный наблюдатель, Брольи, так об'яснял поразительный успех проповедей, которые читал Лакордер в 1835 году в Nôtre-Dame: «Французы пользовались полною свободой и полным покоем, а (между тем) чувствовалась тревога за собственные интересы, воображение было болезненно настроено. Благородные инстинкты, стремления к бесконечности, от которых не может освободиться ни одна человеческая душа, не знали, на что опереться при разложении общественных верований. Именно эти чувства привлекли к подножию кафедры, с которой говорил Лакордер, большую часть приходивших его слушать и поднимавших на него свои глаза с смутной надеждой облегчения. Этот священник был сын нового века, и он по общему впечатлению еще любил этот век. Он разделял иллюзии времени, поймет ли он его страдания? Сумеет ли он назвать, сумеет ли он излечить неизвестное зло? Лакордер думал, что он может, и хотел сделать попытку; в этом была сила и привлекательность его проповедей. В его глазах болезнь имела свое имя и свою причину, которую он определял в двух словах: старое общество погибло, так как оно изгнало Бога; новое страдает, так как Бог недостаточно вошел в него. Средство одно—ввести Бога в это новое общество» [1]).

Этот самый Лакордер, ставший одним из столпов правоверного католицизма, в молодости был адвокатом и держался тогда вполне рационалистических идей; позднее он сам свидетельствовал, что был приведен к вере своими общественными убеждениями: он сознал, что только христианская религия может привести общество к совершенству. Драгоценное для нас показание: вот мост, которым католицизм соединялся с социальными утопиями эпохи, по которому прошли в церковь Бюшэ и столько других провозвестников социаль-

---

[1]) Цитир. по: С. Котляревский. Ламеннэ, М., 1904, стр. 364

ного обновления. Церковь у выхода встречала каждого отчаявшегося мечтателя и говорила ему: твоя м е ч т а о лучшем мире—мое д е л о; ты убедился, что человеческими средствами ее осуществить невозможно, я же обладаю небесным оружием; войди и попробуй! И они входили толпами, так что, например, о сен-симонизме Свечина справедливо могла сказать, что он стал как бы резервуаром, откуда Господь берет своих избранников.

X.

Подобно многим другим, и наш Печерин предался церкви не потому, чтобы охладел к своей мечте о возрождении человечества, но именно в надежде з д е с ь найти верные средства для достижения этой цели. Что такова была мысль Печерина, этому порукой его собственное признание. Вот стихотворение «Мечта юноши», написанное им в Дублине 10-го октября 1864 года и сохранившееся в рукописи среди его бумаг:

Снова слышу — голос милый
Песнь знакомую поет,
И, как Лазарь из могилы,
Тень минувшего встает.
Прояснися, прояснися,
Сумрак ранних детских дней,
Из-за тучи улыбнися,
Солнце юности моей!
После долгих треволнений
Вижу снова брег родной,
И толпа святых видений
Вновь мелькает предо мной [1]).

---

[1]) В черновой рукописи:

И встают святые тени,
И манят меня рукой.

За этой строфой в черновой рукописи следовало:

Ах! не воскресить былого!
Мать моя во гробе спит;
Но вокруг чела святого
Луч бессмертия горит.

Чудная звезда светила
Мне сквозь утренний туман;
Смело я поднял ветрило
И пустился в океан.
Солнце в море погружалось,
Вслед за солнцем я летел:
Там надежд моих, казалось,
Был таинственный предел.
«Запад! запад величавый!
Запад золотом горит!
Там венки вьются славы!
Доблесть, правда там блестит!
«Мрак и свет, как исполины,
Там ведут кровавый бой:
Дремлют и твои судьбины
В этой битве роковой.
«В броне веры, воин смелый,
Адамантовым щитом
Отразишь ты вражьи стрелы,
Слова поразишь мечом.
«Вот блестит хоругвь свободы —
И князья бегут, бегут;
И при звуке труб народы
Песнь победную поют.
«Пали древние оковы!
Кончилась навек война!
Узами любви Христовой
Заковались племена!
«Ныне правдой озарится
Наш Ерусалим святой,
Вечным браком с'единится
Небо с новою землей.
«Духов тьмы исчезнет сила
И взойдет на небеса
Трисиянное светило —
Доблесть, истина, краса!»

Вот о чем мечтал он: стать в ряды воинов Христа. И разве его идеал не был тот же, который выражен в Евангелии? А церковь представилась ему воинством, ратующим за осуществление этого идеала. Быть может, она представлялась ему теперь, после его печального опыта в революционных кружках и после наблюдений над политическим бытом родины, да и всей Европы, даже вообще единственной в мире

могучей организацией духовных сил против столькиx организованных твердынь материальной силы. И такой естественно могла казаться ему в особенности католическая церковь с ее властною требовательностью в отношении светской власти и с безусловной законченностью ее догмы.

А главный соблазн заключался в броне веры, в ее адамантовом щите. Здесь повторялась старая история: идеал, имеющий своим об'ектом мир, обязывает лично, притом в точной мере своей возвышенности, и от этого кредитора человеку некуда бежать. Эти люди, твердо верившие, что в их сознании зачато будущее человечества, сами были детьми прошлого, косность которого они были не властны вытравить из своих нервов и мускулов. Наступала минута, когда этот разлад доходил до сознания, когда человек должен был спросить себя: я владею едино-спасающей истиной,— отчего же нет во мне покоя и радости? И этот вопрос естественно связывался с ничтожностью достигнутых во-вне результатов. Тогда начинался мучительный и глубоко-обидный самоанализ. Стремление доставить торжество своей идее, страстная жажда душевного покоя и необходимость сделать самого себя достойным уважения в собственных глазах—все это сбивалось в один клубок и все в конце концов заострялось в одно чувство—в потребность самоочищения: убить в себе ветхого человека, достигнуть того, чтобы каждое мое чувство, каждая мысль и действие были точной манифестацией моей веры. А это значило отречься от своей воли; надо было поставить себя в такое положение, где бы собственная личность была безвозвратно закрепощена единой идее, надо было смириться перед последней до полного самозабвения, до уничтожения. Теперь главным грехом представлялась та своекорыстная гордыня в стремлении к истине, которая доныне являлась основным стимулом. Я старался воздвигнуть храм не ради Бога, а ради славы моего имени, и я смел думать, что достаточно силен для этого,—вот мой тяжкий грех и причина моей неудачи.

Так, повидимому, думал Печерин. На увещания друзей расторгнуть цепи, которыми опутал его хитрый католицизм,

он отвечал: «Я принес в жертву Богу самое дорогое свое сокровище—волю» [1]). Когда Чижов посетил его в монастыре, Печерин упрекал его и других своих товарищей за то, что они потворствовали его самолюбию, внушая ему слишком высокое мнение о его дарованиях [2]). Тот же Чижов, навестив Печерина в монастыре через год, так спустя два дня описывал его положение в письме к Никитенке, прибавляя, что все это ему рассказывал сам Печерин, разумеется, в другом освещении [3]): «Монахи поняли его превосходно; они говорят ему: не думай найти здесь отдых; каждая минута наша посвящена на служение Богу; Он предписывает нам пути деятельности, и каждый шаг наш есть шаг человечества.—Ему только того и надобно. Но, говорят они, испытал ли ты себя, достанет ли у тебя сил исполнить высокое назначение? И вот пища самолюбию и надменности. Испытай себя, тебе год на испытание. Оно состоит в безусловной покорности души и тела; каждую неделю должен ты отдавать отчет и в твоих действиях, и в твоих помышлениях; всегда неожиданно один из братий имет право спросить тебя о твоих мыслях и чувствах. К этому присоедините строгое ведение и наблюдение в пище, питии и всех мелочах жизни. Конечно, уму его дано обширное поприще науки, именно его лингвистике; лишь только он вздумает зайти далее, монах улыбнется и говорит: этого мы не ожидаем, нет, для нашего высокого назначения мало детских сил человеческих. Чувствам дана полная свобода. Воле ни одного шагу, ни полшагу, а он только того и желал».

Да, он нашел здесь, чего искал; а искал он не новой правды, а только новой и, как ему казалось, наиболее действительной формы служения своему старому идеалу, и эта форма заключалась в самоотречении. Он возложил на свои плечи тяжелый крест католического монашества и пошел, в надежде, что этим крестом ему будет всего легче поражать духов тьмы. Оправдалась ли жертва, или самое бремя оказалось так тяжко, что на несение его ушли все силы и уже ничего не осталось на борьбу?

---

[1]) И. С. Аксаков, День, 1865 г., № 29.

[2]) Из письма Чижова к Никитенке, Никит., I, стр. 422 (8 окт. 1841 г.).

[3]) Русск. Стар., 1899, XI, стр. 367.

XI.

Очевидно, что простой переход в католичество не имел бы смысла для Печерина: он должен был сразу стать в ряды активного воинства Христова, т.-е. той группы верующих, где служение Богу в обоих смыслах—личной чистоты и воздействия на мир—являлось исключительным занятием человека и вместе делом организации. Он и стал монахом ордена проповедников.

Орден редемптористов или лигворийцев (Congregatio Sanctissimi Nostri Redemptoris, т.-е. конгрегация Искупителя), куда вступил Печерин, был основан в 1732 году Альфонсом де Лигвори, жизнь которого историки католической церкви характеризуют тремя чертами: чрезвычайной строгостью личного аскетизма, пламенным усердием к просвещению светом евангелия низших слоев населения, и усердной пропагандой догматов непорочного зачатия и папской непогрешимости [1]). Эти же три черты характеризуют и основанный им орден, целью которого является прежде всего систематическое миссионерство на месте; по безусловной ортодоксальности он не уступает иезуитскому ордену, а по суровости аскетического режима далеко превосходит его. В первоначальном лигворианском уставе самообуздание и «мортификация» были доведены до крайних пределов: монахам предписывалось спать на соломе, питаться лишь черствым хлебом, плодами и сильно наперченной похлебкой и вкушать пищу коленопреклоненно, трижды в день совершать богослужение, ночью покидать ложе для молитвы, трижды в неделю бичевать себя и проповедывать только среди беднейшего люда и подонков общества. Позднее эти предписания, правда, были смягчены, но незначительно. По уставу, по форме одежды и ультра-ортодоксальному характеру этот доныне процветающий орден [2]) настолько сходен с иезуитским, что их много-

---

[1]) См., напр., ст. Zöckler'a в Realencykl. f. prot. Theologie und Kirche, Herzog'a. 3-е изд., 1902, Heft 107—108.

[2]) Он насчитывает сейчас до 150 монастырей во всех частях света, ibid. 501.

кратно смешивают; подобно иезуитам, редемпторист, сверх трех обычных монашеских обетов—бедности, целомудрия и послушания—дает еще и четвертый, в силу которого он может принять какое-либо духовное звание вне ордена или вовсе выступить из ордена не иначе, как с разрешения папы. Но по направлению своей деятельности оба ордена значительно разнятся между собою: в то время как внимание иезуитов направлено преимущественно на высокую постановку научно и учебно-богословского дела и на пропаганду среди наиболее влиятельных слоев общества, деятельность редемптористов носит резко выраженный практический и демократический характер. Враждебные редемптористам протестантские богословы доныне цитируют замечание одного современника св. Альфонса де Лигвори о нем: «другие миссионерства осаждают, он берет штурмом»; это достаточно определяет характер редемптористской проповеди, рассчитанной на чувство, стремящейся убедить не доводами и цитатами, а гипнозом страстного убеждения, которое одушевляет самого проповедника. Что Печерин вступил именно в этот, а не в другой какой-нибудь монашеский орден, это могло быть до известной степени случайностью; но несомненно, что условия, которые он встретил здесь, как нельзя более соответствовали его требованиям.

И он надолго нашел здесь мир и удовлетворение. Все, кто в это время знал его или мог слышать о нем,—Чижов, Катков, Аксаков,—свидетельствуют, что он с жаром отдался своему новому призванию; а в 1842 году Чижов нашел, что он очень и очень доволен своим положением. Но тот же Чижов с негодованием отзывался о нравственном упадке, в котором застал Печерина: «он принял не только идеи своего звания, но и все предрассудки его» [1]); Печерин «не христиански» говорил, когда разговор касался образованности России и форм православной веры, хотя и сходился с Чижовым в религиозных понятиях [2]). Летом 1844 г. Чижов опять виделся с Печериным и писал об этом свидании Никитенке

---

[1]) 1841 г., Никитенко, I, 422.

[2]) Русск. Стар., 1899, XI, 368.

следующее (из Венеции, 9-го сент. 1844 г.): «В нынешнюю поездку мою на север я был у Печерина, провел день тихо, спокойно и ладно. Он сблизился с своим бытием; в сближении его я больше вижу, что он нашел приют огромному самолюбию, нежели точно покорился сердцем и умом религии. Религия для него пристань, а раз ее нашедши, нашедши после долгих бедствий и терзаний, с нею уже трудно расстаться... Жаль мне, что у Печерина почти не осталось воспоминаний о прошедшей жизни сердца, но винить его не смею; может быть, ни с его стороны, ни с нашей не было никакого истинно-сердечного соединения, все было может быть, условное, все и уничтожилось с оставлением условий. Наш разговор ограничивался тем, что наиболее занимало нас обоих, именно религиею и ее формами, с полным соблюдением внешних форм, налагаемых образованностью, и с полным спокойствием, купленным цепою истинного убеждения» [1]).

Надев рясу 15-го октября 1840 года в монастыре Saint-Trond, Печерин здесь же прошел монашеский искус и здесь же год спустя, 26-го сентября 1841 г., принял пострижение; на следующий день он прибыл в редемптористский монастырь в Wittem (Голландия) [2]),—зачем, мы не знаем. Отсюда опять спустя год, 16-го октября 1842 года, он отправился в Льеж для получения богословской подготовки (pour faire ses études dogmatiques) и здесь же 10-го сентября 1843 года был рукоположен во священники тирским архиепископом монсиньором д'Аржанто. Спустя два дня, 12-го сентября, он прибыл обратно в Виттем, где провел затем опять ровно год, состоя преподавателем в миссионерской школе монастыря. Точная хронологическая правильность всех этих передвижений заставляет думать, что все они предписывались уставом ордена, составляя в совокупности миссионерский стаж. Теперь стаж был, очевидно, кончен: отныне начинается регулярная деятельность Печерина, как проповедника. 10-го сентября 1844 года он отправился в Брюгге, где в то время существовал небольшой редемптористский hospice, отсюда

---

1) Русск. Стар., 1904, IX, 681.

2) А не «св. Витта», как ошибочно сказано у Никитенки.

спустя некоторое время—в Falmouth, в Англии, и в 1848 году, по упразднении здешнего монастыря,—во вновь основанный редемптористский монастырь в Clapham в Лондоне [1]). Здесь-то. в Клапаме, и виделся с ним Герцен, оставивший подробный рассказ об этом свидании. Печерин тогда едва перешагнул за половину своей жизни. Ему суждена была долгая, слишком долгая жизнь.

До нас дошло письмо Печерина из Фальмута, от 29-го мая 1845 г., к его двоюродному брату, капитану гвардии Ф. Ф. Печерину; оно хорошо рисует его настроение в те первые годы его монашества.

«Любезнейший брат, Федор Федорович,—пишет он.—Письмо твое весьма меня обрадовало: не получая так долго известия от тебя, я недоумевал, чему приписать твое молчание. Я очень рад, что ты с удовольствием вспоминаешь о Виттеме и что ты носишь медальку. Не забудь слов, написанных вокруг этой медальки: «Marie conçue sans peché, priez pour nous». Дай Бог, чтобы воспоминание о Виттеме сохранилось навсегда в твоей памяти [2]). Кто хоть раз видел воочию счастие жизни мирной и братской, у того остается неизгладимое воспоминание, и в дни невзгоды это воспоминание ободряет и утешает нас. Виттем—излюбленная обитель всех наших братьев: это наша родоначальная обитель, здесь мы заканчиваем наше религиозное воспитание, и отсюда же мы направляемся в Англию и Америку бороться во имя Господне и проповедывать божественное слово всем народам мира. Твой парижский посох я оставил в Виттеме, и хорошо сделал [3]). Я наверное потерял бы его, таская с собою в дилижансах или по железной дороге; а теперь он сохраняется в Виттеме, как драгоценная реликвия; он будет переходить от поколения к поколению и его будут показывать юным монахам, как память о русском офицере, прожившем несколько дней

---

1) Эти сведения с чрезвычайной любезностью сообщены нам настоятелем редемптористского монастыря в Виттеме, R. P. J. L. Jansen'ом.

2) Дальше в подлиннике по-французски.

3) Последняя фраза по-русски; дальше опять по-французски до «При от'езде».

в Виттемской обители. При отъезде моем из Виттема меня снабдили бельем и всем нужным. Хотя правила наши насчет собственности остаются неизменными здесь, однакоже мы имеем позволение располагать мелочами [1]): мы можем иметь некоторые небольшие вещи для собственного употребления, тем более, что иной раз нам приходится по-одиночке ездить довольно далеко. Вот распределение нашего дня в течение недели: мы встаем в половине пятого и после получасового размышления служим заутреню, потом занимаемся богословскими предметами, приготовляем свои проповеди, навещаем больных, обучаем детей катехизису, а в половине десятого раздается последний удар колокола, и все ложатся спать, каждый со своим крестом в руках. По воскресеньям в 10½ час. справляется торжественная месса с музыкой и произносится проповедь на евангельский текст; днем, в 3 ч.,—снова проповедь, потом молебствие Св. Деве и благословение, затем служба и прочие занятия, как в будни. Так жизнь течет и приближается к гробу. В мае наша небольшая церковь была вся полна цветов; ты верно знаешь, что этот месяц во всех католических странах посвящен Св. Деве Марии. Надо видеть, как справляется май в Виттеме: всюду цветы, музыка и песнопения не умолкая звучат в честь Марии. Источник всего этого—таинство любви, которое лежит в основе католической религии и которое чуждо остальным христианским исповеданиям. Любить и страдать—вот наш девиз, вот сокровище, которого никакая власть в мире не может отнять у нас. Страдать или умереть, сказала св. Тереза. Страдать и не умереть, сказала Мария Магдалина. Христос, страдающий на кресте, и сердце Его Божественной Матери, пронзенное мечом скорби,—такова сущность нашей веры; а на практике все это сводится к тому, чтобы любить своих братьев и отдавать свою жизнь за их вечное спасение».

Странно сказать: он тешится, он детски радуется подробностям своего нового быта. Должно быть, сладко ему было уйти от буйного и шумного мира в эту тихую обитель, и уйти с чувством законности...

---

[1]) Отсюда опять по-французски до конца.

Приведенное сейчас письмо имело свою историю, которую стоит рассказать. Оно послужило семенем, которое, пав на русскую почву, дало пышный полицейский плод; этот «плод» теперь хранится в архиве III отделения в виде обширного дела № 127 за 1845 год «по частному сведению об оставшемся за границею и поступившем в католический монастырь дворянине Печерине». «Частными сведениями» и являлось это письмо, перехваченное на почте.

Лишь только письмо было прочитано и установлена его преступность, из III отделения посыпались во все стороны запросы, имевшие целью установить личность как писавшего, так и адресата, Ф. Ф. Печерина. По поручению А. Ф. Орлова Дубельт за этими справками обращается почему-то к вице-директору Комиссариатского департамента Никифорову, запрашивают ген.-лейт. Полозова и т. п. Постепенно выяснились и полная невинность Ф. Ф. Печерина, и давно забытая история не вернувшегося из командировки и за то исключенного со службы по Московскому университету В. С. Печерина. И вот 21-го июня (этого же 1845 г.) из III отделения канцлеру Нессельроде предписано было поручить нашим посольствам в Германии и Англии собрать подробные сведения о Печерине: что именно было причиною невозвращения его в отечество, перемены им веры и поступления в монастырь в Виттеме, и какая его цель и занятия при настоящем путешествии в Англию; а тем временем по приказанию царя, которому Орлов доложил это дело, началась бесконечная переписка со всевозможными ведомствами по вопросу о том, почему с Печериным в свое время не было поступлено по законам. Наконец в августе начали поступать справки из-за границы, одна фантастичнее другой. Русский консул в Антверпене сообщал, что Печерин уехал в Америку, посланник при германском союзе—что он находится в Люттихе, в иезуитском монастыре. «Касательно же причин, побудивших его переменить веру и не возвратиться в отечество,—писал этот русский посланник (д. т. с. Убри),—я только (!) узнал, что в бытность его в Англии (!) он имел тесную связь с тамошнею женщиною, и весьма может быть, что дальнейшие его действия были последствием сей связи и расстройства, которое она произвела в его духе, осо-

венно если он заметил, что особа, пленившая его, не заслуживала его уважения».—Привожу эту выписку с целью сохранить от забвения редкий образчик русского казенного остромыслия. Мюнхенский посланник сообщал ближе к истине: причиною перехода Печерина в католичество было, как утверждают, оскорбленное самолюбие при первом его возвращении в Москву и присмотр за его лекциями и за ним самим.

Сношения между ведомствами и вообще канцелярская волокита по этому делу продолжались целых три года. Дело рассматривалось и в Государственном Совете, и в Сенате. По предписанию последнего Печерину учинен был формальный вызов, о результатах которого мы узнаем следующее: русский генеральный консул в Великобритании имел с Печериным в Фальмуте свидание, но на все его увещания вернуться в отечество Печерин отвечал только: «Вы видите мою одежду, вот единственный ответ, какой я могу дать вам», и после того Печерин принес управляющему консульством письменный ответ, в котором об'являл, что он решительно намерен не возвращаться в Россию и сим отказывается от всех прав и преимуществ, присвоенных русским подданным. Этот ответ был подписан так: Владимир Печерин, священник Братства Святого Искупителя.

17-го февраля 1848 г. состоялось постановление Сената: признавая кандидата философии Владимира Печерина виновным: 1) в недозволенном оставлении отечества и неявке в Россию по вызову правительства, и 2) в отступлении от православного исповедания в римско-католическое, лишить его всех прав состояния и счесть навсегда изгнанным из отечества. Об этом решении Печерин должен был быть уведомлен чрез русское Министерство Иностранных дел.

Таким образом путь на родину был и формально отрезан. Но для Печерина это уже не имело значения.

XII.

Печерин пробыл редемптористом почти 23 года. Как он жил все это время? Вот неизменное распределение дня, существовавшее уже тогда и существующее поныне во всех редем-

птористских монастырях [1]). В 4½ часа утра встают; в 5—получасовое размышление о религиозных истинах; в 5½—месса и вслед за нею молебствие; потом богословские занятия или работа в церкви по удовлетворению нужд верующих (исповедь и пр.); в 11 час. несколько раз в неделю совместное обсуждение «научных» вопросов (догма, Св. Писание, мораль); в 11¾ час. литания в честь Пресвятой Девы и затем получасовая проверка своей совести; в 12—обед, сопровождаемый душеполезным чтением; с 12½ до 1½—рекреация, когда все монахи собираются вместе; с 1½ час. богословские занятия, молитва или работа в церкви, смотря по обстоятельствам; в 3 час. духовное чтение или собеседование; в 3½ получасовое размышление о христианских добродетелях, затем служба в оратории (псалмы и антифоны); около 7 час. получасовое размышление о страстях Господних; в 7½ час. ужин, сопровождаемый чтением; каждый в отдельности читает про себя так называемый розарий (четки) Девы Марии (Отче наш—5 раз, Ave Maria—50 раз), после чего несколько минут проводит перед Св. Дарами; в 9 час. вечерняя молитва, в 9½ сон. Сюда надо прибавить многократные посты и обязательные дни уединения.

Таков был образ жизни Печерина в те дни, которые он проводил в монастыре. Но таких, сравнительно досужных дней у редемптористского монаха не много; его главное назначение то, что в первой линии требуется от него уставом,—миссионерство, и оно наполняет его жизнь неустанной и чрезвычайно напряженной работой. Дело религиозной пропаганды ведется редемптористами по своеобразной системе, во всех подробностях установленной самим основателем ордена. Так как их обязанность—просвещать светом евангелия преимущественно беднейшую и наиболее невежественную часть населения, то для «миссий» выбираются обыкновенно глухие деревни или рабочие кварталы в больших городах. В избранное место вдруг является несколько редемптористов, которые, с разрешения местного духовенства, открывают в местной церкви серию проповедей. Миссия, продолжающаяся очень

---

[1]) По сообщению J. L. Jansen'a.

короткое время, ведется по строго-обдуманному плану, напоминающему план военной кампании [1]). Весь ряд проповедей представляет собою одно целое, последовательно развертывающееся, как фронт атакующего войска. Проповедник говорит о грехе, о смерти, о страшном суде, об аде, о вечности, затем переходит к вопросам нравственности и особенно останавливается на тех грехах, которые Альфонс де Лигвори назвал четырьмя воротами ада: на сребролюбии, безверии, злобе и разврате; последние две проповеди посвящаются Пресвятой Деве и значению молитвы. Во всех этих проповедях редемптористь должен избегать всяких богословских мудрствований и всякого слова, превышающего понимание простолюдина; он должен давать чистое евангельское учение, план его речи должен быть несложен, фразы коротки и легко усвояемы памятью, язык прост, силен и полон огня. Он должен обращаться к чувству слушателей и, главным образом, играть на двух наиболее чувствительных струнах человеческого сердца—надежде и страхе: надо непрерывно, говорил св. Альфонс, перебрасывать грешную душу из страха в надежду и обратно. Мало того: для вящего действия на воображение массы проповедь редемптористa сопровождается театральными эффектами, предназначенными внезапно вызывать у присутствующих общий крик ужаса или слезы раскаяния. Проповедник вдруг среди проповеди велит молящимся пасть на колени и просить прощения у Христа, или заставляет их пасть к ногам Девы Марии, или увлекает их в крестный ход, или прерывает проповедь призывом к общей молитве. И так изо дня в день пламенной проповедью и потрясающими сценами он постепенно доводит паству до раскаяния.

Но одной проповедью дело не ограничивается. Ежедневно в определенный час совершается служба, во время которой народ молится весь громогласно. Эта молитва должна увлечь равнодушных, так, чтобы ничьи уста не оставались безмолвными. Вместе с тем миссионеры открывают в церкви на эти дни своего рода курс катехизиса, по чрезвычайной удобопо-

---

[1]) См. R. P. Desurmont (редемптористь). Le R. P. Joseph Passerat et sous sa conduite les Rédemptoristes pendant les guerres de l'Empire. Paris, 1893, гл. V, стр. 64—85.

нятности доступный и грубейшим умам. Здесь первое место занимает раз'яснение важности исповеди, потому что прямая и главнейшая цель миссии заключается в том, чтобы довести возможно большее число грешников до исповеди. Выслушиванием многочисленных исповедей и увенчивается дело миссии. Способ обращения миссионера с кающимся грешником также во всех подробностях установлен св. Альфонсом: неумолимо стращать и во-время обнадеживать—таковы главные приемы этой «духовной хирургии». Миссия заканчивается несколькими днями, посвящаемыми созерцанию; в это время миссионеры раз'ясняют народу значение безгласной молитвы, внедряют в него любовь к Христу и учат его созерцанию. Если удастся, они стараются организовать на месте благочестивое сообщество верующих. Наконец для закрепления благих результатов миссии на следующий год после нее в то же место обязательно присылается, хотя уже в меньшем числе и на более короткий срок, несколько миссионеров, которые снова проповедуют и исповедуют кающихся; после этого миссия считается законченной.

Этой деятельности Печерин отдал около двадцати лет жизни. Главной ареною его миссионерства были, как уже сказано, Англия и Ирландия. Он работал сначала на самом юге Англии, в Девоншире, затем в Лондоне, отсюда он в 1851 году вместе с несколькими другими монахами был послан в Лимерик на первую редемптористскую миссию в Ирландии (она была проведена в церкви св. Иоанна). Судя по его письмам к Герцену 1853 г., он в ближайшие годы еще не раз ездил в Ирландию; из тех же писем видно, что весною 1853 года он, между прочим, провел миссию на о. Гернсее. Наконец около 1854 года он совсем перебрался в Лимерик, в первую редемптористскую обитель в Ирландии—монастырь Mount St. Alphonsus.

Отцы-редемптористы из Виттема, Клапама и Лимерика, которым мы обязаны этими сведениями, единогласно признают Печерина одним из замечательнейших своих деятелей как по святости жизни, так и по блестящему ораторскому дарованию. Ввиду строгости их устава, особенно в то время, он должен был, говорят они, мыслить и жить как добрый католик, «с желанием совершенствоваться в практике добро-

детелей» и в соблюдении обетов бедности, целомудрия и послушания, иначе он не был бы допущен к принятию монашеского сана, тем меньше—к миссионерской деятельности. По их словам, в 50-х и 60-х годах он считался величайшим ирландским проповедником, и доныне еще его помнят и духовенство, и народ ирландский. Его имя было известно во всей стране; он любил ирландцев, и ирландцы отвечали ему любовью. Следует прибавить, что несколько его проповедей сохранилось, попав со столбцов газет в сборник проповедей The catholic pulpit; к сожалению, нам не удалось достать этой книги. Это были проповеди, произнесенные им в Лондоне: 1) о ненависти, 2) о Рождественском посте, 3) о смертном грехе и 4) в день св. Патрика (1849 г.). «Впрочем,—пишет настоятель St. Alphonsus в Лимерике,—они были в общем весьма неточно записаны необразованными репортерами и совсем не походили на живую речь. Вдобавок я часто слышал, что поразительное действие его слов можно было приписать больше святости его жизни, нежели его красноречию».

Его жизнь в Англии и Ирландии была, конечно, бедна событиями: «она вся прошла в неустанном труде на церковной кафедре и в исповедальне». Только однажды ее мирный ход был резко нарушен: в 1855 году он был обвинен в публичном сожжении протестантской библии.

XIII.

Это дело заслуживает того, чтобы рассказать о нем подробно. Герцен в своей статье о Печерине упомянул и об этом процессе, выставив поступок Печерина, как акт крайнего изуверства. Тем важнее выяснить правду. Апостол духа, каким мы знаем Печерина,—ужели мог он, хотя бы в минутном порыве, стать фанатиком буквы? Но этого не было: показание Герцена может быть опровергнуто документально.

Перед нами небольшая книжка в 16-ю долю, изданная в 1856 году в Дублине и озаглавленная так: «**The trial of the Rev. Vladimir Petcherine (Redemptorist Father), in the Court-House, green street, Dublin, on 7-th & 8-th December, 1855, for the alledged offence of «Bible Burning at Kingstown»**. Это—стенографический отчет судебного заседания, в котором разби-

ралось дело Печерина; он издан (как видно по приложенному в конце его «Description of the Order of the Redemptoriste Fathers») редемптористами, которыми руководило, очевидно, понятное стремление реабилитировать в глазах общества орден, опороченный преданием суду одного из его членов. Кроме этого отчета, я пользуюсь в дальнейшем изложении подлинным текстом речи, произнесенной на суде защитником Печерина, О'Хэганом [1]), и рассказом о процессе Печерина, напечатанным недавно в народном ирландском журнальчике «The Irish Packet» [2]). Эти материалы позволяют с полной отчетливостью восстановить картину процесса.

Суть дела заключалась в следующем.

В половине октября 1855 года лимерикские редемптористы с Печериным во главе открыли «миссию» в католической церкви в Кингстоуне, небольшом приморском городке близ Дублина. Миссия продолжалась около двух недель. В своих проповедях Печерин, между прочим, сильно нападал на безнравственность все более наводняющих страну дешевых романов, отечественных или переведенных с французского, и на непоправимый вред, причиняемый душе чтением таких произведений, как всевозможные «Тайны Лондона», или низкопробных журнальчиков вроде «The Family Herald», «London Journal» и пр. При этом он убеждал своих слушателей не только воздерживаться от чтения таких книг, но, во избежание соблазна, следуя примеру христиан апостольских времен, собрать и принести их к нему, сколько у кого найдется.

Красноречие Печерина, очевидно, возымело успех: в несколько дней обитатели Кингстоуна нанесли к нему, в комнату заезжего дома, где он жил, целые ворохи романов, журнальных выпусков и т. п. Печерин, следуя обычной тактике редемптористов, решил усугубить действие своей проповеди всенародным эффектным зрелищем: утром 5-го ноября, в воскресенье, вся эта литература была на двух тачках доставлена во двор католической церкви и сожжена в одном большом костре. Прохожие, привлекаемые необычным зрели-

---

[1]) Selected speeches and arguments of the Right Hon. Thomas, Baron O'Hagan edit. by George Teeling, London. 1885. стр. 245—283.

[2]) The Bible Burning Case, a famous Irish triab, by John Muldoon. Barrister at—Law „The Irish Packet", vol. II, № 29, april 16, 1904.

щем, входили во двор посмотреть,—и в результате к вечеру по городу распространился слух, что редемптористы жгли протестантские библии, так как некоторые из этих очевидцев утверждали, что среди горевших книг они заметили один или два целых экземпляра или разрозненные листки of the authorised version of the Scripture, т.-е. именно а н г л и к а н с к о й библии.

Тогда началась агитация, вышедшая далеко за пределы Кингстоуна. В редакции газет посыпались письма с выражением крайнего негодования по поводу богохульственного поступка католических монахов, дерзающих в своем изуверстве истреблять протестантскую святыню, и с требованием суда над редемптористами и особенно над Печериным, который лично руководил сожжением книг. На улицах Дублина расклеивались аналогичные афиши с призывами к протесту, для той же цели собирались многолюдные митинги, англиканские священники с церковной кафедры громили фанатическую наглость редемптористов, и сам англиканский архиепископ в Дублине «нашел нужным и приличным присоединить свой голос к хору изветов»: он публично произнес речь на ту тему, что случай сожжения библии католическими монахами лишний раз утвердил его в его давнишнем убеждении, что Св. Писание ненавистно католической церкви. Англо-ирландская печать кишела самыми грязными и неистовыми обвинениями против личности, ордена и веры обвиняемого. Словом, партийные страсти жадно ухватились за это дело. чтобы раздуть его в тяжкое национально-религиозное оскорбление всего английского народа. При страшной обостренности отношений между обеими народностями и их церквами в Ирландии эта агитация легко достигла своей цели: общественное мнение англиканской части населения было распалено до ярости, и английские власти поспешили привлечь Печерина к суду. Какие средства пускались при этом в ход, показал на суде перекрестный допрос, которому защитники Печерина подвергли одного из главных инициаторов обвинения, англиканского церковнослужителя Уоллеса: оказалось, что в разгаре агитации он одно за другим прислал в очень распространенную газету три письма, подписав одно из них «Очеви-

дец», другое «Зритель», третье буквой «С». Кроме того, он 12-го ноября произнес в своей церкви проповедь по этому же поводу, которую затем издал отдельной брошюрою под заглавием: «Глас из пламени. Проповедь о публичном сожжении библии редемптористами в Кингстоуне 5-го ноября»; эта брошюра выдержала четыре издания и распространилась в тысячах экземпляров. На вопрос защитника, как он решился еще до судебного следствия публично провозглашать обвинение доказанным и считает ли он такой поступок совместимым со своим званием христианского священнослужителя, он преспокойно отвечал, что не видит в своих действиях ничего предосудительного.

Дело разбиралось 7-го и 8-го декабря в Дублине, куда Печерину снова пришлось приехать из Лимерика. Уже с раннего утра 7-го декабря улицы вокруг здания суда в Грин-Стрите были запружены публикой, жаждавшей доступа в зал суда. Но вход был разрешен лишь по билетам. Зал оказался битком набитым; преобладали, разумеется, духовные лица обоих исповеданий; хоры были полны дам. Председательствовали судьи сэр Крамптон и барон Грин, по словам автора статьи в Irish Packet—«люди закоренелых анти-католических взглядов», обвинял сэр Уильям Киог, «тот самый, который несколько лет спустя принял участие в другом нападении на католическое духовенство, получившем еще гораздо большую известность». Зато главным защитником Печерина выступил знаменитый ирландский адвокат, видный борец за политическую и религиозную свободу Ирландии, Томас О'Хэган. Состав жюри был смешанный—из англикан и католиков.

Заседание открылось пространной речью представителя короны. Он говорил о святости библии, о мировом ее значении, о долге государства бороться с фанатизмом и пр.; речь его, на вид беспристрастная, дышала твердой уверенностью, что инкриминируемый поступок действительно совершон обвиняемым, и совершон сознательно, с обдуманным намерением. Он кончил тем, что настоящее обвинение имеет целью не покарать виновных, а показать пример: «Поэтому, каков бы ни был ваш приговор, я буду удовлетворен. Но на одно

я твердо надеюсь—что этот процесс послужит уроком стране и водворит в ней отныне мир и милосердие».

Вслед затем начался допрос свидетелей. Первым допрашивали мальчика Дёффа, одного из главных свидетелей обвинения. Он рассказал, что дня за четыре до 5-го ноября, когда он с другими мальчиками был в католической церкви в Кингстоуне, отец Печерин спросил его, есть ли у него тачка, и, получив утвердительный ответ, велел ему 5-го числа прийти с нею к нему в гостиницу. 5-го утром он явился с тачкой к о. Печерину; вторую тачку привез другой мальчик, Том Дойль. Когда они, и с ними еще другие мальчики, вошли в комнату, они увидели под столом целую гору книг; о. Печерин велел служителю достать оттуда книги и нагрузить их на тачки. Слуга доставал, а мальчики клали на тачки; после этого о. Печерин велел им отвезти книги на церковный двор. Прибыв сюда, мальчики сели на тачки в ожидании о. Печерина; он пришел с полчаса спустя и велел им свалить книги на землю и зажечь, а сам пошел по направлению к ризнице. Они зажгли книги; минут через 20 он вышел, молча постоял у костра минут пять и опять пошел в ризницу. Все это время по церковному двору проходило много народа. На перекрестном допросе Дёфф показывает, что он грамотен, что успел рассмотреть обложки некоторых книг—это были «The Family Herald», «The Mysteries of London», много выпусков «Reynolds' Miscellany»—и что среди них он заметил одну тонкую книгу в черном переплете с тиснением, которой он не открывал, но которую по общему ее виду принял за Новый завет. На вопрос, возможно ли, что кто-нибудь из толпившихся на церковном дворе подкинул книгу и он этого не заметил бы, Дёфф отвечает, что это было возможно.

Затем допрашиваются Генри Лаусон, служащий кучером у некоей мисс Гибтон, и его брат Чарльз, служащий у той же госпожи. Оба они присутствовали некоторое время при сожжении книг; оба утверждают, что видели на верху обеих тачек по одной библии. Чарльз пред'являет несколько листков, подобранных им на том месте, где был костер, на другой день после происшествия; он утверждает, что они принадлежат к англиканскому изданию библии; но на многократные

вопросы, какие основания он имеет утверждать это, он отвечает молчанием. Его заставляют признаться, что поискать листков его послала его госпожа, мисс Гибтон. На вопрос: из чего вы заключили, что книга, лежавшая на верху тачки, была библией,—он отвечает, что прочитал на корешке слово «Testament».—Что же, это был Старый или Новый завет?—Она была в новом переплете.—В зале, разумеется, гомерический хохот.

Остальные семь свидетелей обвинения не прибавляют к показаниям предыдущих ничего нового. Все они принадлежат к англиканской церкви, все путаются в своих показаниях, почти все между собою знакомы; один из них—полицейский констэбль, двое—англиканские священники, принимавшие деятельное участие в возбуждении настоящего процесса. Об одном из них, Уоллесе, я уже упоминал; это—один из главных свидетелей обвинения, так как он показывает, что видел, как мальчики подталкивали в огонь м н о г о книг, в которых он, стоя на расстоянии 10-ти ярдов, с уверенностью признал англиканские библии. Однако присягнуть, что это точно были библии, он не пожелал, а на вопрос: как же он, священник, видя такое кощунство, не вмешался и не спас священных книг от сожжения, он ничего не нашелся ответить.

Как ни подозрительны и сбивчивы были все эти показания, они с достаточной определенностью выяснили, что один или два экземпляра Св. Писания—и вероятно в англиканском издании—действительно были замечены на верху тачек и сожжены. С этими фактами и должен был считаться защитник Печерина.

Смелая, блестящая по форме речь О'Хэгана проникнута искренностью и убежденностью, исключающими обыкновенные адвокатские ухищрения. Отвечая представителю короны, назвавшему Печерина фанатиком, он начал с характеристики подсудимого: «Это—человек незаурядный как по положению, так и по характеру; это—христианский священник и вместе зрелый ученый, блестящий оратор и совершенный джентльмен. Происходя из дворянского рода, он пользовался уважением на своей родине и нес общественную службу в родном университете. Пред ним открывалось почетное поприще; но он

отрекся от всех земных выгод, порвал все земные узы, когда совесть и долг потребовали этой жертвы. Он отказался от родины, семьи, старых связей и любимых друзей, отверг надежды благородного честолюбия, чтобы в совершенной бедности и самоотречении посвятить себя служению Кресту; и уже многие годы он работает над духовным возрождением своих ближних не путем пылких споров или возбуждения сектантских распрей, а неустанным старанием очистить их нравственную природу и улучшить их повседневную жизнь. И благодаря мощному действию своего красноречия, страстности своих убеждений и вдохновительной силе своего примера, он достиг, кажется, поразительных успехов. К такому человеку я не могу не чувствовать глубочайшего участия, видя его у решетки уголовного суда, в чужой стране, обвиняемым в кощунстве над Св. Писанием, которое он, конечно, чтит выше всего, и в презрении к божественной религии, ради которой он кинул все, чем дорожит человек. Это участие превращается в тревогу, когда я вспомню, что для того, чтобы предопределить исход его процесса, были пущены в ход с неутомимым и чрезвычайно успешным усердием преувеличенные донесения, ложные свидетельства и злонамеренные клеветы». Изобразив затем недобросовестную агитацию против подсудимого, имевшую целью «затемнить истину, исказить ход судебного следствия и сокрушить беззащитного проповедника всей тяжестью разгоряченного общественного мнения и могущественного предрассудка», защитник перешел к предмету обвинения. Целым рядом ссылок и примеров он доказал, что католическая церковь вообще и ирландская в частности никогда не были враждебны Св. Писанию. Затем он характеризовал орден редемптористов: члены его живут в бедности и лишениях; они переходят с места на место, неся непрестанный и тяжкий труд, работая для спасения человеческих душ, не ища награды, не получая мзды; их пища—самая грубая, их одежда—самая убогая. В Кингстоуне они ратовали против пошлой и безнравственной литературы, и вот неожиданно на них пало тяжкое обвинение. Защитник последовательно из момента в момент изложил всю историю сожжения книг, доказывая, что если при этом и сгорели, как говорят свидетели,

один экземпляр библии и один Евангелия, то это произошло без ведома Печерина. По единогласному показанию свидетелей, говорил он, эти книги были замечены ими, одна—на верху одной тачки, другая—на верху другой; нам говорят, что на церковный двор в это время входило много людей; наконец мы достоверно знаем, что нагруженные книгами тачки полчаса простояли на дворе до прихода Печерина и что он и затем уходил в ризницу. Не естественно ли предположить, что в один из этих промежутков кто-нибудь из присутствовавших здесь зрителей подкинул эти книги на тачки? Это мог быть или протестант, желавший скомпрометировать католических монахов, или, наоборот, католик, быть может, давно раздраженный насилиями протестантов над ирландскими католиками. Если бы Печерин хотел путем сожжения протестантской библии унизить англиканство в глазах кингстоунского населения, он, конечно, сжег бы не два экземпляра и сделал бы это демонстративно, а не под видом истребления дешевых романов. Но такая цель была ему совершенно чужда; в своих проповедях он нападал только на пошлую беллетристику и сжигал книги в полной уверенности, что уничтожает только такие книги. Он горячо осудил бы поступок, какой ему приписывается, и потому обвинение, взведенное на него, столь же оскорбительно, как и неосновательно. «Мой почтенный клиент сожалеет, что благодаря его неосторожности или недостаточному знанию тех особенных условий, какие существуют в этом раздираемом смутою королевстве, он кому бы то ни было дал повод к обиде. Его призвание и долг—бороться с заблуждением и провозглашать истину, «не заботясь о последствиях»; но на замысел публично бесчестить убеждения какой-либо части ирландского народа он не способен и в таком замысле не виновен».

Речью О'Хэгана закончился первый день судебного разбирательства. На следующий день предстоял допрос свидетелей защиты; но тут разыгрался инцидент, живо напоминающий исторические подвиги председателей суда в кишиневском и гомельском процессах. Предубежденность обоих коронных судей, Крамптона и Грина, против обвиняемого ясно обрисовалась уже с самого начала судебного следствия как в поста-

новке вопросов, которые они сами предлагали свидетелям, так и в их отношении к защите. Когда, например, один из защитников спросил Чарльза Лаусона, не состоит ли он прихожанином церкви Уоллеса, судья снял этот меткий вопрос, как не относящийся к делу. Только предвзятостью можно было об'яснить, с английской точки зрения, и безмолвие обоих судей во время допроса Уоллеса: агитация, предпринятая последним до судебного следствия и, следовательно, клеймившая позором человека еще не осужденного и, быть может, невинного, представляла собою такое грубое нарушение элементарной справедливости, столь незаконно стремилась предопределить приговор суда и была ведена такими неблаговидными средствами, что, так справедливо замечает автор статьи в Irish Packet, если бы председателем суда был человек беспристрастный и дорожащий интересами правосудия, он не преминул бы сурово осудить поведение Уоллеса. А Крамптон и Грин во все время допроса Уоллеса хранили невозмутимое спокоїйствие.

Первым свидетелем защиты, вызванным по открытии заседания 8-го декабря, был некто Джемс Коольфильд из Кингстоуна, католик. На вопрос защитника, посещал ли он проповеди о. Печерина, он отвечает утвердительно. Тогда защитник спрашивает: «Были ли вы на какой-нибудь из проповедеї, где о. Печерин говорил о безнравственных книгах?» Тут в допрос вмешивается прокурор, заявляя, что суд не может допустить вопросов, касающихся содержания проповедеї обвиняемого, и судья Крамптон подтверждает это. В ответ защита об'ясняет, что расследованию суда подлежат два раздельных факта: во-первых, факт сожжения книг Св. Писания, во-вторых, умышленность такого поступка; для установления же в данном случае наличности умысла существенно важно установить, приглашал ли Печерин своих слушателей приносить к нему для сожжения и священные книги. Это разумное об'яснение, однако, не убедило судеї; после долгих пререканий ходатайство защиты было категорически отклонено под тем чудовищным предлогом, что принять во внимание содержание проповедеї подсудимого зна-

чило бы дать законную силу показанию обвиняемого в его собственную пользу, что̀ воспрещено законом.

После такой резолюции защита увидела себя вынужденной решиться на смелый шаг: О'Хэган заявил суду, что он и его товарищи решили вовсе не вызывать никаких свидетелей и предоставить суждение о вине или невинности их клиента исключительно разуму и совести самих присяжных.

Следовавшее затем пространное резюме барона Грина было проникнуто явным желанием внушить присяжным уверенность в справедливости обвинения. В 1 ч. 20 мин. дня присяжные удалились в совещательную комнату, и в 2 ч. 40 мин. вернулись с приговором. По традиционному английскому церемониалу секретарь короны, сделав поименную перекличку присяжным, спросил: «Что вы скажете, господа?»—«Что о. Владимир Печерин н е в и н о в е н».

В отчете по этому процессу, изданном редемптористами, рассказывается, что приговор присяжных исторг у публики, наполнявшей залу суда, долгий, единодушный гром рукоплесканий, которые тщетно пытался прекратить звонок председателя. Мужчины махали шляпами, дамы платками, все наперерыв старались добраться до Печерина, чтобы пожать его руку. Он сам был тронут до слез этими выражениями радости и участия. Когда приговор стал известен толпе, ждавшей на улице, снова раздались восторженные крики; при выходе Печерин был встречен долго несмолкавшими рукоплесканиями; с трудом добрался он среди теснящейся толпы к карете, и та же толпа проводила его до самого дома, где он жил. Кингстоун в этот вечер был иллюминован.

Это был за все годы католической жизни Печерина единственный раз, когда ему пришлось выступать на шумное торжище света. Во все время процесса он не произнес ни одного слова.

Прибавлю здесь следующие строки из письма нынешнего капеллана больницы Mater Misericordiae: «Именно этот процесс так выдвинул Печерина в общественном мнении этой страны (Ирландии). Все ему сочувствовали; все понимали, что он стал жертвою протестантского озлобления против католичества, и в католической стране, какова Ирландия, инте-

рес, возбужденный этим делом, естественно был очень велик. Лорд О'Хэган (позднее лорд-канцлер Ирландии), защищавший о. Печерина, произнес по этому делу знаменитую речь, давшую этому ученому адвокату имя, которое не скоро забудется».

XIV.

Таково было католическое служение Печерина. Его переписка с Герценом показывает его нам с другой стороны.

Герцен виделся с Печериным только раз, в апреле 1853 года. В России они не знали друг друга, но Герцен много слышал о Печерине от Редкина, Крюкова, Грановского, знал его «Торжество смерти», знал и содержание его письма к Строгонову. Теперь, случайно услыхав. что Печерин в Лондоне, Герцен отправился к нему к редемптористский монастырь в Клапаме. Перед ним был невысокого роста пожилой священник в граненой шапке и в сутане; его лицо было старо, старше лет; в его речи и движениях был тот искусственный покой, «которым особенно монахи, как сулемой, заморяют целые стороны сердца и ума». Разговор шел сначала по-французски, потом по-русски. Он был незначителен: Печерин спрашивал об общих знакомых, Герцен рассказал ему о смерти и похоронах Крюкова, об успехах Грановского. Заговорив о Москве, Печерин сказал, что с содроганием вспоминает то время, когда покинул Россию; особенно тяжела в ней. прибавил он, судьба меньшинства, получившего образование. Он с теплым участием отозвался о доброте и наивности русских крестьян; он часто вспоминает их, глядя на ирландских мужиков: у них много общего в характере. Пред расставанием Герцен попросил у Печерина копию его «Торжества смерти» для напечатания в «Полярной Звезде», но Печерин только удивился, как может его интересовать такое ничтожное, ребяческое произведение, и уклонился от разговора, сказав, что смотрит на эти стихи с таким чувством. с каким выздоровевший вспоминает свой бред в жару.

Гораздо содержательнее, нежели этот разговор, была переписка, завязавшаяся между Герценом и Печериным вслед за их свиданием. Она равно характерна для обоих. Дня три

спустя Печерин написал Герцену небольшую записку, где говорил о своем искреннем сочувствии слову свободы—свободы для его несчастной родины, о своем несогласии с его, Герцена, программой (Герцен оставил ему об'явление вольной русской типографии) и о любви католического священника, обнимающей все партии и все мнения. По его просьбе Герцен доставил ему две свои книги, в том числе, вероятно, свою брошюру о развитии революционных идей в России, и через несколько дней, прочитав их, Печерин отвечал ему пространным письмом. Вы и ваши друзья,—писал он,—все надежды возлагаете, кажется, на философию и изящную словесность; неужели же вы думаете, что этими средствами может быть обновлено общество? История противоречит такому мнению. Она учит нас, что основою государств всегда была одна религия и что философия и словесность расцветают как раз в периоды упадка, и каждый раз, когда философия бралась за пересоздание общества, она неизбежно приводила к жестокому деспотизму, как у Фридриха II, Екатерины, Иосифа II. Опираясь на собственные слова Герцена, Печерин спрашивает: вы сами говорите, что вы—Онегины, что ваша основа—отрицание и сомнение; можно ли перестраивать общественный порядок на таких основаниях? Он кончает письмо уверением, что пишет все это не для спора: он считал своим долгом высказать свою мысль, потому что иногда умнейшие и благороднейшие люди, не замечая того, ошибаются в самой основе.

В своем ответном письме Герцен раз'яснил Печерину, что освободительную роль он приписывает не философии и литературе, а науке: единственная причина пауперизма и рабства—невежество, и только наука может дать массам хлеб и кров; «не пропагандой, а химией, механикой, технологией, железными дорогами она может поправить мозг, который веками сжимали физически и нравственно». На это Печерин ответил письмом [1]), страстность которого очень далека от того клерикального покоя, какой Герцен увидел в чертах лица

---

[1]) Как и предшествующие два письма, оно было написано по-французски, и сообщено Герценом в переводе. Соч. А. И. Герцена, т. IX, стр. 267 и сл.

Печерина. Предполагая в своем собеседнике антипода, Герцен выразил свою мысль с умышленной резкостью, довел ее до крайности, которой в действительности был чужд и тогда; разумеется, и в 1853 году он ждал спасения не от одной химии и железных дорог, а шестнадцать лет спустя он сам во всеуслышание заявит, что миру нужна прежде всего проповедь—проповедь неустанная, равно обращенная к хозяину и к работнику. Но перед Печериным были строки, не допускавшие двух толкований; здесь шла речь об основе всех убеждений—о выборе между духом и материей, между землею и небом,—и Печерин почувствовал себя глубоко задетым. «Признаюсь вам откровенно,—писал он,—ваше последнее письмо навело на меня ужас, и ужас очень эгоистический, признаюсь и в этом. Что будет с нами, когда в а ш е образование одержит победу? Для вас н а у к а—все, альфа и омега. Не та обширная наука, которая обнимает все способности человека, видимое и невидимое, наука—так, как ее понимал мир до сих пор; но наука ограниченная, узкая, наука материальная, которая разбирает и рассекает вещество и ничего не знает, кроме него. Химия, механика, технология, пар, электричество, великая наука пить и есть, поклонение личности, как бы сказал Мишель Шевалье. Если э т а наука восторжествует, горе нам! Во времена гонений римских императоров христиане имели, по крайней мере, возможность бегства в степи Египта, меч тиранов останавливался у этого непереходимого для них предела. А куда бежать от тиранства вашей материальной цивилизации? Она сглаживает горы, вырывает каналы, прокладывает железные дороги, посылает пароходы, журналы ее проникают до раскаленных пустынь Африки, до непроходимых лесов Америки. Как некогда христиан влекли на амфитеатры, чтобы их отдать на посмеяние толпы, жадной до зрелищ, так повлекут теперь нас, людей молчания и молитвы, на публичные торжища и там спросят: «Зачем вы бежите от нашего общества? Вы должны участвовать в нашей материальной жизни, в нашей торговле, в нашей удивительной индустрии. Идите витийствовать на площади, идите проповедывать политическую экономию, обсуживать падение и возвышение курса, идите работать на

наши фабрики, направлять пар и электричество. Идите председательствовать на наших пирах, рай здесь на земле,— будем есть и пить, ведь мы завтра умрем!». Вот, что меня приводит в ужас, ибо где же найти убежище от тиранства материи, которая больше и больше овладевает всем... Стоило ли покидать Россию из-за умственного каприза? Россия именно начала с науки так, как вы ее понимаете, она продолжает наукой. Она в руках своих держит гигантский рычаг материальної мощи, она призывает все таланты на служение себе и на пир своего материального благосостояния, она сделается самой образованной страной в мире. Провидение ей дало в удел материальный мир, она сделает рай из него для своих избранных. Она понимает цивилизацию именно так, как вы ее понимаете. Материальная наука составляла всегда ее силу. Но мы, верующие в бессмертную душу и в будущий мир, какое нам дело до этой цивилизации настоящей минуты? Россия никогда не будет меня иметь своим подданным».

Оленя ранили стрелой! Голый материализм, исповедание которого Печерин увидел в словах Герцена, заставил и его довести свою мысль до крайности. В своей апологии духа он совершенно игнорирует материальную сторону жизни и, значит, страдания масс, отстаивая интересы исключительно небольшой горсти людей, склонных к созерцанию,—и в этом смысле Герцен справедливо отвечал ему потом, что если шум рынка мешает, то не рынок надо уничтожать, а самому отойти. Но суть дела была для Печерина, конечно, не в этом: его ужаснула материальность самого идеала. Ему, утописту по натуре, выросшему на Шиллере и вскормленному утопическим социализмом Сен-Симона и Фурье, возложившему на себя тяжелый крест Бога любви, Бога духа,—ему ужас и отвращение внушала эта программа нового социализма, умалчивавшая о душе и ставившая себе целью только общую сытость. Это ли тот «лучший мир», образ которого неизгладимо был напечатлен в его душе? И ради этого стоило ли бы жить и отдавать свою жизнь на службу человечеству?

Эти письма, я сказал, равно характерны и для Герцена, и для Печерина. В половине 30-х годов Герцен отшатнулся

бы от той программы, которую наметил теперь в своем письме, и в основе безусловно согласился бы с Печериным; но с тех пор он, в ногу с веком, далеко ушел от тех мыслей. Печерин же, уйдя из жизни, остался тем, чем был тогда: римская сутана консервировала в нем утопический идеализм 30-х годов. Он замуровал себя в католичество и уцелел, но уцелел как окаменелость; в этом было его несчастие и в этом его красота, потому что прекраснее той мечты, которой он был верен, человечество не знает.

Характерно и то, что его взгляд на Россию остался тот же, какой был общ всем нашим идеалистам в 30-х годах; так, и Станкевич полагал, что в русском народе практический элемент преобладает над прочими и что человеческая сторона «заснула в нем под звук валдайского колокольчика, под говор ярмарок». К 1853 году, после славянофильской пропаганды и огромных успехов в изучении народа, какие были сделаны за это время, взгляд русской интеллигенции на народ успел радикально измениться; но до Печерина уже ничто не проникло сквозь стены монастыря,—он остался при старом убеждении.

XV.

Годы шли, прошла уже почти четверть века с тех пор, как Печерин замуровался в католичество. Казалось, это был конченный человек, с окостеневшей психикой, со склерозом ума и чувства; таким и представлялся он Герцену. И вдруг этот человек поднимает голову—и оказывается, что он остался совсем живой, и мы с удивлением видим, что он сохранил полную гибкость духа.—Около 1860 года в Печерине совершился новый перелом, не менее поразительный, нежели его переход в католичество.

Этот перелом несомненен, но о причинах его мы ничего не знаем. В отрывке из своих воспоминаний (о баронессе Розенкампф), писанном в 1869 году, упомянув о том, как в 1830 году его разбудил от дремоты гром июльской революции, он продолжает: «С тех пор я уже более не засыпал... Ах, нет! виноват, грешный человек! Я проспал двадцать лучших лет моей жизни (1840—1860). Да что же

тут удивительного! Ведь это не редкая вещь на святой Руси. Сколько у нас найдется людей, которые или проспали всю жизнь, или проиграли ее в карты! Я и т о, и д р у г о е с д е л а л: и п р о с п а л, и п р о и г р а л с я в п у х».

В этом недвусмысленном признании—такая пучина душевной муки, не бурной, а рассудительной, и тем более глубокой, столько горького раскаяния и безнадежности, что, читая, сжимается сердце. В 1860—1861 г.г., когда совершился в нем этот переворот, Печерин уже шестой или седьмой год мирно жил в редемптористском монастыре в Лимерике. Позади были 20 лет суровой, замкнутой жизни, где каждый день был расписан по получасам на дела благочестия, где личная воля должна была каждый день сызнова умирать (mourir tous les jours à la volonté propre, требовал устав), двадцать лет святости и неустанної проповеди евангельского слова среди униженных и несчастных,—проповеди, по всем признакам, венчавшейся блестящим внешним успехом. Если это был долгий сон,—что же теперь разбудило Печерина? Или он убедился, так поздно, что одного с л о в а не довольно, чтобы обновить мир? или увидел, что новые пути к обновлению, найденные с тех пор, как он удалился из жизни, успешнее ведут к цели, и горько пожалел о богатых силах своей молодости, растраченных бесплодно в погоне за химерой? Во всяком случае, мы можем сказать одно: самое его пробуждение свидетельствует о том, что под сутаной и клобуком в нем не умер живой дух и не погасла мечта о лучшем мире. Не житейских утех взалкала его душа; напротив, конец своей жизни он проведет еще в большем удалении от мира, еще в большем смирении и безмолвии. Снова поднимать нить мирского дела там, где он оборвал ее, было поздно,—оставалось смириться в последний раз и терпеливо ждать конца.

Прежде всего, раз ошибка была сознана, надо было покончить с бесплодным прошлым. Печерин решил выступить из ордена редемптористов. В этом ордене нелегко получить диспенс. Принимая монашество, редемптористы, как сказано, сверх трех обычных монашеских обетов, дает четвертый, в силу которого он обязывается оставаться в ордене до гроба под страхом анафемы; единственный случай, когда разре-

шается просить об увольнении,—явная воля на то Бога (manifestation authentique des volontés de Dieu) [1]). Печерин мотивировал свою просьбу желанием удалиться от внешних дел и всецело посвятить себя созерцательной жизни в качестве трапписта. Как видно, отцы ордена очень дорожили им: по словам лимерикского настоятеля, они приложили все усилия, чтобы удержать его от этого поступка, доказывая ему, что его стремление уединиться есть не что иное, как искушение.

8-го декабря 1861 года Печерин вступил в цистерцианский монастырь Mount Melleray (Cappoquin, графство Waterford на юге Ирландии), и 25-го числа того же месяца принял пострижение, получив имя «отца Андрея»; этот орден, посвященный исключительно созерцанию и аскезе,—один из суровейших в католичестве. «Со времени его вступления сюда,—пишет престарелый аббат, живший в общине уже до Печерина и с любовью вспоминающий о нем,—и до его выхода, он служил назидательным примером. Он принимал участие во всех благочестивых упражнениях и, хотя слабого сложения, ходил неукоснительно на ручную работу. Промежутки он посвящал молитве и научным занятиям». Он прожил в этой общине, однако, лишь полтора месяца; он выступил 23-го января 1862 г., потому что убедился, как занесено в реестр монастыря, что уединение и молчание слишком тяжело отзываются на нем. Редемптористы с самого начала покачивали головами. «Многие думали тогда,—пишет отец-редемптористO'Laverty из Лимерика,—что он сделал этим большую ошибку и что его истинным призванием было проповедничество и миссионерство. То, что многие думали тогда, оказалось справедливым. Слабое здоровье делало его непригодным для суровой, трудной жизни трапписта; ему очень скоро сказали, что у него нет призвания к ней. По нашим правилам те, кто оставляет нас, не принимаются обратно; но ввиду из ряда вон выходящей чистоты его жизни (his extraordinary virtue) был возбужден вопрос об исключении в его пользу. Каким-то образом эти переговоры не привели ни к чему, и он удалился в част-

---

[1]) Desurmont, цит. соч., стр. 84.

ную жизнь» (т.-е. снял монашескую одежду и остался просто священником) [1]).

Но дело было совсем не так, как простодушно верит и пишет добрый настоятель. Печерин не вернулся бы в их монастырь,—он и ушел от них потому, что начал просыпаться; а за эти немногие месяцы с ним случилось нечто такое, что окончательно заставило его притти в себя. Четыре года спустя он к слову в письме рассказал этот случай. Он говорил о баронессе Розенкампф и о влиянии, которое она имела на него,—и тут он продолжает: «Кстати о влиянии женщин. Одна любезная петербургская девушка вышла замуж за ирландского джентльмена здесь в Ватерфордском графстве. Они познакомились самым романтическим образом в Неаполе в Hôtel de Russie. Я гостил у них несколько дней в 1861 г. [2]). Тут в первый раз я узнал, как быстро Россия двинулась вперед после 1855 г. M-rs Foley многое мне рассказала о Петербурге, показывала мне русские иллюстрированные журналы, разные русские изделия и пела мне русские песни. Тут я встретил старых и очень старых знакомых, напр.: «Вот мчится тройка удалая» и «Трава шелковая» и даже «Талисман». Эти русские звуки раздавались в уединенном ирландском коттедже между дикими горами недалеко от монастыря траппистов, в котором я провел три месяца в земледельческих упражнениях и где я видел собственными глазами, в настоящей действительности, совершенный идеал первобытной христианской республики. Может быть я бы навсегда остался у этих добрых траппистов—если бы не песни г-жи Foley! Мне ужасно как хотелось узнать, что сделается с Россией!»

Знала ли молодая женщина, к о м у она пела и какие чувства будили ее песни и рассказы в душе ее слушателя?— Это впечатление было последним толчком для Печерина. Звук

---

[1]) Впрочем, официально он был отчислен от этого ордена лишь 5 окт. 1863 г.

[2]) В письме к о. Гагарину от 12 мая 1862 г. Печерин писал: «В прошлую зиму я имел счастье принять в церковь русскую даму, дочь петербургского купца. Она замужем за M-r Foley, ирландским дворянином графства Waterford»—«Русск. Стар.», 1911, январь, стр. 66.

родной песни потому и дошел до его сердца, что он уже раньше проснулся.

В январе Печерин выступил из общины траппистов, а в феврале того же года (1862) архиепископ дублинский, кардинал Кёллен, утвердил его капелланом при одной из главных дублинских больниц—Mater Misericordiae. Здесь Печерин и провел последние 23 года своей жизни.

Теперь он имел досуг—впервые после многих лет. Опять, как четверть века назад, он был одинок в пустыне чуждого ему мира, старый, надломленный, с страшным сознанием роковой ошибки и с единой надеждой на избавительницу-смерть впереди. И тут, как видно, вполне ожила его душа и, содрогаясь, подвела итог проигранной жизни. Измученное сердце жаждало участия, а кругом—все чужое, ни одной родной души.

В самом конце августа 1865 года И. С. Аксаков, тогда редактор «Дня», неожиданно получил в Москве письмо из Дублина с приложением длинного стихотворения и визитной карточки: Rev-d Vladimir Petcherine. В этих стихах Печерин рассказывал потрясающую историю своей жизни. Вот они.

Non! Sa chaleur n'est pas toute glacée!
De souvenir je le sens tressaillir... *Demoutier.*

Не погиб я средь крушенья,
Не пришел еще мой час!
И средь бурного волненья
Мой светильник не погас!
И под час, как молньи, блещут
Мысли юности моей,
И в груди моей трепещут
Вдохновенья прежних дней.
Чудится: плывут в эфире
Звуки песней удалых,
И волшебница на лире
Мне поет о снах златых.
Рано, рано с утренней зарею
Вышел я из хижины родной,
И зеленый лес передо мною
Расцветал весеннею красой.
На ветвях алмазами сверкали
Капли крупные росы ночной,

Дикие цветы благоухали
В пышном лоне зелени густой...
На сосне, сосне высокой
Птичка дивная сидит,
И ее живое око
Прямо в небеса глядит.
Встрепенулась и запела,
И весь лес безмолвен стал;
Птичка пела, пела, пела,
А я слушал и молчал.
Заливалась, разливалась,
Будто соловей, она,
И мне песнь ее казалась
Грустью тайною полна.
Райская была то птица
И о рае песнь вела,
И туда меня певица
И манила и звала:
«Вечным солнцем там сияет
Правды незакатный свет!
Там любовь не умирает,
И разлуки вовсе нет!
«О, дух, жаждою томимый,
Там тебя блаженство ждет!
Там струей неутомимой
Истины поток течет.
«Там под небом вечно чистым
Будешь птичкою парить,
Как пчела, из роз душистых
Сладкий мед ты будешь пить!
«Что тебе страна родная
Меж туманов и снегов?
Там — свобода золотая,
Жизнь эфирная духов!» [1]).
Птичка пела, пела, пела,
А я слушал — и мечтал!
Быстро жизнь моя летела;
Дни прошли — и я не знал.

---

[1]) В сохранившемся подлиннике эта строфа имеет такой вид:

Что тебе твой край родимый
Средь зимы и средь цепей?
Там свобода! там любимый
Детский сон души твоей!

И красуется, как прежде, в пышной
Зелени густой, могучий лес;
Но певицы дивной уж не слышно
И навеки след ее исчез.
Время хладною рукой сорвало
Юности венок с главы моей:
Все померкло — сердце перестало
Верить сладким песням вешних дней...
Беспріютным сиротою
Я у хижины родной
Постучался в дверь клюкою —
Мне ответил глас чужой:
«Кто ты, странник? из какого края?
Где твой Бог? и где твоя семья?..
Или, может быть, судьбина злая
На изгнанье обрекла тебя?
«Есть народная святыня!
Есть заветный кров родной!
И семейство, как твердыня,
Нас хранит в године злой.
«Неужель на белом свете
Некому тебя обнять,
Приютить, пригреть на сердце
И тебе «люблю» сказать?»

Странник.

Ах! поверь: и мне не чужды были
Ласки матери родной!
И друзья мне счастие сулили,
И звезда светила предо мной!

Но я слышал глас Красы незримой;
Этот глас меня очаровал:
Я отца, и мать, и край родимый —
Все на жертву Ей отдал!

Где ты? Где, Краса небесная!
Где? в какой стране тебя найду?
За горами ль за высокими?
За морями ль за широкими?
Всюду за тобой пойду!

Предо мной везде Она мелькала
И манила за собой;
Я за ней — Она вдруг исчезала,
Будто призрак в тьме ночной.

И теперь бездомным сиротою
По миру один брожу,
Сладкого везде ищу покою —
И нигде не нахожу.

В письме, сопровождавшем это стихотворение, Печерин писал И. С. Аксакову: «Милостивый государь! Благородный дух вашего журнала давно привлекает мое внимание, хотя, к сожалению, я не всегда имею случай читать его. Сверх того, там часто встречается дорогое для меня имя Ф. В. Ч(иж)ова. Неизбежная судьбина—ineluctabile fatum—отделяет меня от родины, но прилагаемое стихотворение покажет вам, что я не забыл ни русского языка, ни русских дум. Я сам не могу себе об'яснить, для чего я посылаю вам эти стихи. Это какое-то темное чувство—или просто желание переслать на родину хоть один мимолетный умирающий звук. Примите уверение и пр.».

Аксаков немедленно напечатал и это письмо, и стихотворение [1]), предпослав им горячо написанную передовую статью. «Мы не знаем,—писал он,—найдется ли в России человек, которому глубокая скорбь этих искренних, сердечных, ароматических стихов не выворотила бы всего сердца! Это брат наш скорбит и страдает, это родная нам душа бьется, как птица в клетке, изнывает, гибнет и стонет! Он наш, наш, наш—даже под латинском фроком!—он имеет полное право на наше участие и сострадание! Неужели нет для него возврата? Ужели поздно, поздно?.. Русь простит заблуждения, которых повод так чист и возвышен, она оценит страстную, бескорыстную жажду истины, она с любовью раскроет и примет в об'ятия своего заблудшего сына!»

XVI.

Проснулось ли в Печерине неистребимое влечение сына к родине-матери, или, может быть освобождение крестьян и все вообще «дней Александровых прекрасное начало» заставило его изменить свое мнение о России,—во всяком случае, перелом, совершившийся в Печерине около 1861 года, духовно вернул его России. Это сказалось уже до его выступления из

---

[1]) «День», 1865 г., № 29, от 2 сентября.

ордена: приблизительно с половины 1862 г. начинается в «Колоколе» длинный ряд отметок о пожертвовании В. Печериным то 1, то 2 фунт. стерл. в «Общий фонд», на поддержку нуждающихся русских эмигрантов. Но особенно резко обнаруживается этот поворот в нем с той минуты, когда он покидает монашество. В октябре 1864 года написал он то стихотворение, приведенное выше, где мы читаем такие ясные строки:

После долгих треволнений
Вижу снова брег родной;

год спустя, в августе 1865 года, он присылает И. С. Аксакову стихотворение для напечатания в «Дне», и спустя три недели, впервые после многих-многих лет, пишет письмо старому другу Никитенке, повергая его тем в радостное удивление; наконец, вероятно, в этом же году начинается его переписка с его племянником, Поярковым, жившим в Одессе. Мы увидим дальше, что с этих пор сношения с Россией становятся для Печерина как бы главным жизненным интересом. Он был, разумеется, далек от мысли о возвращении в Россию,—что он мог бы там делать?—да он и вообще уже не думал об остальных своих днях.

И, странным образом, в это же самое время неожиданно вспомнили о нем в России. В августе 1863 г. Катков на страницах «Московских Ведомостей», рассматривая вопрос о религиозной свободе вообще и польском католицизме в частности, нашел случай заговорить о Печерине. С теплым чувством и уважением рассказал он о профессорстве Печерина, о его внезапном обращении в католичество; его сведения о жизни Печерина в данный момент совершенно точны,—по всей вероятности, он получил их от Чижова или кого-нибудь другого, кто интересовался деятельностью Печерина. Он высказывается за широкую терпимость по отношению к таким людям, как Печерин. «Бросим ли мы в него камень?—писал он в заключение,—укорим ли его за отпадение от православной церкви, которой он почти не знал и к которой он принадлежал только по имени? Он стал католиком, но он стал христианином. Убеждение его было искренно и чисто; все знающие Печерина свидетельствуют о том. Образованный и развитый ум спас его от изуверства, в которое нередко впа-

дают новообращенные. Он тихо исповедывает свою веру, молится, служит при больнице, утешая страждущих и напутствуя отходящих в вечность. Но преданный делу своего церковного служения, он, может быть, не без грусти вспоминает о своем далеком отечестве. Неужели какой-нибудь ксендз Мацкевич, предводительствовавший шайками мятежников в Литве, имеет более прав жить и священствовать в России, нежели, напр., Печерин?»

Чрез неделю Погодин, ведший тогда в «Московских Ведомостях» «заметки» о разных предметах, отозвался на статью Каткова. Смысл его реплики тот, что такие даровитые и образованные ренегаты, как Печерин, заслуживают сугубого осуждения и что простить их особенно опасно. Погодин передает свои личные воспоминания о Печерине (мы цитировали их выше) и, припомнив его блестящие успехи на кафедре греческого языка в Москве, говорит: «Печерина ни за что на свете не пущу я жить и священствовать в России, потому что он привлечет к себе прозелитов еще больше, чем к греческому языку». И Катков, испугавшись своей государственной неосмотрительности, поспешил в этом же нумере, в передовой статье, расшаркаться перед Погодиным и с грустью признать, что, действительно, при решении общественных вопросов необходима величайшая осторожность, и т. п.

Эта чудовищная полемика дошла до слуха Печерина. Кн. П. В. Долгоруков, не будучи с ним знаком, но много слышав о нем и «глубоко уважая его за его замечательный ум и высокие качества души», послал ему в Дублин эти два нумера Катковской газеты в сопровождении письма, где предлагал страницы своего журнала (он издавал тогда в Брюсселе «Листок») для ответа, в случае, если он, Печерин, пожелает «сказать и свое слово в этой полемике».

Печерин ответил ему; это письмо, с пояснительной заметкой Долгорукова, было напечатано в 12-м нумере «Листка» (от 23-го сент. 1863 г.). Оно удивительно, как все, что написал Печерин, но самое непостижимое в нем—эта свежесть ума и чувства после 20-летнего столпничества, какое-то просветленное одушевление в выходце из могилы. Его нельзя читать без волнения.

47, Dominick—Street, Dublin

7 сентября 1863.

«Почтеннейший Соотечественник!

«Ваше имя давно мне известно из иностранных журналов, да и Листок ваш тоже читаю. Я привык уважать вас, как непреклонного защитника правды, и вполне разделяю ваши мнения и надежды касательно будущего России. Чувствительно благодарю вас за ваше ко мне внимание и за присылку книг и журналов: это драгоценный для меня подарок.

«Но что же мне делать с Московскими Ведомостями? Эти статьи застали меня совершенно врасплох: я никак не мог вообразить, чтобы, после двадцатилетнего отсутствия, мои соотечественники еще вспомнили обо мне, и с таким лестным участием. Я очень благодарен, но, признаюсь по совести, не могу принять симпатии, которой не заслуживаю. Издатель Московских Ведомостей желает какой-то свободы совести в пользу русского правительства, то-есть ему хочется найти католических священников, преданных русскому самодержавию! Едва ли где он их найдет. Но за себя, по крайней мере, я могу отвечать: я никогда не был и не буду верноподданным! Я живо сочувствую геройским подвигам и страданиям католического духовенства в Польше: если б я был на их месте, я бы действовал, как они действуют, лишь бы только Бог даровал мне их долю энергии и веры. Я никогда не думал, чтобы католическая религия, в какой бы то ни было стране, должна была служить опорой самодержавию и помогать Нерону казнить строптивых христиан. Я вполне разделяю мнения благороднейшего представителя католицизма, г. Монталамбера; я желаю той неограниченной свободы совести, которую он так красноречиво защищал на Мехельнском конгрессе, и с ним же верую в будущий союз демократии с католицизмом. Истинная вера вышла из среды народа, не от кесаря, не от иудейской аристократии, а от бедных рыбаков. Рыбак Петр проповедывал ее простому народу и уловил мир в сети свои! А император Константин не много сделал ей добра своим высочайшим покровительством: церковь могла бы обойтись без него и лучше бы ей было!

«Странные у людей понятия о так называемых о б р а щ е н и я х в католическую веру! Восприимчивость пылкой юности—проповедь—католический священник:—все это вздор! Оно вовсе не так было!.. Никакой католический священник не сказал мне ни слова и не имел на меня ни малейшего влияния! Мое обращение началось очень рано: от первых лучей разума, на родной почве, на Руси, в глуши, в русской армии. Зрелище неправосудия и ужасной бессовестности во всех отраслях русского быта—вот первая проповедь, которая сильно на меня подействовала! Тоска по заграннце охватила мою душу с самого детства. На запад! на запад! кричал мне таинственный голос, и на запад я пошел, во что бы то ни стало! Католическая вера явилась гораздо позже: она была лишь un corollaire, необходимое заключение долгого логического процесса, или, лучше сказать, она была для меня последним убежищем после всеобщего крушения европейских надежд в 1848 году. Может быть, я сам еще не разгадал загадки моей жизни? Это тайна Провидения. Но те, которые знали меня в Берлине, увидят теперь, что я не изменил первым убеждениям моей юности. Я люблю припоминать последние слова великого папы Григория VII; умирая в изгнании, в Салерно, он сказал: я л ю б и л п р а в о с у д и е и н е н а в и д е л б е з з а к о н и е, и п о т о м у у м и р а ю в с с ы л к е! Вот эпиграф к моей жизни, и моя эпитафия после смерти!

«Г. Погодин очень наивно запрещает мне в'езд в Россию. Он совершенно прав: с его точки зрения, от меня ничего путного ожидать нельзя! Если, вследствие какого-нибудь великого переворота, врата отечества отверзнутся передо мною—я заблаговременно об'являю, что присоединюсь не к старой России, а к молодой, и теперь с пламенным участием простираю руку братства к молодому поколению, к любезному русскому юношеству, и хотел бы обнять их во имя будущего, во имя свободы совести и Земского Собора!

«Я неохотно выхожу из своего уединения, где я так счастливо живу, соединяя умственные занятия с делами христианской любви. Теперь я совершенно погружен в изучение восточных языков. Нет никакой охоты зачинать бесплодную полемику, но не откажусь сказать слово, когда нужно. Если пред-

шествующие строки заслужат ваше одобрение, вы можете напечатать их в вашем журнале. Не забудьте, что я почти разучился русской грамоте: если найдутся ошибки против языка, поправьте пожалуйста. До сих пор я поддерживал знание родного языка чтением Колокола и других сочинений г. Герцена и, невзирая на различие наших мнений, я обожаю его несравненный талант.

«Примите уверение в моем глубоком уважении и родном сочувствии.

Вам преданный *В. Печерин*».

XVII.

В библиотеке Московского университета хранится старая кожаная палка с бумагами Печерина, присланная сюда после его смерти. Здесь рукописные подлинники нескольких его стихотворений, как юношеских, 30-х годов, так и позднейших, 1864—1876 г.г. Кроме того, здесь находятся 23 письма к Печерину его племянника, С. Ф. Пояркова, и 9—Никитенка. Эти письма любопытны и биографическими подробностями, содержащимися в них, и указаниями на то, чем интересовался Печерин в последний период своей жизни—в 60-х и 70-х годах.

Письма Пояркова обнимают время с апреля 1865 г. по июнь 1873, когда, вероятно, Поярков умер. Первые письма полны подробностей о здоровьи отца Печерина, жившего в Одессе, где жил в это время и Поярков. Матери Печерина, очевидно, уже не было в живых; но она была жива еще в январе 1857 г. Старик имел в Одессе собственный дом, очень ветхий, в котором жил уже лет 30; наш Печерин, оказывается, также бывал в Одессе. У старика одна нога была контужена, и он почти не двигался; изредка он приписывает две-три строки в письме Пояркова, вроде следующих: «Милей друг Валодя я болен нагою мались за меня богу даю тебе мое благославление атец твой Сергей Печерин». При нем находился старый слуга Никифор, без сомнения, крепостной, в студенческие годы живший при молодом Печерине в Петербурге; после смерти старика, случившейся 18-го августа 1866 года, Поярков поместил Никифора в городскую богадельню.-Мы

узнаем также, что Печерин хорошо знал Киев и Подольскую губернию; Поярков, может быть, по его просьбе, сообщает ему о судьбе различных его родственников за истекшую четверть века и пр. Вообще, эти письма до некоторой степени проливают свет на семейную обстановку Печерина. Так, прося его о присылке автобиографических сведений, Поярков прибавляет: «Все усилия мои пополнить скудные мои сведения о вашем прошлом словесными беседами с дедушкою (т.-е. отцом Печерина) не привели ни к какому результату, так как старик не только не знал, но и не подозревал значения и сущности той среды, в которую вы были поставлены воспитанием и выбор которой, сколько можно догадываться, шел вразрез намерениям вашего батюшки». В другой раз он пишет (в июле 1867 г.): «Я медлил ответом на последнее ваше письмо... Я и теперь затрудняюсь отвечать на ваше письмо, потому что вполне понимаю, какие тяжелые чувства бужу в вашем воспонимании о детской обстановке. Мне тем труднее взяться за это, потому что придется сознаться, что и конец был продолжением начала. Чтобы слова мои не показались неправдою, прилагаю при сем случайно уцелевшую у меня из груды подобных записок последних годов. Я вполне понимал главную причину оставления вами России. Картина обстановки вашей в домашнем быту так наглядна, что не только вы бы не примирились с нею до сих пор, но даже для нас было более нежели тяжело,—для нас, где в большей части окружающее того же колорита».

Поярков часто и подробно сообщает Печерину о ходе земской, судебной и других реформ; впрочем, как видно из писем, Печерин в это время постоянно читал русские газеты. Повидимому, в своих письмах к Пояркову он говорил о «демократическом» назначении России, потому что Поярков, поклонник Каткова, отвечает ему: «Демократическое назначение нашей родины прививается что-то очень плохо... Нет, не наша задача осуществить демократизм» и т. д. Печерин также, очевидно, спрашивал, действительно ли, как можно судить по газетам, социализм в последнее время сделал большие успехи в России. Как он вообще смотрел на политический режим России и на производимые в ней реформы, показывают следую-

щие строки из письма Пояркова к нему от 18-го марта 1870 года: «Сравнивая строй управления Англии с нашим, вы останавливаетесь на мысли, что могут ли все реформы наши достигать желаемого результата при изменчивости наших законоположений...» Эту самую мысль Печерин мимоходом выразил в отрывке из своих воспоминаний, напечатанном в 1870 г. в «Русском Архиве»; перечисляя науки, необходимые для русского народа, он доходит до юриспруденции, но останавливается: «Ну, тут, кажется, надо еще немножко подождать, когда у нас будут законы, а то из чего же тут хлопотать? Какое тут законоведение, когда вы не уверены, что вчерашний закон не будет завтра же отменен?..».

Наконец из писем Пояркова мы узнаем, что Печерин в эти годы писал свою автобиографию. Толчком к этому послужило напечатание в 1865 году в аксаковском «Дне» приведенного выше стихотворения. По словам Пояркова, оно произвело глубокое впечатление на его одесских знакомых; в обществе заговорили о Печерине: «Он наш; отдайте нам его. Он наш потому, что не изменил служению мысли даже в то время, когда свободно бродил только зверь, а человек ходил пугливо... Он—та самая краса, которой он сам так тщетно искал, но внутреннему голосу которой так искренно служил». От Пояркова требовали подробностей о жизни Печерина, и вот он решился обратиться к последнему с просьбою—в письмах частями рассказать ему свою биографию, которую Поярков намерен был затем напечатать. «Только таким путем,—писал он,—я могу удовлетворить общему желанию и только этим путем до вас дойдут в печати все отклики сочувствия к вам русских».

Печерин не заставил себя долго просить. В конце октября Поярков уже благодарит его за присылку первого автобиографического письма и стихотворений; затем последовала, очевидно, целая серия таких писем, хотя и с большими промежутками. За два года (к половине 1867 г.) Печерин довел рассказ до своего от'езда из России; продолжал ли он свои записки и дальше, по письмам Пояркова нельзя установить. С своей стороны, Поярков усердно собирал все, что имело отношение к жизни Печерина: забрал к себе все его письма к ро-

дителям, разыскал у старика юношеские письма В. С. и из письма от 23-го марта 1836 г. узнал, в каких томах «Московского Наблюдателя» и Плюшаровского Словаря были напечатаны его произведения, расспрашивал Никифора об их петербургском житье и с его помощью разыскал идиллию Печерина «Руфь» без обозначения года (она неизвестна нам), наконец, нашел его портрет масляными красками, неизвестно когда присланный. «За неимением портрета моей матери,—пишет он,—ваш портрет, напоминая мне вас, напоминает мне и ту, которая учила меня любить вас и благоговеть перед вашим именем. Она говорила мне: есть в нашем роде и почетные, и достаточные, но только один светильник».

Осенью 1867 г. Печерин прислал Пояркову рекомендательные письма к старым своим друзьям, Никитенке и Ф. В. Чижову. С первым Поярков виделся в декабре этого года, со вторым—в Москве летом следующего. О Чижове он писал Печерину: «Он полон самых задушевных воспоминаний о вас... Он сам хотел писать к вам и уверить вас, что в Москве есть кружок, помнящий вас и любящий вас». Чижов просил Пояркова в следующий приезд привезти имеющиеся у него материалы для биографии Печерина; писал ли он об этом и самому Печерину, мы не знаем, но в ноябре 1870 г. Поярков сообщает Печерину, что согласно его, Печерина, письму, отправил Чижову эти материалы: «Ф. В. Чижов просил меня прислать ему не только те письма, которые вы назначили (вероятно, автобиографические), но все, что только я имел, обещая в целости и сохранности возвратить их мне, как принадлежность моего семейства. Поэтому я привел в порядок, подшил и отправил ему все, что имел, и обещал ему сообщать также и последующие ваши письма». Дело в том, что Чижов, очевидно, собирался напечатать автобиографию Печерина в каком-либо из русских журналов. Попытки к этому делались, повидимому, уже и раньше; по крайней мере, еще весною 1866 года Поярков, говоря в письме к Печерину о положении печати в России, прибавляет: «Петербургские редакции затруднились даже напечатать ваши воспоминания», и дальше в том же письме сообщает, что «Современник» и «Отечеств. Записки» охотно берутся напечатать статью из его, Печерина,

сочинений. Старания Пояркова, как видно, оказались безуспешными, и теперь за дело взялся Чижов. Действительно, в 1870 году он напечатал в «Русском Архиве» те воспоминания Печерина о баронессе Розенкампф, которые мы выше не раз цитировали. Это, повидимому, порадовало Печерина: он захотел увидеть в русской печати и остальные свои записки. В апреле 1872 г. Поярков сообщает ему содержание письма Чижова: в этом году едва ли удастся осуществить печатание, по цензурным причинам; а в августе того же года пишет: «Предположения ваши о печати, по моему мнению, очень осуществимы, и я сообщил их Федору Васильевичу». На этом, повидимому, дело и остановилось; только еще в том же «Русском Архиве» за 1871 год появилось частное письмо Печерина о классицизме, вероятно к Чижову; мы вернемся к нему ниже [1]).

Под 28-м сентября 1865 года Никитенко отметил в своем «Дневнике»: «Получил премилое письмо из Дублина от Печерина» [2]); 14-го октября он отвечал ему: «После более четверти столетия я встречаюсь с вами лицом к лицу в заочной беседе, бесценный Владимир Сергеевич. Я праздную в моем сердце это святое возрождение нашей дружбы», и т. д. Сохранившиеся письма Никитенка к Печерину обрываются на 1869 годе. Из них видно, что Печерин сообщал Никитенке о своих лингвистических исследованиях, вероятно, по арабскому языку. «В последнем письме вашем,—пишет Никитенко,—вы сказали о ваших изучениях и труде, который должен быть плодом их. Боже мой! думал я и думаю, что если бы возникшее из этих великих и обширных изучений было явлено свету на русском языке и внесено было в сокровищницу русской небогатой еще науки!» Печерин в это время обу-

---

[1]) Чижов, как видно, не вернул Пояркову, умершему около 1873 г., печеринских бумаг, и они находятся, вероятно, среди Переписки Чижова, переданной в 1878 году его душеприказчиком, С. И. Мамонтовым, на хранение в Румянцевский музей с разрешением вскрыть не ранее 40 лет со дня смерти Чижова (ум. 14-го ноября 1877 г.). Обильный материал для биографии Печерина находится также, несомненно, в Дневнике Чижова (19 книг и тетрадей), поступившем тогда же в музей на тех же условиях.

[2]) Никитенко, III, стр. 48.

чал русскому языку Аткинсона, будущего переводчика русских классиков; он спрашивает у Никитенка советов насчет учебников русской грамматики и истории русской литературы, сообщает ему отзывы англичан о русской литературе, между прочим, о Крылове. Его письма и рассказы Пояркова удостоверяют Никитенка, что Печерин при всех треволнениях и превратностях жизни «сохранился в своем типе», и, вспоминая давно минувшие годы, он говорит о нем и о себе: «Применение к Дон-Кихоту не к вам одним относится. Разве и я не был таким же Дон-Кихотом? Вы были весь пыл и решимость; я был сдержаннее и, если можно так выразиться, скептичнее вас». Уже вскоре после возобновления переписки Печерин прислал Никитенке свой портрет, и Никитенко писал в своем «Дневнике» 1-го ноября 1865 г.: «Письмо и фотографическая карточка от Печерина из Дублина. Сколько воспоминаний соединяется с этим милым лицом, которое, судя по портрету, мало изменилось! Та же мягкость в чертах, то же добродушие, то же умное, оригинальное выражение во всем складе лица. А в письме его сколько наблюдательности, ума и знания, приобретенного наукою и опытом! О России он говорит с любовью, хотя не видно, чтобы он желал возвратиться в нее». А что переживал в эти годы Печерин, показывают следующие строки из письма к нему Никитенка, писанные четыре года спустя: «Грустно было мне читать те строки вашего второго письма, где вы с такою трогательною прелестью говорите о вашем печальном одиночестве. Кроме богатств ума, знания, идей, вам природа дала еще другое великое богатство—богатство благородного, любящего сердца, и я понимаю, как должно быть для вас тяжело оставаться одиноким посреди всей этой роскоши и блеска».

XVIII.

Я упоминал уже, что библиотека Печерина в половине 80-х годов поступила в Московский университет. Она не велика—в ней всего 183 названия. Просматривая ее каталог, нельзя догадаться, что она принадлежала католическому монаху: это—небольшая, но хорошо подобранная библиотека

русского ученого-лингвиста, человека просвещенного, интересующегося современной умственной жизнью Европы и освободительным движением в России, любящего поэзию. Сочинений, касающихся католического богословия или католической церкви, здесь всего 4—5. Наибольшее число книг относится к области языковедения и классической литературы; первое место по количеству занимают грамматики, хрестоматии и словари персидского, санскритского, индусского, сирийского, еврейского, бенгальского и особенно арабского языка, которым, очевидно, всего больше занимался Печерин в 60-х годах: среди этих книг находятся две каллиграфически написанные им самим арабские рукописи—перевод Евангелия от Матфея на 190 страницах, и другая под заглавием: Horae Arabicae, 1862—1863, Dublini, на 115 листах. Второе по количеству место принадлежит многочисленным изданиям греческих и римских классиков, и здесь любопытно отметить, что как-раз в 60-е и 70-е годы Печерин приобретает новые, полные издания их. Третье место занимают русские книги, исключительно (если не считать посмертного издания сочинений Пушкина) 1860—1880 годов. Это по преимуществу заграничные издания; если возможно, что Герцен и после 1853 года продолжал присылать Печерину свои издания, то «Записки» П. Долгорукова 1863 г., его же брюссельский «Листок» 1862 г., «Вперед» за 1876 г. и пр. Печерин выписывал, конечно, сам. Мы находим здесь сочинения Лермонтова, Достоевского, Писемского, «Войну и мир», «Дым» Тургенева, песни Рыбникова и пр., отдельные нумера «Рус. Арх.», «Вестн. Евр.» и «Отеч. Зап.» 1869—1882 г.г., даже Евангелие по-русски именно 1862 г. и Библию того же года. Затем надо поставить небольшое собрание европейских поэтов: Гейне, Шиллера, Гёте, Тассо, Ариосто, Данте, Камоэнса и пр., все в подлинниках, и небольшую же группу книг, особенно характерную для умонастроения Печерина в последний период его жизни: Бюхнер, Фейербах, Ренан и Штраус 1861—1876 г.г.

У нас так мало сведений, по которым мы могли бы судить о мировоззрении Печерина в эти годы, что мы не должны пренебрегать и такими сухими статистическими данными. Еще любопытнее пометки Печерина на полях его книг.

Вот сборник посмертных статей Герцена 1870 г. Печерин подчеркивает слова Герцена о Чичерине: «он считал правительство гораздо выше общества и его стремлений», и на поле своим красивым, четким почерком приписывает: «А может быть и правда». Против рассказа о революционной деятельности Бакунина в 40-х годах, где Герцен называет его одною из тех личностей, «мимо которых не проходит ни современный мир, ни история», Печерин, подчеркнув эти слова, пишет сбоку: «А много ли об нем останется в истории?» В четвертой части «Былого и Дум» 1866 г. он подчеркивает слова Герцена (по поводу влияния Маццини на итальянский народ): «Не разум, не логика ведет народы, а вера, любовь и ненависть», и делает к этим словам выноску: «Не чистым разумом живут народы, а святыми преданиями, баснями—зачем же вы это забываете, Герцен?» Он подчеркивает у Гейне (1869) стих: Meinem eignen Stern vertrauend—он сам так долго верил в свою звезду! Против слов: eine welterlösende Idee, он саркастически ставит два восклицательных знака; он отмечает слова: Denn nicht der Muth, sondern die Geduld regiert die Welt, и подчеркивает стихи:Suchte ich die Zeit zu tödten mit Gedanken. В «Кто виноват» он отмечает слова Дмитрия Яковлевича (ч. II, гл. 4), сказанные точно о нем: «Просто сердцу и уму противно согласиться в возможности того, чтоб прекрасные силы и стремления давались людям для того, чтобы они раз'едали их собственную грудь», как и аналогичные две строки несколько выше.

Но всего характернее те отметки, которые дают понятие о том, как он теперь относился к революционному периоду своей жизни, к тем годам, когда «его звезда вела его в Париж». Он с явным сочувствием читал у Герцена едкую характеристику «хористов революции», революционной толпы, усвоивающей лишь риторическую сторону движения, людей «с огромными притязаниями, но без выдержки и силы на труд»; эти слова он подчеркнул, как в другом месте подчеркнул слова: «желание сильных страстей, громких дел», и в «Кто виноват» 1859 г. слова: «Нельзя, да и не нужно всем выступать на первый план», и ниже: «Наша жажда видных и громких общественных положений показывает великое не-

совершеннолетие наше». Очевидно, от тех лет он сохранил глубокое отвращение к французам: он подчеркивает все строки, где Герцен бичует фразерство французов, их пустоту и любовь к эффектам. В том месте «Посмертных статей», где Герцен рассказывает о своем свидании с Ледрю-Ролленом, уверявшим его, что Париж совершенно готов и революция уже все равно что сделана—la révolution est faite: c'est clair comme bonjour, Печерин против этих слов приписал: «о, шарлатан!» Он отмечает сбоку всю длинную тираду Герцена о национальном характере французов в Alpendrücken (X, 83) и внутри ее подчеркивает: «они идут от слов к словам», «громадные стремления без возможных средств и ясных целей», «напыщенная и дутая риторика»; в 37-й гл. «Былого и Дум» он отчеркивает такую же характеристику французов-революционеров: «Ломанье, хвастовство и привычка к фразе до такой степени проникли в кровь и плоть их, что люди гибли, платили жизнию из-за актерства, и жертва их все-таки была л о ж ь». В одной книге, изданной в 1871 г., он к слову приписал на поле. «Deutsche Wissenschaft und deutsche Waffen haben Gott sei Dank Frankreich gedemüthigt!»

Чрезвычайно любопытны, как и легко себе представить, пометки Печерина на его экземпляре «Kraft und Stoff» Бюхнера (14-е изд., 1876 г.). Уже под первым предисловием он написал:

Mit Worten lässt sich herrlich srteiten,
Mit Worten ein System bereiten,
An Worte lässt sich trefflich glauben,
Vom Worte darf man kein Jota rauben.

Однако он читал эту книгу очень внимательно, многое подчеркивал и часто делал в ней пометки на полях. Там, где Бюхнер говорит о мозге, как «местопребывании души», он приписал: «Wo ist die Seele meiner Uhr?» Где идет речь о невозможности, с естественно-научной точки зрения, личного бессмертия, он замечает: «Contradictio in terminis. Was persönlich ist, ist notwendigerweise beschränkt in Raum und Zeit»; против слов Бюхнера о том, что во время сна душа человека в подлинном смысле слова уничтожается, он пишет на поле: «aber die Träume?»; в других местах он ограничивается ироническим parla come un dio или Kauderwelsch, и т. п. Но, быть может,

всего характернее пометки Печерина на полях дневника, веденного во время Ватиканского собора 1870 года знаменитым богословом Фридрихом, ярым противником курии и папских притязаний. Надо помнить, что догматы, провозглашенные на этом соборе (непогрешимости папы и непорочного зачатия), были впервые и с большой силою выставлены как-раз основателем того ордена, к которому столько лет принадлежал Печерин, и внесены им, как мы видели, в устав ордена. Пометки Печерина на дневнике Фридриха дышат горячей ненавистью ко всему папскому режиму, отвращением к своекорыстию курии и к лживости, раболепию, невежеству с'ехавшихся в Рим прелатов. Он с явным сочувствием отмечает все такие наблюдения Фридриха, все его доводы против провозглашения тех догматов, и испещряет поля книги восклицаниями вроде: «ловушка!», «quid est veritas?», «le fanatique!!», «propos de vieille femme», «sic volo, sic jubeo» (об авторитете папы), и т. п. По поводу слов Пия IX: «Le tradizione son io», он пишет: «L'état c'est moi! et après—1789 et 1792»; по поводу слов Фридриха, что католическая церковь оскудела сильными характерами, он замечает: «Zeichen des Verfalls»; когда речь заходит о богословских семинариях, он заявляет: «il est temps d'en finir avec la théologie»; упоминается ли в тексте папа Гонорий II, он характеризует его словами: «der alte Narr!» В одном месте Фридрих приводит длинную цитату из одного итальянского богословского трактата, ратовавшего за признание папской непогрешимости, и всю ее Печерин комментирует пометками вроде: «stupid child», «rhetoric!», «che rivoluzioni ha impedito il papa?» (автор доказывал, что усиление авторитета папы даст последнему возможность еще успешнее, чем доныне, предупреждать революции). Один немецкий епископ, принадлежавший к оппозиции, предвидя свое неизбежное отлучение, сокрушался только о том, что будет с его диоцезой,—Печерин замечает: «qu'elle aille au diable!» Там, где Фридрих говорит, что, может быть, нигде в христианском мире чувство права и справедливости не развито меньше, чем в Риме и папской области, Печерин пишет на поле: «verissime!» [1]) и т. д., и т. д.

---

[1]) Надо заметить, что, по сообщению procuratore римского отдела ордена редемптористов, Печерин однажды короткое время был в Риме.

Просматривая все эти пометки, несомненно принадлежащие руке Печерина (его почерк легко узнать среди многих), конечно, никто не сказал бы, что их писал убежденный католический священник; они заставляют думать, что и в начале своего монашества Печерин вовсе не усвоил «всех предрассудков своего звания», как утверждал Чижов. И здесь, и в составе своей библиотеки, и в своих письмах в Герцену, и в приведенных выше стихотворениях он является просто широко-просвещенным человеком и идеалистом чистой воды. Можно удивляться тому, что 23 года католической жизни и монашеской практики не искалечили его души и точно без следа прошли над нею. Но он и вообще представляет собою редкий образец неизменчивости характера—не только в основе, в своем упорном до конца искании «красы небесной», но и в мелочах: его последние стихотворения, на расстоянии 30—40 лет, написаны тем же размером, каким он в юности переводил Шиллеровское «Желание лучшего мира», и в них, уже стариком, он беспрестанно возвращается мыслью к той звезде, о которой он когда-то писал Строгонову и Чижову.

Выше уже было упомянуто письмо Печерина 1871 года о классическом образовании. Умное, полное изящного остроумия, написанное тем блестящим литературным языком, которым Печерин мастерски владел и спустя 35 лет после оставления России, оно любопытно, как свидетельство перемены, происшедшей во взглядах Печерина. Если Герцен в 1869 году не написал бы тех своих строк о единоспасающей силе технологии и химии, если под конец жизни он возлагал все свои надежды на «проповедь», то Печерин, наоборот, кончил примирением с духом века, признанием ценности материального прогресса. «Ты очень метко назвал себя а с к е т о м т р у д а,—пишет он:—в этих словах заключается вся суть современного мира, да этим же разрешается вопрос между классиками и реалистами. От классицизма все как-то пахнет монастырем, душною кельею, книжным ученьем, словопрением, а от реализма веет свежий, утренний ветерок пробуждающейся новой жизни». Теперь он иначе смотрел и на Россию; он оставался при старом убеждении о практичности русского народа, но уже не осуждал ее. В своих воспоминаниях

о баронессе Розенкампф, писанных в 1869 году, он спрашивает себя, почему русским не дается наука, и отвечает: потому что правительство в своих просветительных начинаниях идет наперекор народному духу. «Для русского свежего, практического народа надо бы преподавание ограничить предметами первой необходимости, практически-полезными для государственной жизни, напр., восточными языками, науками физико-математическими, медициною... Россия вместе с Соединенными Штатами начинает новый цикл в истории: так из чего же ей с особенным терпением и любовью рыться в каких-нибудь греческих, римских, вавилонских или ниневийских развалинах! Она, пожалуй, сама сумеет подготовить материалы для будущих археологов и филологов». В письме о классицизме он возвращается к этому замечанию и картинно изображает, как некий будущий филолог обессмертит себя, поставив ѣ вместо е в древней рукописи Пушкина. Vir doctissimus et illustrissimus N. N., verum reipublicae litterarum decus, eo quo pollet ingenii asumine, pro *e*, quod librariorum incuria irrepserat, nunc demum, Minerva afflante, *ѣ* feliciter restituit Vide Annot. ad *Puchkinii Opera omnia*. Editio nova et acuta, e Codice Mosquiensi vetustissimo adornata notis variarum et indice copiosissimo instructa. Lipsiae. Apud Teufesdreckium. A. D. 2871.

Характерны еще в устах католического священника следующие строки о мнимой полезности классического образования в борьбе с нигилизмом: указав на Германию, где всего больше изучали классиков и где все-таки явились и Штраус, и Фейербах, Печерин говорит: «Все это сущий вздор! Вы напрасно хлопочете, господа: ход ума человеческого затормозить нельзя. Еще прежде вас римская церковь попыталась было приостановить круговращение земли, об'явивши его опасным для веры и добрых правов; но на зло им земля все-таки вращается на своей оси... Eppur si muove!» [1]).

---

[1]) Материалы, проф. Боброва, I, стр. 170.

XIX.

Печерин жил эти годы в небольшом домике на Lower Dominick Street; при нем была большая собака, всегда сопутствовавшая ему. Он слушал исповеди и посещал больных также в другой больнице, на Jewis Street, но главная его работа была в Mater Misericordiae. Эта больница вмещала тогда около 200 больных (теперь в ней до 350). Здесь он ежедневно в 6 ч. 45 м. утра служил обедню, потом обходил палаты, утешая страждущих и причащая умирающих. Затем он возвращался к себе на Dominick Str. или шел гулять на кладбище Glasnevin, либо в ботанический сад (занятия ботаникой были его любимым развлечением и он располагал в этой области большими знаниями). В 12 час. он возвращался в больницу, неся больным утешения религии; затем он шел обедать. В его пользу было сделано завещание, по которому в последние годы своей жизни он имел право ежедневно обедать за table d'hôte в Gury's Hotel на Dame Str. В 6 час. он снова приходил в больницу, чтобы удовлетворить нужды больных.

«Такова была,—пишет преемник Печерина, нынешний капеллан этой больницы,—ежедневная рутина жизни бедного о. Печерина за 23 года, проведенные им в качестве капеллана при больнице Mater Misericordiae. Ему выпали на долю заботы о множестве больных во время холерной и оспенной эпидемий. Его любовь была так велика, что, как сказала мне на-днях сестра-настоятельница (Sister superior), за все долгое время, что он пробыл при ней капелланом, она ни разу не слыхала от него недоброго замечания. Не в меньшей степени проявлял он и другие добродетели—смирение, благоразумие, терпение и пр. Он отличался чрезвычайным усердием и точностью в исполнении трудных обязанностей своего звания. Его обязанности были те же, каковы мои теперь, и я могу вас уверить, что они не легки. Ежедневный обход больных; исповедание больных всякого рода; духовная помощь при несчастных случаях; постоянная возможность внезапного вызова к больному; ночные посещения, ранняя обедня и т. п., и т. п.,—все это, хотя подлинно весьма утешительное, весьма

святое, весьма духовное дело, тем не менее, физически очень тяжело».

В одном из своих писем к Печерину Никитенко говорит о себе, что единственное, что он сохранил в злополучном крушении своих надежд и стремлений, это—некоторое мужество, «готовое, между прочим, без ропота пожать то, что посеял».

Этим мужеством в высокой степени обладал и Печерин. Все, что мы знаем о нем за его последние годы, свидетельствует, что он доживал свою жизнь с ясным сознанием мира и самого себя, в кротком самоотречении. Каково было это сознание, показывают следующие его стихи, написанные несомненно в начале 70-х годов [1]):

Прочь, о демон лучезарный,
Демон счастья и любви!
Искуситель-мир коварный,
Вспять страдальца не зови!
Хитрая сирена-младость,
Давних песен мне не пой!
Кровных уз святая сладость,
Мне не внятен голос твой!
За небесные мечтанья
Я земную жизнь отдал,
И тяжелый крест изгнанья
Добровольно я под'ял.
Под венком моим терновым,
В поте бледного лица
Подвиг трудный и суровый
Совершу я до конца.
И, как жертву примиренья,
Я принесть себя готов
На алтарь Твой всесожженья,
О превечная Любовь!
Жизни бурной треволненья
Претерпев, о мой челнок,
В пристани уединенья
Приютися, одинок!
Слышь! от всех концов вселенной
Голос тайный вопиет:
«Все земное—прах! все—тленно!
«Все, как дым, как тень, пройдет!»

---

[1]) Рус. Стар. 1876, июль, стр. 454.

Этот вопль, повсюду слышный,
К нам из рода в род гремит:
Соломон в чертогах пышных
«Суета сует!» гласит.

Карл, властитель величавый,
Блеском царского венца
Утомлен, от шума славы
Скрылся в келье чернеца.

Тяжкую сложив порфиру,
Саван смерти он надел,—
Взгляд прощальный бросив миру,
Заживо себя отпел.

А годы шли, наступила старость: Печерин приближался к семидесяти годам. Все дальше уходила земная жизнь, и одна за другою обрывались последние нити, связывавшие его с миром; умер отец, прекратилась переписка с Никитенкой, умер и Поярков. Только с Чижовым Печерин, повидимому, поддерживал еще деятельную переписку. Среди его бумаг сохранилось стихотворение, написанное 4-го мая 1875 года. Оно поразит читателя. Эти строки писал человек, отрешившийся от всего тленного, поднявшийся до крайней грани, где уже нет ни раскаяния, ни желания, ни страха,— почти бесплотный дух, легкий, светлый и радостный.

Чижову.

Легкое подняв ветрило,
В утлом челноке, один,
Я плыву, о друг мой милый,
Вдоль таинственных пучин.

Волны плещут предо мною,
Солнце над главой блестит
И, качаемый волною,
Быстро мой челнок летит.

В отуманенное море
Бросил я свою ладью,
На привольи, на просторе
Беззаботно я пою:

Eh! vogue ma nacellé!
O doux zéphyr, sois moi fidèle!
Espérance!
Confiance!
Le refrain
Du pélerin.

Наконец в ноябре 1877 года умер и Чижов. В кожаной папке Печерина лежит его последнее письмо к Чижову от 23-го января н. ст. 1878 г., с почтовой пометкой о возвращении в Дублин за смертью адресата. «Наконец всякому терпению есть конец,—пишет Печерин.—Скажи, ради Бога, что сталось с тобою, любезный Чижов. Твое последнее письмо лежит у меня на столе. Оно от 10-го октября, а теперь по-вашему 11-е января, стало быть, целых три месяца. Ты никогда не оставлял меня так долго без отзыва. Что же значит? Если ты так сильно болен, что писать не можешь, то ты мог бы уведомить меня чрез какое-нибудь третье лицо. Не забудь, что ты единственная и последняя нить, связывающая меня с Россией, если она порвется, то все прощай. В крайнем недоумении, не зная ни как, ни что, я больше писать не могу и с нетерпением буду ожидать ответа. Твой В Печерин».

Выше я цитировал письмо нынешнего капеллана больницы Mater Misericordiae. Изобразив деятельность Печерина в этой больнице и распорядок его жизни, он продолжает: «О. Печерин выдержал эту жизнь 23 года, и затем вдруг с ним сделался припадок Брайтовой болезни. Пролежав около двух месяцев в больнице Mater Misericordiae, он решил вернуться домой на Dominick Str., где и умер спустя два дня. Тело его было перевезено назад в больницу, куда в день его похорон стеклась огромная толпа народа. На отпевании и торжественной мессе присутствовало более 100 священников. Похоронное шествие направилось к Гласневинскому кладбищу, где ему приготовили могилу неподалеку от колоссальной круглой башни, обозначающей место успокоения одного из величайших сынов Ирландии, Даниэля О'Коннеля. Могила о. Печерина расположена чрезвычайно живописно, почти в тени этого великого монумента. На его могиле сестры милосердия, заведующие больницей Mater Misericordiae, воздвигли надгробный камень; на камне следующая надпись:

Erected by
the Sisters of Mercy
to the memory of
The Rev. Vladimir Petcherine
23 years chaplain

to the Mater Misericordiae Hospital.
Died 17-th April 1885.
Aged 79 years.
R. I. P.

(«Поставлен сестрами милосердия в память о. Владимира Печерина, состоявшего 23 года капелланом больницы Mater Misericordiae. Умер 17-го апреля 1885 года, 79-ти лет. Да почиет в мире»).

«Каждый указывает на это место, как на могилу того священника, который был обвинен в сожжении библии. Он оставил завещание, в котором из'явил волю, чтобы все его книги, бумаги, сочинения и пр. были отосланы назад на его родину; у него их было большое собрание. Свою одежду и свое тело он завещал настоятельнице Mater Misericordiae, равно как и несколько вещей, напоминающих о его привычках, мортификациях и добродетелях. Эти вещи до сих пор хранятся у той же сестры-настоятельницы, а его книги, бумаги и пр. русский консул отправил в Россию. В его последние годы в нем выросла (grew) сильная любовь к его родине; он дорожил малейшей вещицей, которую получал из России, и часто чувствовал себя очень одиноким, живя вдали от родной страны, хотя и пользуясь уважением и почетом в своей приемной родине Ирландии, где он нашел приют среди своих единоверцев, до сих пор чтущих священную память этого великого священника».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Н. В. Станкевич.

I [1]).

Станкевичу идет 20-й год (он родился в 1813-м) Он мил, изящен, умен и беззаботен. Со стороны глядя, можно подумать, что он счастлив и живет непосредственно всем существом. Но это не так: едва заметная трещина уже бороздит его ясный образ. Ему чего-то недостает, какое-то неясное чувство томит его минутами. Что же это?—Это избыток душевной энергии, не находящей исхода, не тяжкая мука душевного страдания, а светлая, опьяняющая грусть, от которой сердце ширится и на глазах выступают слезы.

Душа полна через край, хочется перелить в чужую душу избыток чувства, но люди или не понимают, или скажешь совсем не то, что хотел сказать, «потому что человек, которому говоришь, как-то самым видом своим сбивает сказать не то, что чувствуешь, а другое». Пришел с лекций, подурачился, поболтал с товарищем, послал Ивана в книжную лавку за книгой, а сам, переодевшись, сел к столу, раскрыл Коха и... задумался; что-то проскользнуло по душе, что-то в ней зашевелилось, и быстро, как летнее облако, надвинулось знакомое чувство—полу-грусть, полу-вдохновение. Невыносимо! Пробуешь излить душу в стихах—стихи не кле-

---

[1]) Письма Станкевича изданы впервые П. В. Анненковым в 1858 г. и гораздо полнее А. И. Станкевичем в 1914 г. Его Сочинения (стихи и проза) изданы А. И. Станкевичем в Москве, в 1890 г. Настоящий очерк основан преимущественно на материале писем; кроме цельных выдержек, отмеченных кавычками, мы очень часто пользуемся в тексте отдельными выражениями писем, не указывая этого.

ятся, возьмешь аккорда два на фортепиано, но звуки режут слух,—а сердце сильно бьется, на глазах слезы, и, кажется, одно небольшое напряжение, и чувство хлынет наружу. Станкевич определяет это душевное состояние, как безнадежность соединиться с тем, к чему душа стремится; а что это, к чему стремится его душа, он не знает. Счастлив, кто в такие минуты сильно полюбит, еще более счастлив художник, который разрешает это хаотическое чувство, воплотив его в стройном созданiи. А Станкевич не поэт и не любит; оттого его волнение бесплодно перегорает внутри и мучит.

Станкевич сам спрашивает себя, почему на него часто находит эта тоска, и перебрав разные причины—болезнь, заботу об экзаменах и пр.—решает положительно: потому, что он живет

Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

Его жизнь кажется ему сухой, скучной, досадной: «душа просит воли, ум пищи, любовь предмета, жизнь деятельности». Иначе сказать, избыток чувства ищет овеществиться: ему нужно из смутного волнения превратиться в определенное у п о е н и е.

Для человека, который, как Станкевич, лишен творческого дара, упоение вне любви достижимо лишь пассивным путем: он неспособен изнутри доводить свое чувство до гармонического аккорда, ему нужен для этого внешний стимул. Наилучшим таким стимулом является искусство. Переживая вслед за поэтом или его героем волнующие их ощущения, душа живет полною жизнью, избыток чувства неопределенного, хаотического, выливается в реальные, хотя и чужие, формы, мучительная своей бесформенностью Sehnsucht уступает место стройной, осмысленной полноте чувства. Он советует Неверову прочитать два стихотворения Козлова: «На от'езд» и «Новые стансы». «Когда душа твоя будет в неопределенном грустном состоянии, прочти их: ты сосредоточишься, и тебя обнимет грустное, гармоническое чувство. Я вчера сидел неподвижно, повторяя стихи гладкие и задумчивые!» Он—не Миньона, его не обманула любовь, безна-

дежность не воскрешает пред ним детских воспоминаний об Италии,—но, слушая песнь Миньоны, он глубоко переживает ее страдания и тоску, он готов схватить друга за руку и сказать:

Dahin, dahin
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.

Действительность не дает никакого удовлетворения его повышенному чувству, и он отворачивается от нее, чтобы всецело погрузиться в искусство или задушевную беседу с другом: здесь полный простор мечтам о такой жизни, где все—красота и упоение. «Приходи ко мне—пофантазируем», такие записочки он пишет Неверову. Оттого же он любит театр: «Излить свои чувства некому—там, в храме искусства, как-то вольнее душе... Театр и музыка располагают душу мечтать об искусстве, о его совершенстве, о прелести изящного, делать планы эфемерные, скоропреходящие... но тем не менее занимательные».

Так это напряженное, бесформенное чувство, не находя себе об'екта в жизни, питается мечтами. Станкевич сам хорошо знает, что «прекрасное» его жизни—не от мира сего. И то, что он это знает, есть, на-ряду с избытком бесформенного чувства, его вторая отличительная черта. Он сильно чувствует—и тонко анализирует себя в самый момент волнения; в нем столько же рефлексии, сколько непосредственности. В результате получается такого рода двойственность: он живет мечтами, но в то же время смотрит на них со стороны. Он знает, что они призрачны, но он любит их, ему сладко с ними, и он играет ими, как дитя игрушками, и не хочет с ними расстаться, потому что вне их—скучная проза жизни. 1-го января 1834 года, перед тем как ехать на бал в Благородном собрании, он в разговоре с одной знакомой жаловался на долгое молчание Неверова; та вздумала утешить его предположением, что Неверов, может быть, в дороге—едет в Москву. Предположение было нелепо, и Станкевич совершенно не верил ему, но оно было так соблазнительно, а Красов, склонный верить всему чудесному, так горячо доказывал его вероятность, что Станкевич был увлечен. Рассказывая об этом на следующий день в письме Неверову, он пишет:

«Я видел, что это мечта, но она мне нравилась, очищала мне душу своей торжественностью», и ему стало грустно, когда тлетворный воздух бала спугнул его мечту. Вспоминая стих немецкого поэта: Nur der Irrtum ist das Leben он проговаривается: «А может быть, то только и есть Wahrheit, что мы называем Irrthum. Впрочем, если и нет, то наше мечтательное счастье лучше действительного уже и потому, что мы, вероятно, наслаждения в этом так называемом счастии не нашли бы». Любопытное признание и верное пророчество: оно не замедлит оправдаться на самом Станкевиче.

Та, если так можно выразиться, платоническая полнота чувства, которую давали искусство, фантазирование и дружба, разумеется, не могла насытить алчущей души, тем более, что развитое сознание безошибочно определяло сравнительную ценность мечты и жизни. Здоровый инстинкт минутами внушал отвращение к бесплотным теням, населявшим душу; хотелось живой, определенной, личной страсти, в которой перегоравшее внутри чувство нашло бы себе полное воплощение,—хотелось любви. Он мечтает о разгульной грозе, которая пронеслась бы над жаждущей душой, о страсти пламенной и бурной: «Пускай бы опустошительный огонь ее прошел по всему ничтожному бытию моему, разрушил слабые узы, которыми оно опутано, испепелил томительное горе и рассеял беспокойные призраки, блуждающие во мраке душевном! Я бы воскрес, я бы ожил! Если б эта любовь была самая несчастная... кажется, все я был бы лучше».

Как-раз в это время у него завязывается «деревенский роман». Девушка, повидимому, искренно любит, да и сам Станкевич увлечен. Но странное дело: вместо того чтобы отдаться страсти, как можно было бы ожидать, он с первой же минуты враждебно настораживается против нее. Он начинает испытывать девушку: он «решается на всякий случай сначала переменить обращение», чтобы определить, не есть ли ее чувство—простой интерес; ради искуса он удаляется от нее и тем доводит ее до слез, но и слезы не побеждают его скептицизма, потому что они могут быть следствием раздраженного самолюбия. Наконец он кладет резолюцию: она мила, но не имеет глубоких чувств, и, значит, он не может ее любить. Но

девушка увлечена и страдает; спрашивается, что же он должен сделать? «Теперь,—пишет он другу—два крайних вопроса метафизических решены: Was kann ich wissen, was darf ich hoffen; остался средний: Was soll ich thun?» Принять ее любовь он не считает себя в праве, порвать отношения—значит причинить ей сильную боль. После долгих колебаний и нескольких мучительных сцен он решается кончить роман мирным разрывом.

В этом эпизоде для нас важно не то, что Станкевич не полюбил своей знакомки,—в этом человек не волен,—а то, что, ощутив приближение действительного чувства, он поспешно ретировался. Вся его хитрая расчетливость—не что иное, как средство замаскировать собственную трусость; очевидно, любовь манила его лишь в отвлечении, реальная же страсть пугает его пуще всего. Дело в том, что «мечты», как ни ясна ему их призрачность, уже успели стать той атмосферой, вне которой ему трудно дышать. Только в них он находит ничем не возмущаемую красоту и безграничный простор, действительность же давит его грубой законченностью своих форм и оскорбляет примесью прозы во всяком проявлении красоты. Поэтому, едва коснувшись жизни, он бежит от нее назад, в привольный мир неопределенных чувств, смутного волнения, мирных и красивых фантазий, где нет ни уз, связывающих навеки, ни резких очертаний. И он оправдывает это бегство сознательно: прилепиться к чему-нибудь единичному и реальному представляется ему изменой высшему назначению человека; как ни сладко, «исторгшись из скуки жизни, отдохнуть в обьятиях тихого существа», он должен бежать этого счастия, чтобы не сбиться с пути. Два цветка, говорит Шиллер, манят человека: надежда и наслаждение; кто сорвал один из них, тот не получит другого. А для него без надежды нет счастия, ибо надежда есть сознание своего права на счастие, своей правоты; значит, он должен навсегда отречься от наслаждения. Это сознание наполняет гордостью его сердце: он—мученик за идею, ему суждено, отказавшись от пошлого счастия толпы, всю жизнь стремиться к идеалу без надежды достигнуть его. Станкевичу, вероятно, не слишком трудно было расстаться с той девушкой, но он чувствует себя героем:

«Как отрадно разбить упоительный сосуд, поднесенный любовью, и сказать: я выше толпы счастливцев, я имею право сделать упрек судьбе...». И он наивно прибавляет: «Есть прелесть в отчаянии, с которым смотришь на прелестное создание, с которым никогда, никогда не соединишься, с которым разлучила тебя твоя мысль, высокая, благородная!».

Эта искусная апология, очевидно, в принципе освящала бегство от действительности. Сейчас речь шла только о любви и личном счастии, но принцип допускал приложение ко всякому факту жизни. С той точки зрения, на которую становится здесь Станкевич, принятие любого реального момента оказывается изменой идеалу и, стало быть, единственное достойное человека призвание заключается в том, чтобы растить и холить в себе самодовлеющие идеалы. Еще до «деревенского романа» он так изображал «подвиг жизни»:

Когда любовь и жажда знаний
Еще горят в душе твоей,
Беги от суетных желаний,
От убивающих людей.
Себе всегда пред всеми верен,
Иди, люби и не страшись!
Пускай твой путь земной измерен—
С непогибающим дружись!
Пускай гоненье света взыдет
Звездой злосчастья над тобой
И мир тебя возненавидит:
Отринь, попри его стопой!
Он для тебя погибнет дольный;
Но спасена душа твоя!
Ты притечешь самодовольный
К пределам страшным бытия.
Тогда свершится подвиг трудный:
Перешагнешь предел земной
И станешь жизнию повсюдной—
И все наполнится тобой.

Но если так, во что же обращается жизнь? что такое действительность?

В его глазах она лишена самостоятельного значения; она—не что иное, как поставщик сырого материала, из которого дух творит свои идеалы. Минутная любовь, пережитая

Станкевичем, сослужила ему свою службу: в его фантазии «невольно составился» чудный идеал, «прототип женщины», сосредоточивший в себе все, что мир представляет светлого, божественного. Если голод сердца и не совсем утолен этим призраком—что делать! надо терпеть и не унижаться до примирения со скудной действительностью.

Теперь Станкевич сам определяет свое состояние, как разрыв с миром. Его идеализм скрывает в себе внутреннее противоречие: это не победа над жизнью, а только ссора с нею. Станкевич сознает, что жить всей полнотой чувства в реальном он не способен, потому что слишком привязался к своим призракам, не может не прикидывать жизни на их мерку и, значит, не может не видеть ее несовершенств; но он готов проклинать этот свой скептицизм, делающий для него невозможным блаженство. Неискоренимое чувство, помимо всяких рассуждений, говорило ему, что здоровое, человечное, истинно радостное—только в одном: в бодром наслаждении действительной жизнью, в реальном личном упоении, т.-е. в том именно, что стало для него уже невозможным. С горечью говорит он о своем демоне-мучителе, о враждебном духе, льющем отраву на лучшие дни его жизни. Его душа, говорит он, была расположена все любить, все обнимать, но, пространствовав, еще недолго, по миру, она, огорченная, вернулась и заперлась в себе: скучно без мира, скучно и в мире! Если бы не прекрасные призраки, ласкающие его порою, ему нечем было бы жить; но это не призраки желаний, а просто игра души с самой собою: это—жажда чего-то высшего, не знающая определенной цели, она спасает душу от усыпления, но не может дать ей крыльев.

Из этой коллизии нужно было во что бы то ни стало найти выход, потому что она грозила моральной смертью. Очевидно, что отречься от одного из двух элементов в пользу другого для Станкевича было невозможно: он слишком сжился с мечтою, чтобы удовлетвориться пошлой действительностью, какова она есть, и слишком ясно сознавал бесплодность мечты, чтобы, отвернувшись от жизни, всецело замкнуться в мире своих призраков. В этой разорванности между двумя мирами нельзя было жить. Нормальный ход

развития неизбежно должен был привести к синтезу, в котором идеальное и реальное органически претворились бы в одно целое, и Станкевич хорошо понимал это. Стремление выработать в себе цельность духа, без которой для человека немыслима никакая разумная жизнь, становится для него вскоре главной задачей. Ему придется истратить на эту работу немало лет, понадобится для исцеления еще одно тяжелое столкновение с действительностью, и цели он достигнет иным путем, чем думал,—но основной вопрос уже теперь ясно стоял пред его сознанием. Мало того: в теории все элементы положительного мировоззрения уже были у него налицо,—оставалось только оформить идеал, а главное, превратить его из мысли в прочное регулирующее чувство. Туманные идеалистические «призраки» недаром так долго обитали в душе Станкевича: они взрастили на ее благодатной почве высокие помыслы; и нам надо теперь узнать, что это была за почва и каковы были эти помыслы.

II.

Религиозное чувство неискоренимо жило в душе Станкевича. Его переписка не дает материала для определения отличительных признаков его веры, но главное ее свойство выступает с полной ясностью: это была религия оптимистическая, светлая и радостная. В основе ее лежало врожденное чувство гармонии бытия.

По своему инстинктивному отношению к вселенной все люди, от неграмотного простолюдина до ученого, делятся на два типа—грамоничный и дисгармоничный. Первый характеризуется врожденным чувством законности мирового порядка, полным согласием собственного разума с закономерностью, господствующей в природе; это—души абсолютно акклиматизированные. Если это человек, одаренный творческим гением, то его творчество представляет собою положительный полюс мировой гармонии, точку, где собраны в ослепительный пучок многие из тех лучей вечной красоты, которые действительно каждый миг мириадами играют пред нами, но которые врозь, не собранные и не отраженные художником, едва видны нашему близорукому глазу. Таков наш

Пушкин. Второй тип характеризуется врожденной дисгармоничностью, разладом между собственным сознанием и космическим разумом. Это люди с неприспособленной к миру психикой, вечно несчастные этой своей неприспособленностью; в их душе неистребимо живет сознательное или бессознательное представление о мире таком, каким он должен быть и каков он не есть, и чувства их улавливают в мире лишь те черты, которыми он уклоняется от этого идеального образа. Если такой человек—поэт, то его творчество становится отрицательным полюсом мировой гармонии, так сказать, фокусом мировых диссонансов. Таков наш Лермонтов. Каждый художник может быть подведен под одну из этих категорий, и трудно спорить, какая из них в искусстве больше служит человечеству: обе, хотя разными путями, ведут его туда, где сияет недостижимый храм ничем не омраченной красоты, ничем не возмущаемой радости. Ибо искусство не имеет другого предмета, как мировая гармония и стремление к ней; потому и Жуковский сказал: «Поэзия есть Бог в святых мечтах земли».

Под один из этих двух типов может быть подведен, повторяю, всякий человек. На низком уровне развития оба они являются нередко в полной своей чистоте, как бессознательное чувство гармонии бытия или, напротив, его дисгармонии. Но развитое сознание вносит сюда неисчислимые уклонения и порождает в обоих типах множество разновидностей. Одну из двух крайних разновидностей представлял собою Станкевич: присущее его натуре инстинктивное утверждение мира, как гармонического, было его разумом сознано и вполне освящено; чувство законности, разумности и благоденствия мирового порядка сделалось у него сознательным убеждением и в годы возмужалости составляло основу как его религии, так и его этико-философского мировоззрения. Естественно, что одна и другое были у него ярко окрашены оптимизмом.

Религия для него—прежде всего радостное утверждение мира. В ней одной все диссонансы разрешаются в гармонию, чрез нее душа примиряется с Божеством, благодаря ей жизнь снова одевается в радужные ткани, становится прекрасною и

высокою. Мир есть стройное целое, одушевленное разумом, и человек—частица этого гармонического целого; ощущать эту разумную стройность мирового порядка и свою принадлежность к ней—неискоренимая потребность человеческого духа, и это достигается чрез религию, ибо она одна в состоянии перешагнуть бездну, которая всегда остается между бесконечностью и человеком и которой не может наполнить никакое знание, никакая система.

Es herrschet eine allweise Güte über die Welt—таково любимое изречение юноши Станкевича и его основное убеждение. Знакомство с ранним учением Шеллинга помогло ему выработать себе на почве этого принципа стройное мировоззрение. Вот как он формулирует его в начале 1833 года.

Знание, основанное на вере в наши чувства, говорит нам, что природа существует. Она—целое, составленное из неделимых, и каждое из них есть часть общей жизни природы. В каждом эта жизнь действует независимо от него, почти всегда без его сознания и всегда без участия его воли, повинуясь своим законам, которые вечны и непреложны, следовательно составляют сущность ее. Но если большая часть неделимых не сознает себя, то жизнь, во всех них разлитая, сознает себя, ибо действует целесообразно. Итак, жизнь в целом есть разумение.

Роды существ составляют лестницу, по которой жизнь, сознающая себя в целом, идет к самосознанию в неделимых. Она действует равно разумно в камне и в человеке, развивается в обоих по тем же законам, но только в человеке она сознает себя отдельно. Таким образом, человек не потерян в бесконечности творения; в нем действует разумная жизнь всей природы, имеющая свою волю независимо от его воли: он рождается, растет, чувствует жажду и голод. Но это не единственное его назначение: в нем повторена природа; он так же сознает себя отдельно, как природа сознает себя в целом. Поэтому он в состоянии отожествлять себя с мировым разумом, может проникнуть его законы, провидеть его цели, чувствовать красоту мироздания: он верит, надеется, любит, он ощущает, желает знать и действовать.

Итак, человек в настоящем значении слова, т.-е. сохра-

нивший в себе все то, что составляет сущность человеческого бытия, humanitas,—есть образ Творца (Разума). В этом смысле человек не может возвышаться; он только не должен падать, должен оставаться верным своей прекрасной сущности. Но он уклонился от своего назначения: сейчас в каждом человеке, на-ряду с частицами его подлинного, божеского образа, есть низшие свойства.

Так как в человеке всеобщая жизнь отдельно сознает себя свободною и разумной, то история, очевидно, есть часть жизни природы, творимая с сознанием. Какой же путь должно указать ей сознание? иначе говоря, в чем заключается прогрессивное начало истории?

Оно заключается в очищении человека от дурных свойств, исказивших его благую природу, и в совершенствовании его, в возможно большем приближении ко всеобщей жизни. Шеллинг, считавший естественным влечением человека эгоизм, видел прогресс в улучшении средств противодействовать эгоизму, в уравновешении эгоизмов чрез действие и противодействие. Эта мысль кажется Станкевичу оскорбительной: для него история—постепенное развитие человека и общества, их постепенное воспитание.

На основе этой философской теории складывается в 1834—1835 г.г. этическое мировоззрение Станкевича. Осенью 1834 года он пишет Неверову, что прошло время, когда каждая блестящая мысль казалась ему истиной; теперь вместе с верой в возможность разрешения высших вопросов в нем умалился и научный интерес. Для него настала пора деятельности, и все сильнее и сильнее он ощущает потребность веры, т.-е. нравственных убеждений: теперь он ищет уже не одной истины, а с нею и добра. Он придает теперь небольшую цену философским системам, дорожа в них только методом; по существу же, говорит он, хороша только та система, «которая не мешает верованиям, составляющим интегральную часть человеческого существа, и содержит побуждения к добрым подвигам».

Его главное и самое задушевное, сладчайшее, как он выражается, верование—убеждение в постепенном совершенствовании личности и общества. Высшую обязанность

человека он видит в посильном содействии этому совершенствованию: «если у меня теперь есть какая-нибудь idea fixa, то это о воспитании в духе нравственности и религии, о возможности поддержать ее и об ускорении всеми силами человечества на пути его к царству Божию, к чести, к вере».

Отсюда развивается у Станкевича строго-последовательная система личного поведения. Человек должен или делать добро, или приготовлять себя к деланию добра. Делать добро—значит всеми силами способствовать восстановлению в человечестве того идеального образа, который ныне затемнен; и это священнейший долг человека. Но исполнять этот долг может лишь тот, кто сам чист, а средства исполнения указует наука; поэтому ближайшая обязанность человека—совершенствовать самого себя в нравственном, а затем в умственном отношении. Очистить свою душу и образовать свой ум, потом заключить с единомышленниками союз дружбы и чести и общими силами трудиться на пользу отечества, указывая ближним истинный путь, давая им понятие о чести, о религии, о науках,—так рисуется Станкевичу идеальный план его жизни.

А для этого главное условие—сберечь в себе душевное пламя, не дать опыту охладить в себе усердие к добру. Таких людей, сохранивших и в лета мужества благородный жар юности, Станкевич ценит выше всего. По его мысли, человек должен сознательно лелеять в себе эту небесную искру и избегать всего, что способно погасить ее. Убеждая Красова не бросать поэзии ради «дельных занятий», он пишет ему: «Пусть мал и незаметен будет художнический талант твой; но эти пламенные, искренние беседы души с самой собою не сохраняют ли ее энергии, не спасают ли ее сокровища от наития тяжких житейских смут и забот?» И то же требование он на первом плане ставит самому себе. Оглядываясь теперь на то время, когда его ум всецело был поглощен жаждой знания, он видит главный плод своих занятий не в самом познании, а в том, что «высокие предметы исследований поставили его душу выше благ мира сего», развили и укрепили в нем энергию души, направленную на добро. Он искал истины—и в этих поисках запасся побуждениями к деятель-

ности: так, говорит он, в средние века искали философский камень, и нашли тысячи целебных составов для болезней. Роковая болезнь (чахотка), настигшая Станкевича уже при выходе из отрочества в юность и часто превращавшая его жизнь в пытку, страшит его не потерей здоровья и перспективой ранней смерти: больше всего угнетает его мысль, что болезнь может похитить у него душевную энергию, что он ничего не сделает для людей. «Один вопрос я задаю себе: что я должен делать в настоящем положении? Я сделаю все, что от меня зависит. Последнее письмо твое утешило меня, наставило. Да, я буду мужем, я притерплюсь к боли; но жаль, если я сделаюсь холодным стоиком, я от себя этого не надеялся! Я трепещу при мысли, что энергия души моей погибнет невозвратно!»

III.

Итак, жизнь—подвиг. В теории это было уже окончательно решено, но слабое сердце пока еще не хотело мириться с этой безотрадной перспективой. Хотелось личного счастья, любви, и лукавая мысль подсказывала, что любовь подаст сил на подвиг. В лучшие свои минуты, весною, Станкевич ощущает пламя в своей груди, но эта теплота простирается на всю природу и потому не согревает его души. Он говорит себе, что его душевная жажда только тогда будет утолена, когда вся красота мироздания олицетворится для него в одном существе; иначе чувство истощится в тщетном стремлении к необ'ятному, к безответному: оно требует близкого, видимого, ощутительного, оно жаждет исповедаться, быть понятым и разделенным; «не пожмешь руки великану, называемому вселенной, не дашь ей страстного поцелуя, не подслушаешь, как бьется ее сердце!» Не мудрено, что стоический обет, исторгнутый у 20-летнего Станкевича печальным концом его первой сердечной истории, был очень скоро забыт; за нею непосредственно следуют две другие, из которых последняя (с Л. Бакуниной) глубоко врезывается в его жизнь и духовное развитие.

С осени 1833 года начинается сближение Станкевича с пылкой и восторженной девушкой, имени которой мы не

знаем. Он находит ее вполне достойной любви, но, хорошо помня недавний урок, принимает строгие меры предосторожности; тем не менее, девушка влюбляется в него. Он не любит ее, жалеет ее и пугается ее страстности, временно отдаляется, потом возвращается—и в конце концов запутывается в такую историю, которая способна отравить существование: тут и бешеные сцены ревности, и собственное раскаяние, и сплетни, и прямые упреки со стороны знакомых в желании увлечь и обмануть девушку. Тем временем Станкевич знакомится с сестрой М. А. Бакунина, девушкой редких душевных качеств, и сам увлекается не на шутку. Безумный поступок его экзальтированной поклонницы ускоряет ход событий: в порыве великодушия она открывает его чувство Бакупиной (они были подруги) и умоляет ее полюбить Станкевича. Действительно, здесь зарождается серьезное взаимное чувство.

История с Бакуниной продолжалась у Станкевича целых два года, до самого его от'езда из России. Было бы излишне воспроизводить здесь ее разнообразные перипетии. Станкевич то убеждается, что его не любят, то счастлив взаимностью, то с ужасом замечает, что в нем самом нет любви. Кончилось дело, однако, взаимным признанием в любви; оставалось сделать последний шаг—просить руки девушки, как этого с уверенностью ждали и она сама, и ее родители. Но тут мужество покидает Станкевича: начинается мучительный самоанализ, приводящий его к заключению, что он принял фантазию за действительное чувство. Изнуренный нравственно и физически, не решаясь открыто порвать (этого не позволяла и болезненность Бакуниной), он решается отложить развязку на долгий срок и осенью 1837 года уезжает за границу, куда гнали его также необходимость основательно полечиться и желание ex ipsa fonte воспринять философию Гегеля.

Тяжелый урок не мог пройти даром. Станкевич не мог не спросить себя, в чем заключался источник страданий, которые он сам перенес и которые причинил другим. Он так давно жаждал любви, ожидая найти в ней полноту жизни. разрешение всех сомнений, силу на подвиг добра: и вот он полюбил—и оказалось, что тревога ума ничуть не улеглась, душа не вознеслась на высоту, жизнь не наполнилась. Кто же

виновен в этом? Любимая девушка? Нет, она вполне достойна любви.—Виновен он сам: его дух еще не созрел для такой любви. Он хотел быть счастлив и думал получить это счастье внешним образом; и в этом его ошибка, ибо, чтобы полюбить, надо сначàла стать ч е л о в е к о м. «Потребность любви должна быть вызвана не бедностью души, которая, чувствуя свою нищету и будучи недовольна собой, ищет кругом себя помощи; нет, любовь должна выходить из богатства нашего духа, исполненного силы и деятельности и отыскивающего в самой любви только новую, высшую, полнейшую жизнь».

И плодом этой основной его ошибки была другая: нетерпеливо ища того, что было ему еще не под силу, он принял—и уже не в первый раз—фантазию за действительность и едва не стал добычей призрачного чувства. Правда, руководимый верным чутьем, он и на этот раз во-время спохватился, но каких страданий это ему стоило и какой горький осадок стыда и раскаяния остался в его душе! Теперь ему было ясно, что личного счастья—или, что то же, любви—нельзя искать: она, как благодать, как вдохновенье, сама нисходит на душу; мечты о ней—мечты о чуде, плод нашей воспаленной фантазии. Стань человеком, и т о г д а, может быть, любовь увенчает твою жизнь; чудо может совершиться, но его нельзя искать, иначе либо истощишь свои силы в бесплодных поисках, либо примешь призрак за действительность и погибнешь. Долг человека—исполнить свое человеческое назначение, и Божий промысел каждому подает средства на это: тому счастие, другому бедствие. В исполнении этого долга—внутреннее блаженство; правда, оно одно не насытит сердца, но внешнее блаженство не дается тому, кто его ищет. «Да! кажется нужно что-то о т м и р а для полноты этого счастья, но да будет воля Его! Я не молюсь о своем счастии,—с меня довольно быть человеком. Я говорю: Господи! буди в сердце моем и дай мне совершить подвиг на земле; и если слезящий взор обратится к нему с другою, невольною молитвою, я говорю,—но да будет не яко же аз хощу, но яко же Ты хощеши. Когда же вся тяжесть пожертвований без вознаграждения представляется мне, я прибавляю: Господи! если возможно, да мимо идет чаша сия!».

IV.

История с Бакуниной сыграла важную роль в духовном развитии Станкевича. Та двойственность стремления к чистой человечности и к личному счастию, которая доныне парализовала его усилия, исчезла; ему стало ясно, что второе невозможно без первого, и все его помыслы свелись теперь к одной цели: стать человеком. Конечная цель давно была ясна, теперь и путь к ней был расчищен. Станкевич рвался вон из России, в Берлин, где надеялся найти средства для решения своей задачи.

Мы видели выше, на чем оборвалось развитие его морально-философской мысли. Основным отличием человека среди всех неделимых, образующих вселенную, является то, что в нем одном мировой разум сознает себя отдельно или, вернее, стремится достигнуть такого самосознания. Тот, в ком мировой разум достиг полного самосознания, есть совершенный человек; он исполнил свое высшее назначение, став последним звеном в цепи существ, которыми жизнь, сознающая себя в целом, восходит к самосознанию в неделимых, он повторил в себе мир, он—микрокосм. Таков идеал, к которому человек должен сам стремиться и увлекать других, так как люди в огромном большинстве еще весьма далеки от своего назначения. Какими же средствами располагаем мы для достижения этой цели? Другими словами (так как стремление к ней есть тенденция космическая, вложенная в человека самой природою), какие силы и свойства в человеке являются субстратом предначертанного ему развития?

В религии человеку дано полное предчувствие его слияния с космосом, в искусстве—частичное. Но одного предчувствия недостаточно: необходимо, чтобы оно превратилось в сознание; и эта, опять-таки космическая, необходимость сказывается в нас врожденной жаждой знания, притом знания, сведенного к единству. Наш ум по самой природе своей стремится к совершенному согласию с самим собою, и это эмпирически-данное его свойство именно и есть та внутренняя сила, которая ведет человека к совершенству, ибо полное

тождество сознания в человеке означает не что иное, как полное его слияние с космосом, т.-е. то состояние, когда мировой разум вполне сознал себя в человеке.

Итак, конкретно высшая задача жизни для каждого человека должна заключаться в том, чтобы стать сознательно-цельным, иначе говоря, внести единство в мир своих верований и знаний. Это единство достигается познающим умом чрез раскрытие одушевляющей мир единой всеоб'емлющей идеи; отсюда следует, что без знания нет разумной жизни и без единой идеи нет знания. Наука порождена стремлением человеческого духа во всем отыскать себя и свое единство с жизнью вселенной, и интерес всех наук один: во всех мировых явлениях обнаружить действие той единой идеи, которая, составляя основу всего сущего, только человеком может быть сознана, как таковая. Хранилищем, куда стекаются эти однородные результаты всех разнообразных наук и где они сводятся к единству, является философия; таким образом, она—не наука в ряду наук, а высочайшая из всех, служащая им основанием, душою и целью. Она по существу—наука о единстве мира или о мировом разуме, и ее задача—в сознании воссоздать весь мир из единой идеи.

Отсюда выясняется нравственная природа знания. Истинное, т.-е. руководимое философией, знание и есть тот путь, которым человек приближается к совершенству, т.-е. к тому своему состоянию, когда мировой разум достигнет в нем полного самосознания, и с этой точки зрения знание религиозно в подлинном смысле слова, ибо такое знание есть единственный способ достижения той цели, которую религиозное чувство непосредственно провидит. Мало того: в своей кульминационной точке, т.-е. достигнув полного философского синтеза, знание сольется с религией воедино, потому что философия докажет то, что́ религия априорно утверждает, именно присутствие в мире единой зиждительной идеи. Сознание мирового единства и собственного единства с миром превратится тогда у человека в одно непосредственное чувство, которое суб'ективно будет выражаться в нем полным и постоянным согласием с самим собою, т.-е. с божественным началом в себе, совершенной его целостностью. Это проникнутое созна-

нием чувство есть чувство всеобщей жизни, иначе говоря, любовь; следовательно, совершенный человек будет целостен в любви, и конечная цель сводится к тому, чтобы наполнить свою жизнь той любовью, для которой нет борьбы и нет жертвы. Любовь, инстинктивно присущая всем созданиям и, следовательно, представлющая собою чувство не индивидуальное, а принадлежащее мировой жизни, есть душа творения: не ею ли поддерживается жизнь в неделимых?—она у них средство размножения. Поэтому именно в любви человек сливается с всеобщей жизнью; только любя он познает, и только любя действует прекрасно, т.-е. так, как действует мировая жизнь. Таким образом, человек, целой натурой живущий в любви, есть человек совершенный: он—неделимое, сознательно живущее по тем же законам, как и вселенная,—он исполняет свое назначение. Самому стать таким и приблизить других к этому идеалу, такова цель, которую ставит себе Станкевич. В жизни нет другой отрады, как любить людей и служить им, говорит он; в этой мысли наш разум сознает свою любящую природу. Но это служение не может заключаться в том, чтобы доставлять им средства к спокойной и сытой жизни, к материальному счастию; истинный долг наш—пробуждать в них человеческую сторону.

В сентябре 1836 года Станкевич пишет Грановскому: «Грановский, веришь ли? Оковы спали с души, когда я увидел, что вне одной всеоб'емлющей идеи нет знания, что жизнь есть самонаслаждение любви и что все другое—призрак. Да, это мое твердое убеждение. Теперь есть цель передо мною: я хочу полного единства в мире моего знания, хочу дать себе отчет в каждом явлении, хочу видеть связь его с жизнью целого мира, его необходимость, его роль в развитии этой идеи. Что бы ни вышло, одного этого я буду искать». Это истинное знание, философию, Станкевич строго отличает от науки: первая есть цель, вторая—средство, и наука, самое себя признающая целью, теряет всякий смысл. Нелепо всю жизнь считать ноги у козявок, закрыв глаза на вселенную; но как средство, прагматический интерес в науке имеет важное значение. Такая научная работа требует специальной склонности, особой страсти, преодолевающей все труды, а к

такой страсти способны, по мнению Станкевича, только люди односторонние. Ему самому нужно было только—стать человеком.

V.

Осенью 1837 года Станкевич уехал за границу, откуда уже и не вернулся. Эти последние три года его жизни (он умер 25 июня 1840 г.) отмечены удивительной цельностью стремления. На первом плане стояла теоретическая задача: уразуметь весь мир из одной идеи. Эта задача решалась системой Гегеля, где все стороны бытия материального и духовного были сведены в один изумительно-стройный процесс развития единого начала—абсолютного Духа. Пристальным изучением Гегеля и наполнены всецело, в смысле работы, последние годы Станкевича. Эти занятия, как мы видели, не были для него делом умозрительного интереса. Он был убежден, что по мере того, как его уму будет уясняться единство бытия, в его душе будет все более воцаряться гармония, венцом которой должна явиться самодовлеющая любовь; и это было самое незыблемое, самое драгоценное его убеждение, с которым одним были связаны все его надежды. Еще накануне смерти он выражал его с непоколебимой уверенностью. «В ходе науки,—писал он,—ум постепенно очищается от чувственной коры. Он прозревает. Отдельные мертвые существования постепенно сдвигаются с мест своих, чтоб исчезнуть в общем веселом хороводе жизни. Туман редеет, ночные призраки бегут—и вдруг полный свет любви изливается на создание и довершает дело преображения. Вот жизнь, говорит философ, понятая умом, которая сначала являлась нашему глазу в грубой непосредственности. Хорошо. Не заботься же более об этих призраках, которые прогнало солнце. Это не истина, не абсолютное,—и твой труд был только ход к абсолютному. Теперь ты в нем забудь прошедшее. Разверни нам новую жизнь. Под лучами этого солнца построй нам мир, проникнутый этою любовью!—«Но здесь кончается наука».—Да. Философия есть ход к абсолютному. Результат ее есть жизнь идеи в самой себе. Наука кон-

чилась. Далее нельзя строить науки и начинается постройка жизни».

При такой уверенности в существовании органической связи между умственным развитием и постепенным просветлением духа было естественно, что теоретическая работа сопровождалась у Станкевича непрерывным самоанализом. По мере усвоения системы Гегеля, т.-е. по мере уразумения все новых и новых сторон бытия с точки зрения развития единой идеи, он естественно должен был спрашивать себя: приблизился ли он соразмерно к согласию с самим собою, к душевной гармонии?

Этот вопрос был для него источником сильных мучений. В своих письмах за этот период он беспрестанно то жалуется, то негодует на свою разорванность, на внутренний раздор, на отсутствие душевной устойчивости. С горечью говорит он о том, что, кроме способности ощущать радость и горе и еще рефлектировать, нет в нем силы, которая имела бы право назвать себя: я. Он раб своей капризной натуры, им играют впечатления: погода, дорожные приключения, каждый переулок в мало знакомом городе могут похвастать своим могуществом над ним. Когда же будет достигнута эта желанная верность духа самому себе? Для него нет истины выше той, что человек должен в самоотречении обрести себя (im Aufgeben seiner selbst sich selbst finden); отчего же она только в голове? «Сердце сухо, пусто и капризно оттого, что ему этого sich selbst finden нужно. Отчего же это ему не дается? ведь когда хочется есть, и бульон стоит перед тобою, ты просто нальешь его себе и выпьешь. Отчего тут не так?» Минутами ему кажется, что он никогда не достигнет внутреннего единства,—тогда им овладевает отчаяние: назади вздор, призраки, впереди голо. Он говорит себе, что мало знать добро и красоту в их отвлеченной сущности, необходимо научиться узнавать их в конкретном, а для этого лучшее средство—созерцание общего, человеческого. Поэтому он решает заняться историей, которая одна спасает человека от суб'ективных капризов, одна может дать ему опору. Когда после немецкой истории Менцеля он непосредственно переходит к чтению романа Жорж-Занд, его охватывает ужас: как тяжка эта душная

сфера частностей и индивидуальных страстей! Да, индивидуальное—вот путы, связывающие человека, мешающие ему открыть глаза на всю природу. Кто хочет быть свободным и цельным, должен уйти из индивидуального в общее, рассчитаться с жизнью, с людьми, сию минуту уладить вокруг себя все личное.

Между тем такова жизнь: кругом путаница, дрянь, недоразумения, и все это требует внимания, раздражает, мучит и не дает безмятежно наслаждаться прекрасным. Как уладить все это? и что делать человеку, если он имел неосторожность запутаться в такой узел личных отношений?—На это Станкевич без колебаний отвечает теперь: разрубить узел! Правда, он понимал, насколько опасен этот путь. Разрубить узел, значит, прежде всего, свалить беду на другого, и в таком решении к высоким мотивам легко могут примешаться и самолюбие, и эгоистическая жажда спокойствия. Но он отвергает эту рассудочную оглядку: высший долг человека—быть верным самому себе. Поступай так, чтобы во всем, что ты делаешь, ты был таков, как в самом деле, и не думай о последствиях,—их все равно нельзя учесть никаким исчислением, а этот расчет отнимает способность охватить все разом из живого, действительного чувства. Спасение в том, чтобы уметь в отношении каждого житейского факта сразу определить непосредственное хотение своего *я* и затем, не стесняясь ничем, поступать так, как велит этот внутренний голос; только таким способом можно сохранить свою цельность среди хаоса действительной жизни.

VI.

Упорная работа над собою в направлении к этой цели, рядом с изучением Гегеля, которое должно было другим, умозрительным путем вести к той же внутренней цельности, составляет главное содержание духовной жизни Станкевича в его последние годы. Задача была трудна; он сравнивает себя с человеком, который должен на волнах заниматься изобретением компаса, и завидует тем счастливцам, которые получили гармоническое духовное воспитание еще до

вступления в самостоятельную жизнь. Пред ним самим эта задача стояла в очень острой конкретной форме. Он уехал из России, не покончив своих отношений с Бакуниной. Бедная девушка глубоко страдала, и он знал это, да и письма Михаила Бакунина напоминали ему об этом. Надо было кончить мучительную историю—но как? Он не любил, это было для него уже вполне ясно; порвать—значило нанести девушке, так простодушно доверившейся ему, смертельный удар. Но при тех взглядах на жизнь, до которых он теперь созрел, иного выхода не было. «Было время,—время мистицизма в моей жизни, когда, по преданию, по недостойной любви к пошлому миру и спокойствию, я считал все делом окончательным, сковывающим навсегда выбор сердца. Я отрекаюсь от этих идей. Если в отношениях между людьми есть ошибка, то она должна быть исправлена. Если человек должен страданием искупить свою ошибку, то он не должен сделаться животным». А жениться без любви—значит именно низвести себя и женщину на степень животных; пусть же лучше девушка останется на всю жизнь одинокой, только бы ей спасти свое человечество. Это решение стоило Станкевичу тяжелых усилий, но поступить так он считал своим долгом по отношению к себе и к ней, и только безвременная смерть Бакуниной (она умерла в конце 1838 г.) избавила его от необходимости совершить формальный разрыв.

Именно эта неожиданная развязка, снявшая с его души тяжелое бремя, повидимому, много способствовала внутреннему освобождению Станкевича. Личная коллизия назойливо и нетерпеливо требовала решения; теперь в личной жизни более не было острых осложнений, можно было ровнее итти к цели. И действительно, в последний год жизни Станкевич становится как бы светлее и радостней. Он продолжает работать над собою, но уже без той нетерпеливости и, главное, без принуждения. Он сознает, что ему еще далеко до внутреннего единства, но он уже знает, что насилием над собою ничего не возьмешь. Не беспокойство и рефлексия, а только спокойное вникание в сущность вещей может вывести на путь. Надо дать себе волю, надо быть снисходительным к собственной индивидуальности и верить ей, иначе она еще

больше будет тебя обманывать. Он теперь с доверием смотрит в будущее; надежда сразу достигнуть духовной свободы чрез философию не оправдалась, но он яснее видит путь: «nur ruhig! и делать, что хочется, потому что прежде всего надо быть человеком, это главный фах, и всякое принуждение, особенно археологическое, сейчас губить человечество». В своих письмах к друзьям он теперь беспрестанно повторяет: не рефлектируй; когда трудно становится решить что-нибудь, когда начинаешь путаться в антиномиях,—переставай думать и живи. Мысль может уловить лишь отдельные крупицы истины, верно же вполне схватить вещь можно только из общего живого чувства.

В этом уважении к собственной индивидуальности, к своему непосредственному чувству и хотению Станкевич обрел ту цельность духа, которой он так жаждал до сих пор. В этом отношении чрезвычайно любопытен его новый взгляд на искусство. Элемент цельной индивидуальной жизни, прямого созерцания, нераздробленного знания—вот что является для него теперь наиболее ценным в искусстве [1]). По природе своей, по назначению, говорит он, человек всегда имел более или менее ясное сознание чего-то высшего, нежели все преходящие вещи, нежели он сам в своей единичности. Это незримое высшее мы называем Божеством. Человеческая фантазия непобедима: ей нужно созерцать это незримое—вот происхождение и смысл искусства; в нем человек непосредственно созерцает Божество. Но изображение носит лишь отпечаток Божества; дух не весь в этом внешнем образе,—он неизобразим и постигать его можно только духом.

Эти слова не были в устах Станкевича одной теорией. Последние месяцы своей жизни, живя то во Флоренции, то в Риме, он часто посещал музеи и памятники древности. Рассеянные в его письмах за этот период замечания о виденных им предметах искусства лучше всего свидетельствуют о полной зрелости его духа: так смотреть умеет только человек, внутренно свободный и цельный в своем отношении к миру,

---

[1]) См. его предсмертные заметки «Об отношени философии к искусству». Соч., М., 1890, стр. 176 слл.

почти инстинктивно ассимилирующий себе или отвергающий. «Моисей» Микель-Анджело оставляет его холодным: здесь нет полноты, мира, любви, здесь нет Божества или, вернее, здесь из Божества осталась только сила. Законченность и удовлетворенность произведений греческого искусства доставляют ему глубокое наслаждение, но он смотрит на них как старший брат: древние скоро помирились, удовлетворились неполным, их мир еще далек от святости. Когда знаешь это, говорит он, и когда в самом деле есть еще что-то другое, что приносишь с собою, они благодетельно действуют на душу, но долго наслаждаться ими нельзя—они не отвечают собственному высшему запросу. О римском храме св. Петра он говорит, что в нем дышишь свободно и поднимаешь голову выше: «Я никогда не могу ждать от архитектуры чего-нибудь охватывающего душу своею необыкновенностью: душа выше ее; но она довольна, когда находит себе такое жилище».

Эти последние письма Станкевича дышат глубоким покоем и какой-то мягкой, вполне владеющей собою и сознающей себя силой. Не изучением Гегеля, но силою своего безсознательного стремления к идеалу человечности он в существенном достиг своей цели. Сознание своего внутреннего единства у него действительно превратилось в непосредственное регулирующее чувство, и в момент смерти он действительно стоял на тоїй черте, где кончается внутреннее устроение человека и начинается постройка жизни. Он уже готов был переступить эту черту; им начинало овладевать нетерпенье: довольно учиться, иначе не успеешь жить,—а он уже знал, что значит ж и т ь. Безвременная смерть застигла его на самом пороге.

Тургенев, сблизившийся со Станкевичем за несколько месяцев до его смерти, в начале 1840 г. в Риме, спустя шестнадцать лет, по просьбе Анненкова, записал свои воспоминания о нем; эта записка была впервые напечатана Л. Н. Майковым в январской книге В е с т н и к а Е в р о п ы за 1899 год и не вошла ни в одно из собраний сочинений Тургенева. Приведу из нее несколько отрывков, ярко рисующих личность Станкевича в пору его полной зрелости. Рассказав о юморе Станкевича, о его способности хохотать по упаду и мгновенно разыгрывать в лицах фарс, Тургенев продолжает: «И в то же

время невозможно передать словами, какое он внушал к себе уваженне, почти благоговение. Шевырев был в то время в Риме и ужасно льстил Станкевичу и вилял перед ним, хотя со всеми другими обходился, по обыкновению, с педантической самоуверенностью... Станкевич оттого так действовал на других, что сам о себе не думал; истинно интересовался каждым человеком и, как бы сам того не замечая, увлекал его за собою в область идеала. Никто так гуманно, так прекрасно не спорил, как он. Фразы в нем следа не было; даже Толстой (Л. Н.) не нашел бы ее в нем... В нем была наивность, почти детская, еще более трогательная и удивительная при его уме». Станкевич охотно принимал участие в дружеских поездках по окрестностям Рима и в осмотре памятников и древностей, хотя часто плохо себя чувствовал: «но дух его никогда не падал, и все, что он ни говорил,—о древнем мире, о живописи, ваянии и т. д.,—было исполнено возвышенной правды и какой-то свежей красоты и молодости». Станкевич был в это время уже смертельно болен, но, по свидетельству Тургенева, никогда не хандрил, никогда не жаловался на свое здоровье, и о болезни своей говорил не иначе, как в шутливом тоне. «Помню я,—рассказывает Тургенев,—раз мы шли с ним к Ховриным и говорили о Пушкине, которого он любил страстно, так же, как и Гоголя. Он начал читать стихотворение: «Спова тучи надо мною», своим чуть слышным голосом... Ховрипы жили очень высоко—в 4-м этаже. Взбираясь на лестницу, Станкевич продолжал читать и вдруг остановился, кашлянул и поднес платок к губам—на платке показалась кровь... Я невольно содрогнулся, а он только улыбнулся и дочел стихотворение до конца».

Тургенев прибавляет, что, изображая Покорского в «Рудине», он имел перед глазами образ Станкевича.

VII.

Путь развития, пройденный Станкевичем, типичен для всей его эпохи. К кому бы из его сверстников мы ни обратились (разумеется, из тех, кто жил умом и сердцем), каждого в ту пору—в 30-х годах—волновали те же вопросы, у каждого

на первом плане стояла та же потребность найти и воплотить в собственной личности высший смысл бытия. По письмам Белинского до времени его переселения в Петербург можно было бы написать психологический этюд, в общем совершенно аналогичный предлагаемому здесь.

Но Станкевич был именно прообразом своего времени: с такой безусловной цельностью, в столь чистом виде не пережил этого процесса ни один из его сверстников. Его недолгая сознательная жизнь была безраздельно посвящена решению в мысли и жизни л и ч н о й морально-философской проблемы, и никакая другая задача ни на минуту не отвлекла его внимания от этой цели. Как-раз на Белинском всего лучше можно видеть, как одновременно зарождается в русском обществе иное течение, уже с первых шагов нарушающее у большинства друзей Станкевича цельность их личного искания; как оно сначала ставит себя в полное подчинение этической задаче, а потом, пропитавшись ее идеалистическим пафосом, все более выступает на первый план, хотя и сохраняет до конца у э т и х людей неразрывную связь со своей первоначальной основой: на сцену выступают вопросы социально-политические, вопросы об обществе и о народности.

Станкевича эти вопросы не занимают. Он сознает, конечно, их значение, но ему пока еще не до них: ему нужно прежде всего кончить свою домашнюю работу—самому стать человеком. В своей обширной переписке он затрогивает общественные вопросы редко и всегда вскользь; он часто говорит об обязанности человека посвящать все силы совершенствованию общества, он и сам собирается, окончив свою подготовку, служить родине,—но все такие заявления звучат у него как-то холодно, рассудочно. Нет сомнения,—проживи он дольше, он потрудился бы честным трудом на пользу России, но такой, каким мы его знаем, он весь поглощен чисто-моральной задачей, и в этом смысле ранняя смерть, настигшая его как-раз в минуту решения этой задачи и на пороге общественной деятельности, придает удивительную цельность его развитию.

Спустя полгода после смерти Станкевича, Белинский писал В. П. Боткину знаменитое теперь письмо, в котором тре-

бовал отчета за каждого из своих братьев по крови. Станкевич только однажды, на самой вершине своего развития (месяца за три до смерти), коснулся в письме этого вопроса—и прошел мимо него. К нему заходил, рассказывает он, его знакомый, художник Марков, закидавший его философскими вопросами и сомнениями, на которые трудно было отвечать: «существование одного голодного нищего довольно для него, чтоб разрушить гармонию природы»! Умный и живой человек, с неэгоистическими запросами,—но что делает одиночество! «Я,—прибавляет Станкевич,—никогда почти не делаю себе таких вопросов. В мире господствует дух, разум: это успокаивает меня насчет всего».

С тою же совершенной цельностью мысли решал Станкевич и второй вопрос, который вскоре сосредоточит на себе страстное внимание общества,—вопрос о народности. Его замечание об этом предмете, брошенное мимоходом и не развитое, поражает своей верностью, как и множество других мыслей, рассеянных в его письмах. Понадобился долгий навык в физиологическом способе понимания истории, чтобы спустя шестьдесят лет, другой русский мыслитель [1]) мог вернуться к этому здравому взгляду. «Чего хлопочут люди о народности? Надобно стремиться к человеческому, свое будет поневоле. На всяком искреннем и непроизвольном акте духа невольно отпечатывается свое, и чем ближе это свое к общему, тем лучше... Кто имеет свой характер, тот отпечатывает его на всех своих действиях; создать характер, воспитать себя—можно только человеческими началами. Выдумывать или сочинять характер народа из его старых обычаев, старых действий, значит хотеть продлить для него время детства: давайте ему общее человеческое и смотрите, что он способен принять, чего недостает ему. Вот это угадайте, а поддерживать старое натяжками, квасным патриотизмом—это никуда не годится». В 1837 году, когда Станкевич писал эти строки, так думали и Белинский, и К. Аксаков; но, как известно, уже недолго спустя вопрос о народности становится демаркацион-

---

[1]) П. Б. Струве.

ной линией, делящей передовую часть русского общества на два враждебных лагеря.

Станкевич представляет собою как бы реторту, в которой химически-чисто выработалась квинт-эссенция русского идеализма. Проблема совершенной личности, всецело поглотившая его внимание, частью сама привела к вопросу о преобразовании общественного быта на идеалистических началах, как у Белинского и Грановского, частью слилась с самостоятельным политическим интересом, как у Герцена и Огарева.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Т. Н. Грановский.

1. Мировоззрение.

Непосредственное влияние Грановского прекратилось давно. Он не был сильным мыслителем и не оставил в наследие потомству ни одной из тех идей, которые становятся вполне понятными и животворными лишь спустя десятилетия. Написанное им читают мало и больше из почтения к его имени, нежели из прямого интереса. Он принадлежит истории и должен быть оцениваем исторически.

Если нам говорят (это слова Кудрявцева), что «в ответ на его речь отзывались в душе каждого самые чистые инстинкты человеческой природы», то мы отнесем это действие не столько на долю идей, которые он проводил в своих лекциях, сколько на долю его личности. Нет никакого сомнения, что при оценке влияния, оказанного Грановским на русское общество, его личным свойствам должно быть отведено очень видное место. Такая врожденная мягкость, такое изящество духа, такой художественный склад ума во всякое время составляют большую общественную ценность,—а Грановский подвизался среди грубого общества 40-х годов, погруженного в материальные интересы или надменного своей полуобразованностью, когда культурное влияние такого человека, как он, должно было быть особенно велико. Но, помимо этой общей его заслуги, естественно возникает вопрос: какое место занимает он в истории развития нашего общественного сознания?—Для того чтобы разумно ответить на этот вопрос, нужно знать, чему он учил и в какое время.

I.

Он учил, следуя Гегелю, что история человечества есть история его непрерывного приближения к высшей нравственной цели. Поэтому всеобщая история представляет, на его взгляд, картину строгого единства: мы изучаем в ней процесс воспитания человечества, как бы одного человека.. Столкновения и смена исторических событий совершаются по определенным, незыблемым законам; но было бы ошибочно из наблюдения этой царящей в истории необходимости выводить фатализм. Эти законы—не последние пружины истории, их роль служебная: они—не что иное, как внешние проявления той внутренней закономерности, которую придает истории совершающийся в ней нравственный прогресс. «Над всеми открытыми наукою законами исторического развития царит один верховный, т.-е. нравственный закон, в осуществлении которого состоит конечная цель человечества на земле». Таким образом, стремление человечества к высшей нравственной цели совпадает с естественной закономерностью; идеальное и реальное, бытие и мышление оказывается тожественными; суб'ективный дух и мир развиваются по одному и тому же закону.

Личность, народ, человечество—вот три соподчиненные сферы, в которых осуществляется верховный нравственный закон. Во всемирной истории господствует то же органическое развитие, та же последовательность моментов, которая наблюдается в жизни отдельного человека, и подобно тому, как отдельный народ существует в беспрерывной смене лиц и поколений, так человечество живет единой, цельной жизнью в смене отдельных народов. Мало того, именно через их смену совершается его последовательное развитие в направлении к великой конечной цели. Каждый народ переживает те же фазисы. что и отдельный человек,—детство, юность, зрелый возраст и старость, за которою следует смерть,—каждый в период роста вырабатывает свою одностороннюю, своеобразную идею, которая и является его вкладом в общечеловеческую культуру; так один народ сменяет другой, и каждый новый народ

наследует все умственные сокровища, накопленные предшествовавшими поколениями, по-своему перерабатывает это наследие и, в свою очередь, передает его поколениям грядущим. Такова таинственная связь, охватывающая всю жизнь человечества, связывающая народы, чуждые друг другу в пространстве и времени. Как индивидуум и народ, так человечество—цельный организм, одушевленный одним духом, и его история—история его морального роста. Поэтому высшая польза истории заключается в том, что она сообщает нам уверенность в неминуемом торжестве добра над злом.

Итак, история человечества есть предопределенный процесс. Но этот процесс предопределен только в смысле общего направления и конечной цели, в остальном же, т.-е. во всех частных своих стадиях, он открывает полный простор игре сил, стремлений и страстей—личных, классовых, национальных и пр. Человечество неудержимо идет к своей цели, но божественный Промысл не указывает ему, ни какой дорогой итти, ни сколько времени пробыть в пути: здесь область творчества отдельной личности, здесь она является не орудием, а самостоятельным историческим фактором в качестве поборника или противника очередной исторической идеи, «и на нее по праву падает ответственность за целые ряды ею вызванных или задержанных событий». Поэтому ни один человек, как бы скромен ни был круг его действий, не свободен от обязанности способствовать по мере сил осуществлению исторического закона. Но он отвечает только за чистоту своих намерений и усердие исполнения, а не за последствия своего труда, который таинственным семенем ложится в борозду всемирной истории; взойдет ли оно, и когда взойдет, и какой даст плод,—это во власти Бога.

По самой природе основного исторического закона сферою его осуществления является индивидуальное сознание. В этом смысле исторический процесс есть процесс освобождения и просвещения индивидуальных сознаний. Масса бессмысленно добра и бессмысленно жестока; ее духовная жизнь всецело определяется стихийной властью естественных условий и исторического прошлого. Только отдельную личность мысль освобождает от этой власти; итак, прогрессивное движение че-

ловечества заключается в разложении масс мыслью. Но, вместе с тем, отдельная личность подвержена сильному влиянию со стороны общественного уклада; следовательно, в общем можно сказать, что прямой задачей истории является «нравственная, просвещенная, независимая от роковых определений личность и сообразное требованиям такой личности общество».

В этой формуле—сердцевина исторической философии Грановского.

II.

Деятельность Грановского неразрывно связана с тем движением, которое окрещено у нас именем «идеализма 30-х годов», и может быть правильно оценена лишь на фоне последнего. Что же представляет собою идеализм 30-х годов?

В каждом культурном обществе время от времени возникают бурные умственные движения, охватывающие большую или меньшую часть общества. Конечно, они подготовляются предшествующими им мирными периодами; но накопленный материал вдруг вспыхивает ярким пламенем, какая-нибудь одна идея овладевает умами и из области умозрения мгновенно переносится на почву чувства, т.-е. становится страстью и хотением, притом не одного или нескольких отдельных лиц, а некоторой единомышленной группы. Эти идейные взрывы—минуты вдохновения обществ; каждый из них с ослепительной яркостью ставит перед взорами общества какую-нибудь одну сторону или часть общечеловеческого идеала, и этим наитием надолго оплодотворяет жизнь. Нет нужды называть примеры: русская общественная жизнь особенно богата такими движениями, и одно из сильнейших совершается у нас сейчас.

Эти идейные взрывы отличаются друг от друга степенью своей всеобщности, бурности, продолжительности, но прежде всего и в особенности—степенью приближения своего лозунга ко всеоб'емлющему единому идеалу человечества. Всякое общественное движение идеалистично, потому что, каково бы ни было реальное содержание выставляемой им идеи или программы,—суб'ективно, в своих представителях, оно непре-

менно базируется на один из тех вечных принципов, которые составляют неот'емлемые части идеала: на принцип справедливости, естественных прав и пр. Но идеал всеоб'емлющ и приложения его бесчисленны; все дело в том, малая ли крупица идеала опьянила этих людей, охваченных движением, или они увидели восходящим перед собою все солнце.

Движение, овладевшее лучшей частью московской молодежи в средине 1830 годов, не было одним из тех частичных раскрытий идеала, какими являются все дальнейшие наши общественные движения, по преимуществу политические; в том и заключается его великая особенность, что оно имело своим предметом весь идеал в целом, или, точнее, не какое-нибудь его приложение, а самую его субстанцию. Эти юноши мечтали не о частных улучшениях нравственного или политического свойства, а о восстановлении в человеке его божественной природы вообще. Словами своих немецких учителей они говорили, что во вселенной царит разум, который только в человеке может достигать самосознания, и что, следовательно, высший долг человека заключается в том, чтобы сознательно жить по тем же законам, как и вселенная. В этих понятиях человеку, по справедливому выражению современника (Анненкова), открывался н о в ы й м и р. «Каким-то торжеством, светлым, радостным чувством исполнилась жизнь, когда указана была возможность об'яснить явления природы теми же самыми законами, каким подчиняется дух человеческий в своем развитии, закрыть, повидимому, навсегда, пропасть, разделяющую два мира, и сделать из них единый сосуд для вмещения вечной идеи и вечного разума. С какою юношеской и благородною гордостью понималась тогда часть, предоставленная человеку в этой всемирной жизни! По свойству и праву мышления он переносил видимую природу в самого себя, разбирал ее в недрах собственного сознания, словом, становился ее центром, судьею и об'яснителем... На конце всего воззрения стояли нравственные обязанности, и одна из необходимейших обязанностей—высвобождать в себе самом божественную часть мировой идеи от всего случайного, нечистого и ложного, для того, чтоб иметь право на блаженство действительного, разумного существования». Это

была всеоб'емлющая система идей, уверенно решавшая вечные загадки бытия и духа.

По всеобщности этой системы и по страстности, с какою усваивало ее молодое поколение, мы можем судить о том, как совершенно было изжито обществом его старое, патриархальное мироззрение. Еще полуобразованная масса удобно прозябала в нем, но чуткая молодежь уже задыхалась в атмосфере нравственного равнодушия и умственной косности. В наше время юноша, раз в нем проснулось сознание, обыкновенно склонен увлечься каким-нибудь частным вопросом бытия; что же касается основных вопросов, то все кругом него—книга, газета, разговоры—сразу навязывает ему некоторый определенный, признаваемый для данного времени наиболее согласным с наукою, способ отношения к ним. Хорошо ли это, или нет—другой вопрос. Тогда этого не было: в полуобразованной массе еще не были выработаны такие шаблоны, и юноша, открывший глаза на мир, сразу видел себя лицом к лицу со сфинксом—с нерешенными вечными вопросами. И на эти именно вопросы отвечала новая немецкая философия, у которой молодежь заимствовала основания своей идеалистической системы.

Ядром этой системы был, конечно, новый идеал человека: здесь в полном об'еме, прямо и ясно была формулирована проблема совершенной личности. Идеалистическое движение 30-х годов зародилось несколькими струями, которые лишь позднее, к половине 40-х годов, слились в два больших русла—славянофильства и западничества; но какова бы ни была разница между отдельными кружками, все они или начали с вопроса о том, что есть и чем должен быть человек, или очень скоро пришли к этому вопросу, при чем он ставился не косвенно, в оболочке какого-нибудь практического стремления, а принципиально и вполне.

Почин этого движения принадлежал, как мы знаем, Станкевичу, которым этот вопрос и был поставлен на очередь и на первый план. Станкевич внедрил в своих друзей идею-страсть, идею-стремление к божественной красоте человека, и в своем собственном развитии явил пример нераздельной энергии духа, направленной к осуществлению этой идеи.

Но человек ведет двойное бытие—личное и социальное, и проблема совершенной личности не может быть правильно решаема иначе, как на почве этого двойственно-цельного понятия. Это знал и Станкевич; но, дорожа более всего умозрительной полнотой идеала, он оставил в стороне социальную часть вопроса. Он говорил: человека должны очистить взаимные отношения людей, и в этом смысле жизнь рода человеческого есть его воспитание, а с другой стороны, он должен сам отдельно воспитывать себя, работая над своим совершенствованием. Итак, прогресс совершается путем двойного воспитания: социального (в истории) и личного,—и от глашатаев идеала надо было ждать, чтобы они разработали его в обоих направлениях. Станкевич же, как мы видели, ограничился одной половиной задачи: он пытался теоретически решить вопрос (это его подлинные слова): «как один, отдельный человек должен воспитывать существо свое?»

Здесь-то определилась историческая роль Грановского. В прямом смысле слова ученик и продолжатель Станкевича, он поднял нить, оброненную Станкевичем: он стал одним из тех учителей (рядом с ним Белинский), которые уяснили русскому обществу 40-х годов общественный смысл идеала, иначе говоря, ход и цель исторического воспитания человечества.

Историко-философская схема Грановского кажется нам и узкою, и искусственной, многие из ее посылок—фикциями, но павших в честном бою не судят. Эти идеи сделали свое дело. В них новый идеал, которому суждено было надолго стать скрытым двигателем всей нашей духовной жизни,—эта высокая мечта Станкевича и его друзей о разумной и прекрасной жизни, о совершенном человеке,—был перенесен (правда, в довольно грубом виде) на социальную почву и выражен на социальном языке. Этим был дан могучий толчок зарождению у нас общественного идеализма, и если ближайший период русской истории, с конца 50-х годов, был ознаменован громадным идеалистическим движением, плодом которого явились реформы эпохи Александра II, то немалая доля заслуги в этом принадлежит и Грановскому. Не будет парадоксом сказать, что он был одним из передаточных ор-

ванов, благодаря которым нравственная энергия, заключенная в одинокой думе Станкевича, претворилась в благое общественное деяние Николая Милютина и его сподвижников.

2. Личность.

I.

Будущий историк наших дней вероятно с любопытством остановится, в числе прочих особенностей современного русского общества, на той, которую можно назвать его распылением, и изучая с этой точки зрения современную интеллигенцию, он, наверное, привлечет к сравнению эпоху 30—40 годов,—время господства тесно сплоченных дружеских кружков. Чем об'яснит он это резкое различие? Почему 70 лет назад в передовой части русского общества господствовали центростремительные силы, под действием которых все лучшие элементы неодолимо влеклись друг к другу и сочетались в плотные группы, об'единяемые не только сходством убеждений и общностью целей, но и горячей, чисто-братской привязанностью? И почему передовые люди нашего времени обречены на душевное одиночество и, делая все одно и то же дело, стоят все-таки каждый особняком? Наши группы и кружки носят деловой характер; они опираются на единство взглядов, на попутность усилий; нас соединяет в группы гораздо больше общность борьбы, чем внутреннее влечение, и потому в наших кружках нет той сердечной близости, тех задушевных симпатий, которые, повидимому, царили в тех кружках. Пусть этот ореол, окружающий их, долею обманчив,—отдаленность времени, как даль пространства, округляет контуры; но в целом факт неопровержим. Вспомним московские кружки первой половины 30-х годов: кружок Станкевича, состоявший, кроме самого Станкевича, из Белинского, В. Боткина, Грановского, Неверова и—во второй линии—из Красова, Клюшникова, Каткова, Кудрявцева и др.; одновременный кружок Герцена, к которому принадлежали Герцен, Огарев, Сатин, В. Пассек, Кетчер, Сазонов, А. Н. Савич; потом кружки 40-х годов: новый кружок Герцена (Герцен, Огарев, Грановский, Кетчер, Е. Корш, Крюков, В. Боткин) и кружок первых славянофи-

лов. И это лишь наиболее видные группы, а рядом с ними сколько было второстепенных, вроде Сунгуровского кружка, кружка Веневитинова и пр.! Безошибочно можно сказать, что, исключая Лермонтова, в поколении людей, родившихся около 1812 года, не было ни одного сколько-нибудь выдающегося человека, который развился бы вне влияния того или другого из этих кружков; их влияния не миновали и Гоголь, и Тургенев.

Быть может, будущий историк сумеет проследить процесс дифференциации, раздробивший мыслящую Россию и сделавший невозможным для наших дней существование таких сплоченных групп. Это распыление несомненно представляет собою симптом роста, как всякое деление, как распадение клеток и клеточных колоний. Хочется верить, что и мы, как клетки, через дробление перейдем к более сложным, основанным на высшем единстве сочетаниям, подобно тому как это случилось с итальянской интеллигенцией во вторую четверть прошлого столетия. Но и преклоняясь пред биологическим законом, осудившим нас на одиночество, мы не можем без сердечного участия читать рассказы о людях 40-х годов, о крепких узах любви и доверия, связывавших пожизненно или временно таких людей, как Станкевич и Грановский, Герцен и Огарев, Грановский и Герцен, Белинский и Боткин, и т. д. Тогда царил—и не только в молодежи, но и среди зрелых людей—настоящий культ дружбы, который теперь показался бы сентиментальным и смешным; кто еще пишет теперь своему другу такие пространные и такие интимные письма, какие писали друзьям Станкевич, Белинский, Огарев? Но было бы смешно и жалеть об этом.

II.

Нам теперь трудно и представить себе с ясностью то умственное одиночество, в какое попадал на первых порах юноша 30-х годов, испивший из кубка западной науки и опьяненный ее идеалистическим духом. Начать с того, что общий фон нашей интеллигентной жизни за эти полвека чрезвычайно изменился. Юноша наших дней, впервые начинающий

прозревать и мыслить, находит, можно сказать, в самом воздухе, которым он дышит, бесчисленное множество родственных его исканиям элементов. В любой книжке журнала, в фактах, сообщаемых газетой, в беседе за чайным столом,— всюду звучат созвучные ему струны. Наша научно-популярная и чисто-научная литература, как и журналистика, разрослись неимоверно; общение с Западом, прямое и книжное, сравнительно очень облегчено. Благодаря всему этому, каждая новая доктрина быстро становится у нас достоянием интеллигентной массы и насыщает собой ее атмосферу. Лет десять назад студент, клявшийся именем Маркса, чувствовал себя, конечно, членом обширной семьи; об учении Маркса он мог говорить и с любым товарищем, и в знакомой семье, на ту же тему каждый день встречал новые статьи и книги, русские и иностранные. Совсем иначе обстояло дело в 30-х годах.

Того, что я назвал сейчас интеллигентной массой, тогда не существовало. В помещичьем и чиновничьем кругах царило глубокое невежество, и юноша, открывший свой ум просвещению, сразу попадал в совершенный разлад со своей естественной средой. Теми научными рессурсами,—книгами, журналами, лекциями, сообщениями с Западом,—которых у нас так много, он располагал в самом ничтожном количестве; естественно, что в одиночку он должен был чувствовать себя беспомощным.

Не меньшее значение имел и характер распространявшихся тогда доктрин. Между тем временем и нашим лежит блестящий расцвет естественных наук, преобразивший все отрасли знания и самую философию. Реалистический дух современной науки сделал то, что идеи, которыми освобождалось наше поколение, сравнительно близки к ежедневной жизни, сравнительно материальны и прозаичны. Люди 30—40-х годов освобождались на Шеллинге и Гегеле: то были вершины метафизического мышления, открывавшего уму безграничные, опьяняющие виды. Не частичные истины, но вся тайна космоса и человеческого бытия казалась обнаруженной в книгах этих философов, и душу прозелита при виде обетованной страны охватывал восторг почти религиозного одушевления. Из общей формулы вытекала целая программа практической

деятельности, охватывавшая всю общественную и личную жизнь. Все должно было быть перестроено вновь: на место непосредственности, патриархальности, туманной мистики, авторитетов, верований и преданий должен был стать новый жизненный строй, основанный на разуме, анализе и праве; все устои общежития—брак, религия, государство—должны были стряхнуть с себя свои обветшалые формы и преобразиться. Казалось, рождается новый мир: Das alte stürzt,—es ändert sich die Zeit,—und neues Leben blüht aus den Ruinen [1]). Это одушевление возносило юношу 30-х годов на такие заоблачные выси, откуда не было путей в отцовские долины. Только в недрах секты он мог найти сочувствие и поддержку; мало того, только здесь, в живом обмене мыслей и знаний мог он, при тогдашней скудости научных пособий, удовлетворять свое естественное стремление к более глубокому и всестороннему усвоению раз воспринятых им идей.

Таковы были главные причины, которыми обусловливалось возникновение знаменитых московских кружков 30-х и 40-х годов; почти так определил в одном письме 1840 г. Белинский роль кружка, в котором сложился он сам: «Воспитание,—говорит он,—лишило нас религии, обстоятельства жизни (причина которых в состоянии общества) не дали нам положительного образования и лишили всякой возможности сродниться с наукой; с действительностью мы в ссоре и по праву ненавидим и презираем ее, как и она по праву ненавидит и презирает нас. Где ж убежище нам? На необитаемом острове, которым и был наш кружок». На этих островах люди со второго дня знакомства переходили на «ты», по-женски страстно любили друг друга, поверяли друг другу интимнейшие тайны, взаимно исповедывались и глубоко, искренно верили один в другого. «Я перед вами открыт», говорил Станкевич друзьям; «мы друг для друга—ифика», писал гораздо позже Огарев Герцену, и так было на самом деле; об этом свидетельствует каждая строка их писем и все показания современников.

---

[1]) См. замечательное письмо В. Боткина 1842 г. у Пыпина: Белинский, II, стр. 142.

III.

Белинский, позднее разошедшийся с Бакуниным, так об'яснял после размолвки свою временную близость с ним: «Ты стремишься к высокому, и я стремлюсь к высокому— будем же друзьями: вот начало нашей дружбы». Приблизительно таково было и начало дружбы Грановского с Герценом и Огаревым. Они встретились в первый раз, как сектанты, еще не видавшие друг друга, но знающие о своей принадлежности к одной и той же секте, или как незнакомые масоны одной ложи. Они были уже не юноши; период бурных стремлений для их поколения уже прошел, уступив место настойчивой и серьезной работе в направлении к целям, поставленным юношеской мечтой. Но если прежнее опьянение и исчезло, знание и дружба попрежнему оставались краеугольными камнями их бытия. В самой работе они продолжали углублять свои воззрения, отчужденность от среды чувствовалась на деле еще несравнимо острее, чем в школьные годы, и попрежнему только в единомышленном круге они могли дышать и расти.

С Огаревым Грановский познакомился зимой 1839—1840 г.г. и быстро сошелся. Герцен впервые мельком видел его при своем проезде через Москву в 1840 году и увез с собой во Владимир «благородный образ и основанную на нем веру в Грановского, как в будущего близкого человека»; в 1842 году, переселившись в Москву, Герцен сблизился с ним «тесно и глубоко». Такою оставалась их дружба все четыре года до последних месяцев пребывания Герцена в России. Огарев как-раз эти четыре года провел за границей, но разлука не ослабила этой связи; в сентябре 1844 года он писал Грановскому: «Да что ж ты не пишешь, мой милый Грановский? Мы, кажется, так тепло встретились и полюбили друг друга, что разлука не может подлить холодной воды в нашу дружбу. Чорт знает! хотелось бы слышать твой голос, который имеет для меня что-то иррезистибельно-симпатичное». Отношения между Грановским и Герценом были чисто-братскими. «Мы быстро сблизились и видались почти каждый

день,—писал позднее Герцен,—ночи сидели мы до рассвета, болтая обо всякой всячине... в эти-то потерянные часы и ими люди срастаются так неразрывно и безвозвратно». Было бы излишне приводить выдержки из их переписки, свидетельствующие об их нежной привязанности и уважении друг к другу. Все это время вплоть до разрыва они были неразлучны, и, кажется, ни одно облачко не омрачило их дружбы.

Герцена и Огарева сближало с Грановским прежде всего, разумеется, сходство основных убеждений: общая их ненависть к действительности тех дней, стремление вывести Россию из невежества и рабства, вера в творческую силу свободной личности, признание за наукой и искусством руководительной роли в развитии культурных обществ. Грановский, с блестящим успехом проповедывавший эти взгляды с кафедры, был дорог Герцену, как смелый боец за их общее дело, как самый влиятельный и даровитый представитель всего кружка; а когда несколько позднее начали резче обозначаться станы западников и славянофилов, лекции Грановского приобрели для него значение манифестов своего, западнического лагеря. Успех публичного курса, читанного Грановским в 1843—1844 г.г., был для Герцена как бы личным торжеством; он дважды писал о нем восторженные статьи и в своем дневнике с радостью друга и соратника отмечал общественное значение и успех едва ли не каждой лекции. В свою очередь, и Грановский высоко ценил литературную деятельность Герцена и, по словам последнего, ездил из дома в дом читать его статьи, печатавшиеся в «Отеч. Записках», комментировал их и сердился, если они кому не нравились. Но общности теоретических взглядов и уважения к обоюдным талантам недостаточно для дружбы, по крайней мере, для такой дружбы, какая завязалась между Герценом и Грановским, Грановским и Огаревым. Очевидно, в их натурах, при всей разности, было нечто конгениальное, что сближало их помимо сознания; определить это общее точнее, вероятно, не могли бы они сами. Герцен говорит только: «Со многими я был с о г л а с н е е в мнениях, но с ним я был б л и ж е—там где-то, в глубине души». В сущности, не больше говорит и Огарев в своем стихотворном послании к Грановскому (1843 г.):

Душевный мир и сердца муки
В твоей душе нашли себе
Так странно родственные звуки,
Как будто свыше нам одна
Обоим жизнь была дана.
Мы одинаково здоровы
И одинаково больны,
И оба жребием суровым
Одной хандрой наделены.
Я радостно в твоем посланьи
Прочел, что говорить со мной
Ты можешь только да с женой
О тайном внутреннем страданьи.

Но он прибавляет далее:

Одно, что я в себе ценю,
Основу дружбы нашей вижу
(Хоть слабость глупую мою
Всегда бесплодно ненавижу),—
То женски-тихий, нежный нрав.
Не знаю, прав я, иль неправ.

В этих последних строках указана одна конкретная черта, верность которой подтверждает Герцен, говоря, что Грановский заменил ему и прочим друзьям отсутствовавшего Огарева. Действительно, редкое изящество организации, глубокая врожденная гуманность, такт сердца сообщали Грановскому и Огареву чрезвычайное сходство, и, быть может, именно эта женственность нрава так сильно привлекала к ним (и наоборот) порывистую, активную, мужественную натуру Герцена.

IV.

Как известно, эта дружба кончилась разрывом, происшедшим в середине 1846 года, незадолго до от'езда Герцена за границу. Мы увидим ниже, что все три участника, хотя и тяжело страдая от размолвки, в один голос признавали ее неизбежной. Этой ее неизбежности мы не поймем, если ограничимся одним разбором спорных мнений: для этого необходимо спуститься глубже, к тем родникам, которыми питается вся психическая жизнь человека, не исключая сознания.

Есть много способов подойти к определению того, что принято называть «натурой» человека. Здесь, где речь идет о трех лицах, сам собою напрашивается сравнительный способ. Следовательно, должен быть найден такой пункт, который был бы достаточно важен для всякого человека и более или менее централен для всех трех изучаемых лиц. Таким пунктом мне представляется способ их отношения к текущему моменту, а стало быть, и к двум ограничивающим и так часто затемняющим его моментам: прошлому и будущему. Как человек реагирует на свои воспоминания и на всегда наличную возможность несчастных случайностей, в какой мере воспоминание о прошлом или страх за будущее умаляют для него полноту данной минуты,—этому вопросу, вероятно, никто не откажет в капитальной важности.

Начну с Герцена. В своем «Дневнике» (1842—1845 г.г.) он неоднократно касается этих вещей. Его удивляет и сердит неуважение людей к настоящему. «Если глубоко всмотреться в жизнь,—говорит он,—конечно, высшее благо есть само существование, какие бы внешние обстановки ни были. Когда это поймут—поймут, что в мире нет ничего глупее, как пренебрегать настоящим в пользу грядущего. Настоящее есть реальная сфера бытия. Каждую минуту, каждое наслаждение должно ловить, душа беспрерывно должна быть раскрыта, наполняться, всасывать все окружающее и разливать в него свое. Цель жизни—жизнь». Но люди умеют только вспоминать об утраченном; они не дорожат настоящим, жертвуя им мечтам о будущем или страху перед ним; между тем будущее никогда не устраивается по нашим мыслям, а как придется, «давая сверх ожидания и попирая ногами справедливейшие надежды».

И таков он сам: его отношение к настоящему лишено той непосредственности, которую он считает нормальной. Страх случайного, тень грозного фатума, царящего над человеческой жизнью и развивающего из безразличного поступка чудовищный результат, преследует его по пятам. Прежде чем почувствуешь и сознаешь, ты вовлечен в безвыходное положение; где же свобода? С ужасом говорит он о шаткости всего святейшего и лучшего в жизни. Все в жизни шатко, кроме мысли,

а она одна не может насытить вполне, потому что она—«уже снятие жизни индивидуальной, единственно полной». Он знает, что страх перед этой шаткостью—болезненное и нелепое чувство, но не может подавить его в себе. «Мы ужасно виноваты перед настоящим,—пишет он Огареву 1-го января 1845 г. (и то же повторяет в дневнике),—все воспоминания да надежды, sui generis абстракции, а жизнь течет между пальцами незаметная, неоцененная. Нет, стой, хороший миг, дай мне из тебя выпить по капле! Минута истинного восторга беспамятна и безнадежна, потому что она полна собой. В самом деле, настоящее никогда не бывает одно; все былое, жизнь наша отражается в нем, хранится, но только оно не должно подавлять. Я говорю об этом не столько для вас, сколько для себя; я не могу держаться на этой высоте реально-практической; если я не подвержен романтически-заунывным грюбелеям, то я подвержен трусости перед будущим, мое наслаждение часто тускнет от холодной мысли: а может, завтра я утрачу его? Мало ли что может быть? Так думать—надо быть сложа руки и подогнув ноги; а все-таки приходит на ум. Человек всего менее может сдружиться с чрезвычайной шаткостью, непрочностью всего лучшего, что у него есть. Дело-то, кажется, простое: чем прочнее вещь, тем она каменнее, тем далее от нас. Именно в этом мерцании des Schwebenden, в этом нежном, шатком—последнее слово, последнее благоухание жизни, потому что прочное неподвижно, апатично, а нежное—процесс, движение, энергия, das Werden». В дневнике он подробнее развивает эту глубокую мысль. «Не только блага жизни шатки, но сама жизнь шатка; малейшее неравновесие в этом сложном химизме, в этой отчаянной борьбе организма с своими составным частями—и жизнь потухла; однако из этого не следует, что лучше не родиться, или, родившись, зарезаться, чтобы не подвергнуться случайностям. Все прекрасное нежно, это—цветы, которые мрут от каждого холодного ветра, в то время, как суровый стебель крепнет, но зато он и не благоухает и не имеет ярких лепестков. Жизнь в высшем проявлении слаба, потому что вся сила материальная была потрачена, чтобы достигнуть этой высоты: мускулы можно резать, члены отнимать, а до мозга нельзя грубо прикос-

нуться. Таковы блага любви—ими надобно упиваться, отдаваться им, жизнь в них ловить, ценить каждое мгновение. Nur wenn er glühet, labet der Quell». И в результате он приходил к такому выводу: «Ловить настоящее, одействотворить в себе все возможности на блаженство—под ним я разумею и общую деятельность, и блаженство знания так же, как блаженство дружбы, любви, семейных чувств,—а там, что будет, то будет; на мне ответственность не лежит, тот ответит, кто скрыл талант в землю, чтоб его не украли».

Это взгляд мужественный и свободный; но в жизни Герцен, по его собственному признанию, не всегда обладал этим свободным мужеством. Правда, он умел и раньше, и еще в эти годы, с беззаветным упоением, без оглядки, наслаждаться минутой, но нередко мысль о будущем, страх грозных случайностей отравляли ему настоящее. Замечательно, что когда возможность становилась пастоящим и ожидание уверенностью, он опять находил в себе твердость и покой. «В решительные минуты,—говорит он,—я, наконец, нахожу силу и стою будто на барьере во время дуэли—жду, что̀ пуля, мимо или в грудь... жду мрачно, собравши всю твердость. Середь ожидания является рефлексия, и я иду и на гору, и под гору с дикой, свирепой последовательностью, не отклоняя страшного, а всматриваясь в него».

Если Герцен боится будущего, то для Грановского настоящее затемняется прошлым. Он принадлежал к числу тех по преимуществу созерцательных натур, у которых воспоминание по силе чувства далеко превосходит самые переживания. Он говорит о себе в одном письме, что никогда ничего не забывает, что обиды и печали младенчества до сих пор способны глубоко волновать его, и применяет к себе пушкинские стихи: «как вино, печаль минувших дней в душе моей чем старе, тем сильней». «Я никогда не утешаюсь в моих душевных утратах,—говорит он в другом месте.—Я беру с собой горе на целую жизнь. Станкевич, сестры—они для меня ежедневно умирают снова». Его душа, как душа Тютчева,—элизиум теней, и это не только тени дорогих людей, но и тени всех разбитых надежд и иллюзий. С этим тяжелым грузом в душе идет он устало через жизнь, свято лелея память о про-

нилом и мало веря в возможность счастия. Скорбное воспоминание мешает ему безраздельно отдаться минуте и мрачит ему жизненную даль. Он ценит труд, помимо его прямой цели, еще особенно потому, что труд «лечит душу от больных желаний»: «у меня их было много,—говорит он,—и еще осталось довольно на дне души; я им не даю воли». Уже в 1843 году он пишет Вердеру: «Никогда я не понимал так хорошо то, что вы говорили мне тогда: труд и отречение! В сущности, только это и остается. Я отрекся уже от столь многих надежд моей молодости; мне остается еще только отречься от нее самой, и я скоро принесу и эту жертву, потому что сердце мое, я чувствую, становится старо и устало». А через год—и в лучшие свои дни—он пишет: «Счастливее всех других пока Герцен и я. Но долго ли продлится это счастие? У меня нет веры в жизнь, у меня напугана душа частыми утратами, и я боюсь новых. Сегодня все хорошо, завтра все может измениться. Я стал робок и мнителен...» Герцен, трепещущий перед будущим, по крайней мере, свободен от власти прошлого; Грановский подвластен обоим, и до такой степени, что настоящее обращается для него в непрочную тропинку между двух бездн; у него нет и следа того смелого желания взнуздать и укротить дикую жизнь, заставить ее нести себя через пропасти и горы, которое наполняет Герцена.

Третий тип, и наиболее гармоничный, представляет собою Огарев. 1843—1845 годы были периодом, когда окончательно слагалось его мировоззрение, с удивительной полнотой воплощенное им потом в остальную часть его жизни. Две черты, к этому времени уже вполне выяснившиеся для него самого, следует признать наиболее характерными для этой сложной натуры: во-первых, слабость активной воли, делавшую его игралищем внешних условий и собственных страстей, во-вторых, присутствие огромной пассивной силы в глубине души. чувство глубокого покоя и непоколебимого упования, не покидавшее его ни в дни падений, ни в минуты душевных бурь. Из этих двух основных свойств его натуры выросло все его мировоззрение.

Высшая цель, которую он ставит себе и всякому человеку, заключается в том, чтобы научиться спокойно править

парусом среди бурного моря, победить случайность не путем бегства от нее, а путем нахождения себя в ней «тем же спокойным духовным существом, сохраняющим в несимпатичной жизни глубокую симпатию с самим собой, с миром своего чувства, сознания и поступков». Примирение должно быть не внешним, а внутренним; нельзя мириться со всякой мерзкой действительностью, признавая ограниченный момент действительным и непреложным: это—апатия или лицемерие. Но человек должен примириться с самим собою, т.-е. примирить себя, как единичного, с собою, как духом всеобщим. Этого внутреннего примирения человек достигает через проникновение себя истиной. Истина в чувстве есть любовь, истина в мысли—разумность: и то, и другое должно проникнуть нравственный мир человека, т.-е. мир его поступков. Только этим путем человек становится внутренно выше случайностей, т.-е. сохраняет себя среди всех треволнений адекватным себе, своей вечной сущности. И только в этом—полное счастие: «полное счастие—сознательно внимать великой симфонии жизни и отчетливо и от полноты души разыгрывать в ней свою партию, как бы грустно ни тревожили слышимые звуки». Жизнь должна быть художественным произведением, т.-е. свободным осуществлением внутреннего закона в личной деятельности.

Эту мысль Огарев называет еще только своим предчувствием: он знает, что до воплощения ее в жизни ему предстоит еще длинный путь, трудная внутренняя работа освобождения от многих романтических призраков; но он чувствует, что уже близка минута, когда он стряхнет всю внешнюю горечь жизни и найдет в себе силу жить адекватно истине.

Что эта теория не придумана им, а вытекала из недр его натуры, показывает то спокойное мужество, с которым он смотрит назад и вперед. Гнет воспоминаний и страх случайностей, подавлявшие Грановского и Герцена, ему чужды. Ни один из них не имел столько оснований с ужасом и отвращением вспоминать свое прошлое, как Огарев, потому что ни один не расточил так бесплодно молодость, силы, богатство, не заблуждался так часто и не падал так низко, как он. Между тем он совершенно не знает раскаяния. По его терми-

нологии, раскаиваться значит «пребывать в наслаждении своего горевания о том, что поступил не так»; это—неопределенная грусть, довлеющая себе и потому бесплодная. Есть другое отношение к своим ошибкам—внутренно так обновиться, чтобы стать выше горьких воспоминаний. Тогда опыт не парализует человека, а обращается в руководящую и просветляющую силу. В этой безбоязненности взгляда на самого себя, друг на друга и на весь мир, в этой стойкости любви и одушевления среди всех скорбей и ошибок он видит истинное совершеннолетие духа. Если на душе есть пятна, то в душе есть сила очиститься от них, а предаваться самообвинению и пессимизму значит избегать ясного расчета с самим собою и его результата—самообновления; они—порождение тайной трусости, потому что за ними человек ловко скрывает от себя, что ему лень жить здорово и сильно.

С той же суверенной свободой относится он и к будущему. Страх Герцена пред будущим он называет романтизмом наизнанку. Сам он не признает существования глупых случайностей; бояться будущего, говорит он в одном месте, ему мешает сознание связи mit dem Allgemeinen. Случайное, по его мысли, есть фантазия природы, и природа движется в этой сфере, как движется фантазия в художественном произведении,—вольно, но стройно, безгранично, но целесообразно. Индивидуальность органически входит в мировое целое и подлежит его законам, а следовательно, и случаю, ибо «случаи—отдельные слова в книге судьбы». Несчастная случайность, постигшая близкого нам человека, может надолго повергнуть нас в печаль, но враждовать против нее нельзя, как нельзя сердиться на неизбежность смерти, увядания и пр. Как враждовать с природой, с внешней необходимостью, с тем, что вне мира человеческого и, стало быть, вне возможности борьбы и победы?—И точно оправдываясь, он пишет Герцену: «Что ж мне делать, если случайность меня не оскорбляет?» [1]).

---

[1]) Этот мудрый фатализм, это—если можно так сказать—благоговенье перед грядущим с удивительной силой выражены Вильгельмом Гумбольдтом в одном сонете: «Есть власть судьбы, таинственная власть. В соединеньи с силами природы она определяет смертным час страданья и час блаженства; пред ней одной я голову склоняю. Кто чтит судьбы священный приговор, того и тяжкое

Впоследствии Огарев действительно достиг того глубокого внутреннего примирения, которое в половине 40-х годов было для него еще только предчувствием, и результатом этого примирения было спокойное мужество, какого никогда не обрели Грановский и Герцен, а вместе и совершенное освобождение от «романтических призраков». Уже в 1846 году он пишет жене: «Ich bin nüchtern geworden. Я не умею перевести этого немецкого выражения. Это не сухость сердца. но состояние, в котором чувствуешь реальность во всем, в мысли, как и в привязанности, и в котором опыт становится необходимым условием жизни». И точно, необыкновенная трезвость взгляда, непоколебимый детерминизм как в отношении к самому себе, так и в отношении к вещам и людям, характеризуют его в позднейшие годы. «Он сделался по плечу каждому человеку,—рассказывает Анненков, близко знавший его как раз в половине 40-х годов,—как самому простому, так и самому развитому, потому что одинаково верно понимал их духовные нужды и входил в цепь их мыслей и представлений. Вместе с тем он приобрел редкое хладнокровие суждения, не покидавшее его уже во всю остальную жизнь: всякий факт и случай, являвшийся, в свою очередь, как логическое следствие целого предшествующего жизненного процесса, признавался им законным, получал его согласие и поддержку, хотя бы сам по себе не имел претензии на очевидный моральный характер и способен был бы даже возбуждать к себе неприязнь и осуждение. Ту же самую мерку прилагал он и к себе лично. Совершенно ясно и спокойно смотрел он на приближение старости, на умножающиеся припадки злой своей болезни, на грозящее ему разорение, на всю свою потерянную, испорченную жизнь, и ни о чем не сожалел, ни в чем не раскаивался». Это была великая духовная сила, притом сознавшая себя, но, правда, сила только пассивная. Прошлое и грядущее не имели власти над ним, не становились между

не сломит горе, и в счастьи он надменно не ликует, познав и милости, и кары правосудье. Как светила свершают путь свой лучезарный, так неизменно, неотразимо-властно судьба, из тайной дали исходя, пересекает суетные круги желаний наших. Так легкий след в песке сыпучем смывают в час прилива волны моря».

ним и текущей минутой; но от настоящего он умел лишь беззаветно брать то, что оно предлагало ему,—творить в нем он не умел. Он сам очень метко сказал о себе; «Мой враг—не прошедшее, не будущее, а настоящее, в котором я не умею р е ш а т ь с я»; другими словами, волевой импульс никогда не достигал у него полной законченности, останавливаясь каждый раз в стадии сосуществования двух или более разнородных стремлений.

V.

Итак, несомненно, что из троих друзей Огарев созерцал действительность наиболее беспристрастно, наименее отуманенным взглядом. Он приближался к гегелевскому типу разумного человека, который спокойно признает, что 2×2=4, не негодуя на то, что не 3, и не оскорбляясь тем, что не 5. Герцен близко подходил к нему в этом смысле: страх будущего не мешал ему ясно видеть в настоящем. Иное дело Грановский. «Романтизм», крепко коренившийся в его натуре и делавший его вечным данником прошлого, был глубоко враждебен реалистическому взгляду на мир. Огарев, столько раз терпевший крушение и так много похоронивший в волнах, все же чувствовал себя легко и привольно в открытом море действительности; смело плавал в нем и Герцен, хотя и предвидя бури,—Грановскому оно внушало ужас: он не мог забыть, что оно поглотило столько дорогих ему существ, и искал тихую пристань.

Такою тихой пристанью и было его мировоззрение, основанное на пристрастных, но полных неслабеющей любви воспоминаниях, на односторонних, но чарующих своей задушевностью верованиях. Ему было не по себе в том новом мире, который открывали тогда естественные науки,—в мире, где царит железный закон детерминизма. Герцен и Огарев лишь приняли от Фейербаха благую весть освобождения: он дал им мужество признать за фантастически-освещенный туман те грозные утесы, «о которые бились—от семи греческих мудрецов до Канта и Гегеля—все дерзавшие думать». Живое чутье действительности помогло им освободиться от догмата о приоритете логики над природой, затем в мучительных

поисках выхода из дуализма идеи и бытия они доработались до сознания необходимости прежде всего постигнуть бытие в нем самом. Отсюда их страстное увлечение в 1843—1846 г.г. естественными науками. В конечном итоге их занимала больше всего социальная жизнь, следовательно, история, и вот оба они одновременно приходят к сознанию, что история должна быть основана на антропологии, антропология, в свою очередь,—на физиологии, физиология—на химии; в начале 1845 г. Огарев, сообщая Герцену о курсе антропологии, открытом в Париже Огюстом Контом, и о занятиях Боткина и Фролова естественными науками, с торжеством указывал на то, что новое, положительно-научное воззрение, усвоенное ими обоими, с каждым днем становится все более общим в Европе, что всюду возникает интерес к антропологии, науке о конкретном человеке. Это было действительное освобождение от всякой предвзятой точки зрения, как от спиритуализма, так и от материализма. Они нашли выход из двойственности логики и природы: вещество—такая же абстракция вниз, как логика—абстракция вверх; в конкретной действительности нет собственно ни того, ни другой, а есть их взаимодействие, есть процесс. И они ставят себе задачей беспристрастно изучать этот процесс, не отступая перед крайними выводами изучения; положительная наука не убьет в них идеализма, но даст ему твердую основу, введет его в русло и устремит к реально-практической цели.

Дух времени не миновал и Грановского. Мы видели: наравне с Герценом и Огаревым он признал господствующий в истории детерминизм, «закон или, лучше, необходимость»: он полагает, что ясное знание законов, определяющих движение исторических событий, может быть достигнуто лишь путем внимательного изучения фактов мира духовного и природы в их взаимодействии, и потому считает географию и антропологию основами истории. Но на этих теоретических предпосылках он и останавливается, и из тесных рамок детерминизма одним прыжком неожиданно выходит в безграничную область субективной телеологии. «Необходимость», царящая в истории, оказывается целью исторического движения; она—не что иное, как «нравственный закон, в осуществлении кото.

рого состоит конечная цель человечества на земле». Отсюда развивается у него целая система исторического оптимизма. вера в божественную связь, охватывающую всю жизнь человечества; в исторический процесс вносится трансценденталь-ная целесообразность, идущая совершенно вразрез с детерминизмом, и стремление провести эту точку зрения при изучении событий заставляет Грановского сплошь и рядом либо обходить неразложимые этой целесообразностью глыбы фактов, либо отделываться от них фразой. Когда Огарев в 1845 году прочитал в одной немецкой брошюре меткую критику старого учения о давлении воздушного столба, он писал Герцену: «Автор провел ясно всю негативную половину своей брошюры, но для об'яснения явлений иным образом прибегнул к natura abhorret vacuum (природа боится пустоты), и тут мне стало тошно. Все мистическое сделалось мне неимоверно противно, и я не могу без отвращения видеть предположения чисто-нравственного качества в природе, как abhorret». А не задолго перед тем, летом 1844 года, по поводу открытия астрономами пятна на солнечном диске и предсказания Герцена о возможности в будущем такого переворота в солнечной системе, который бесследно сметет всю земную жизнь, Грановский писал жене: «Великий астроном. уверяющий тебя, что пятна на солнце произвели холодное лето и знаменуют переворот в солнечной системе, бессовестно пользуется правом математиков пороть дичь и не знать истории. Это явление повторялось тысячу раз, и каждый раз математики и чернь об'ясняли его по-своему и выводили страшные заключения... Но пусть будет так, как они говорят. Пусть погаснет это солнце и охладеет эта земля, дух будет продолжать начатую им здесь работу где-нибудь в другом месте. Какая китайская нелепость в предположении. что вся жизнь духа связана с органическою жизнью нашей планеты исключительно, какая хула на разум, какое отрицание всякой разумной цели в бытии космоса заключается в этой вере в силу слепого, глупого случая, который, чорт знает для чего, вздумал запачкать солнце!» Разумная цель в бытии космоса—это был такой «антропоморфизм des Allgemeinen» (говоря языком того времени), в сравнении с которым

abhorret автора брошюры об атмосферном давлении представлялось еще довольно безобидной вещью.

Позднее Герцен писал о Грановском, что из него никогда не вышел бы ни человек чистого мышления, ни строгий естествоиспытатель: он не выдержал бы ни бесстрастную неприцеприятность логики, ни бесстрастную об'ективность природы. Действительно, он был лишен тоїї внутренней силы, которая позволяет человеку смотреть в лицо Медузы, не каменея; он должен был отвернуться от зрелища иррациональности природы и еще более ужасного зрелища антиномиї исторического процесса. Чтобы не потеряться в хаотическом волнении конкретноїї действительности, ему нужны были опоры и загородки. Такою внешнеї опорой и была его вера в нравственную цель истории, такоїї загородкоїї—его вера в jenseits. Он сам свидетельствует о том, что религиозные чувства были внушены ему в детстве матерью, потом ослаблены печально проведенноїї юностью и снова воскрешены влиянием жены. Их укрепил в нем всего более ряд тяжких потерь, понесенных им, одна вслед за другоїї, начиная с 1840 года: в этом году умер Станкевич, вскоре затем Е. П. Фролова, имевшая сильное влияние на Грановского и связанная с ним теплоїї дружбоїї, летом 1842 года умерла старшая из нежно-любимых им сестер, в том же году последовала за неї младшая, в 1843 умер брат. Он никогда не примирился с их потерей, они «ежедневно умирали для него снова», и единственным утешением оставалась ему надежда на свидание с ними за гробом. «Не будь же грустна, моя Лиза. Есть другая жизнь, без разлуки», писал он однажды жене. Герцен и Огарев в юности и вплоть до конца 30-х годов также отличались глубокоїї религиозностью; но уже в 1842 году вот что писал в своем дневнике Герцен по поводу смерти Вадима Пассека: «Тайна, и грозная, страшная тайна! А как наглазно видно тут, что jenseits—мечта... «Мы увидимся, скоро увидимся», говорила жена (Пассека); теплое, облегчающее верование, мое последнее верование, за которое я держался всеми силами. Нет, и тебя я принес в жертву истине! А горько с тобою расставаться было, романтическое упование новоїї жизни». Расстался с ним, только несколько позднее, и Огарев—и, ка-

жется, трудно ярче обнаружить разницу двух натур: одной, всецело опирающейся на самое себя, и другой, ищущей вне себя опоры, чем это сделал Огарев в следующих строках, обращенных к Грановскому (1845 г.): «Скорбь об утрате близких должна остаться глубоко, скорбью всей жизни; от этого-то я и ненавижу утешения посредством jenseits. Они мешают скорби, они облегчают чувство утраты, они—т р у с о с т ь п р е д с т р а д а н и е м».

В своей биографии Грановского А. В. Станкевич считает нужным оправдать его мировоззрение, доказывая, что Грановский дорожил своими верованиями вовсе не из страха расстаться с утешительной и успокаивающей привычкой, а из отвращения к легкомыслию, «в начале изучения и труда уже смело провозглашающему последние результаты науки, возводящему в догмат свои догадки, свои шаткие соображения». Я думаю, что здесь вообще не может быть речи о суде и оправдании, потому что, как выразился однажды сам Грановский, взгляд всякого мыслящего человека есть результат развития целой жизни. Но биограф притом и не прав. Среди бумаг Герцена нашлось неизвестное доселе письмо Грановского к Огареву (от начала января 1845 г.), заключающее в себе искреннее и откровенное признание, так ясно изображающее ход развития его верований, совершенно согласно с нарисованной выше картиной, что сомнению не остается места. Привожу его целиком [1]).

«Я не люблю писать писем и диссертаций, вот почему я так редко пишу к тебе и так долго остаюсь профессором in spe. А между тем мне иногда мучительно хочется поговорить с тобой; думаю: напишу ему то и то, приготовляю в голове огромное послание, но из головы оно не выйдет. Потребность как будто усыплена или не удовлетворена, и я спокойно ожидаю другой такой же минуты. Последнее письмо Герцена задело меня за живое. Я собирался многое написать тебе, и по

---

[1]) Оно составляет приписку к огромному письму Герцена от 1—2 января 1845 г., напечатанному в Р у с. М ы с л и 1891 г., VI, стр. 21—26. Там же напечатаны и первые строки приписки, до слов «такой же минуты»: этими словами начинается новый листок, который не был в распоряжении издателя «Переписки недавних деятелей».

благородному обычаю написал про себя. Письмо не состоялось. Мне тягостен самый процесс писания, т.-е. держание пера в руке и пр.

«Странно и досадно! По смерти Станкевича ты и Герцен стали для меня самыми близкими людьми, перед вами обоими мне легче, чем перед другими, раскрывать душу. Узнать меня, кажется, нетрудно, особенно друзьям. Зачем же Герцен так много врет обо мне? Я вылит aus einem Guss, я—романтик и т. д. Все это вздор, но вздор, который мне больно слышать от Герцена. Ему бы можно знать меня покороче. Я—aus einem Guss! Я—весь изорванный и измученный внутренно. Это не фраза. Тебе это известно, может быть. Меня измучили, конечно, не мировые вопросы, а большею частью личные утраты, жизненные опыты, которыми я, без всякого сомнения, богаче всех вас. Я искусственно успокоился от всего в истории и в дружбе. Когда я приехал из Берлина, я не нуждался в jenseits и готов был принять все результаты философии на веру (самый процесс для меня всегда был очень труден даже тогда, когда я занимался логикою при пособии Вердера и Станкевича); я смотрел на эти результаты без страха. Умер Станкевич, умерли сестры, и jenseits стало каким-то постулатом у меня. Многое изменилось во мне от причин чисто-личных. Теперь я отвык совсем от умозрения. я вдался в историю и думаю, что у меня есть призвание к этому делу. Только одно это занятие, этот интерес, с которым, впрочем, так много связано, дает единство моему внутреннему бытию. Да, я понимаю, что от этого я могу показаться посторонним очень ровным, успокоенным в себе человеком. Но Герцен мог бы заглянуть поглубже. Занятие историей, в свою очередь, развило во мне многое и в особенности какой-то скептицизм. Трудно уберечься от него среди этого вечного движения форм и идей. Одно сменяет другое, волна гонит волну. У всякого века была своя истина. Иногда становится грустно и страшно. Я мало читал Спинозу, но из всех философов его одного еще могу читать. Результат всего этого: если бы не было на свете истории, моей жены, всех вас и вина, я, право, не дал бы копейки за жизнь. Я люблю жизнь только за это. Прощай. Журнал не состоялся. Какой же я романтик? Прощай еще раз. Крепко жму тебе руку».

В этом письме Грановский говорит о двух вещах, которые не следует смешивать: о своих интимных верованиях и о своих научных взглядах. Верования свои он и не пытается оправдать или доказать: он прямо заявляет, что они—плод его личного опыта, что они нужны ему, как опора в трудной жизни. Защищает же он только научный скептицизм, основанный на убеждении в относительности и сменяемости добываемых человеком истин. Очевидно, что о причинной связи между его верой и этим скептицизмом нельзя говорить: скептицизм ведет только к отрицанию догматизма и к терпимости, но сам по себе не может порождать положительных верований; он не сеет их семена в душе: он лишь облегчает их рост и упрочение.

К приведенному сейчас письму Герцен сделал такую приписку: «Может, я и в самом деле ошибся с aus einem Gusse, но я, впрочем, не в тех границах употребил это слово, в которых принял Грановский. Дело в том, что он нашел занятие вполне поглощающее, единое, сообразнейшее душе, и глубоко, отчетливо, прекрасно идет по этой дороге. Что касается до обвинения в романтизме—primo это не обвинение, а secundo повтори сам, что ты пишешь о Фролове [1]). Что за дело, как и почему такие-то элементы взошли в жизнь: речь идет о том, каков человек есть и побеждено ли им внешнее».

Именно так стоит здесь этот вопрос для нас.

VI.

Мировоззрение Грановского, рано сосредоточившегося на одной специальной отрасли знания, в своих основных чертах уже окончательно сложилось к 1842 году, когда началась его дружба с Герценом. Последний как-раз в это время вступал в последний период своего развития: именно на бли-

---

[1]) В письме от 13-го сентября 1844 г. Огарев писал: «...есть границы слабости и силы... Один из самых сильных людей, один из самых близких мне по духу и по душе—Фролов, а иногда и этой силе непереступимая граница. Есть у нас спорные пункты. У него близкое существо на том свете. Случай, несчастие, оскорбление природой святыни душевной заставляют искать jenseits. Право, чувство границ, зависимость от случая тревожит меня болезненнее всего на свете» и т. д.

жайшие четыре года приходится его знакомство с Фейербахом, изучение Гегеля, решение вопроса об отношении логики к бытию, занятия естественными науками и выход из метафизики к реализму положительной науки. Развитие всякого мыслящего человека сводится к тому, чтобы найти себя в сознании, т.-е. чтобы выработать себе или отыскать готовыми те сознательные формулы, в которых наиболее полно воплотились бы инстинктивные, врожденные наклонности его духа. В Герцене этот процесс нахождения себя совершился как-раз в период 1842—46 г.г. В эти годы, когда были написаны статьи о диллетантизме в науке, «Письма об изучении природы», «Крупов» и «По поводу одной драмы», окончательно сложились его нравственно-философские воззрения, в существе оставшиеся неизменными до конца его жизни. Таким образом, те элементы разногласия, которые в начале дружбы, по крайней мере, со стороны Герцена, находились еще в зародыше, к концу этого периода должны были выступить наружу с полной ясностью.

Они не могли не выйти наружу еще и потому, что этого требовал самый характер умственной жизни того круга людей, к которому принадлежали Грановский и Герцен. «Еще бы у нас было неминуемое дело,—говорит Герцен,—которое бы нас совершенно поглощало; а то ведь собственно вся наша деятельность была в сфере мышления и пропаганды наших убеждений... какие же могли быть уступки на этом поле?» В дневнике он часто возвращается к этой теме, без всякого отношения к своим спорам с Грановским. Он ясно видел, что глубокий, неестественный разрыв с существующим, со всей действительной жизнью, неизбежно должен вести к идиосинкразиям, капризам, нетерпимости: «возможность внутренняя и невозможность внешняя превращает силы в яд, отравляющий жизнь; они загнивают в организме, бродят и разлагаются, отсюда взгляд гнева и желчи, односторонность в самом мышлении».

Следовательно, уступок не могло быть и по существу дела, и по болезненно-чуткой настроенности обеих сторон. В особенности уступить не мог Герцен. В назревавшей размолвке почин неизбежно должен был исходить от него. Не

говоря уже о разнице натур — созерцательной и терпимой натуры Грановского, активной и задорной Герцена,—важно было то, что Грановский отстаивал традиционное воззрение, тогда как Герцен являлся неофитом учения юного, только что выступившего на завоевание и опьяненного своими первыми победами. Это боевое настроение очень сильно сказывается в дневнике Герцена, начиная с 1844 года. Ум от природы преимущественно критический, глубоко-враждебный духу авторитета и всякой туманности мышления, Герцен рано стал, по меткому выражению Анненкова, «неутомимым следователем по части пороков мышления, промахов развития, несообразности действий с их поводами». Новое, реально-научное направление, которому он отдался теперь, должно было сильно обострить в нем это отвращение к традиционным верованиям, освящаемым общим молчанием, ко всяким непроверенным истинам, и естественно, что борьба против того, что казалось ему ленью или произволом мысли, получила для него в этот период характер священного долга, в осуществлении которого не может быть никаких уступок. Уже в декабре 1844 года, т.-е. за полтора года до размолвки, он записал в своем дневнике: «Наши личные отношения много вредят характерности и прямоте мнений. Мы, уважая прекрасные качества лиц, жертвуем для них резкостью мысли. Много надобно иметь силы, чтоб плакать и все-таки уметь подписать приговор Камиля Демулена». В этой зависти к силе Робеспьера, писал он позднее, уже дремали зачатки злых споров 1846 года. Разрыв действительно стал неизбежным.

В XXXII главе «Былого и Дум» Герцен подробно рассказал историю этого «теоретического разрыва» между ним и Огаревым, с одной стороны, Грановским—с другой; его рассказ пополняется воспоминаниями Анненкова, Панаева и Т. А. Астраковой (в записках Т. П. Пассек). Разрыв обнаружился летом 1846 года, когда все трое—и Грановский, и Герцен, и только что вернувшийся в Россию после нескольких лет заграничного скитания Огарев — жили на даче в Соколове под Москвою; но он назревал уже года два или больше, как можно видеть и из приведенного выше письма. Герцен рассказывает, что еще прежде, чем им самим стал

ясен их раздор, его заметило молодое поколение, совершенно проникнутое реалистическими воззрениями, зачитывавшееся его «Диллетантизмом в науке» и «Письмами об изучении природы», считавшее его и Белинского представителями своих философских мнений и, при всей своей любви к Грановскому, уже начинавшее восставать против его «романтизма». В тиши деревенской жизни, при близости ежедневного общения, разногласие должно было выйти наружу. Оно было слишком существенно, слишком задевало жизненный нерв каждого из участвующих, чтобы даже та горячая любовь, которою они были связаны, могла предотвратить раскол. Каждый теоретический разговор неизбежно приводил к тем же основным вопросам мировоззрения, споры становились все чаще. «Огарев, не видевший меня года четыре,—говорит Герцен,—был совершенно в том направлении, как я. Мы разными путями прошли те же пространства и очутились вместе». Грановский, повидимому, держался оборонительно и старался избегнуть резкого разрыва; почин решающего спора принадлежал Герцену. Он рассказывает, что однажды этим летом, когда разговор опять коснулся щекотливого пункта, он заметил, «что развитие науки, что современное состояние ее о б я з ы в а е т нас к принятию кое-каких истин, независимо от того, хотим мы или нет; что, однажды узнанные, они перестают быть историческими загадками, а делаются просто неопровержимыми фактами сознания, как Эвклидовы теоремы, как Кеплеровы законы, как нераздельность причины и действия, духа и материи».

— Все это так мало обязательно,—возразил Грановский,—что я никогда не приму вашей сухой, холодной мысли единства тела и духа; с ней исчезает бессмертие души. Может, вам его не надобно, но я слишком много схоронил, чтоб поступиться этой верой. Личное бессмертие мне необходимо.

— Славно было бы жить на свете,—сказал Герцен,—если бы все то, что кому-нибудь надобно, сейчас и было тут как тут, на манер сказок.

— Подумай, Грановский,—прибавил Огарев,—ведь это своего рода бегство от несчастия.

— Послушайте, — возразил Грановский, бледный и придавая себе вид постороннего,—вы меня искренно обяжете, если не будете никогда со мной говорить об этих предметах. Мало ли есть вещей занимательных и о которых толковать гораздо полезнее и приятнее.

Этим разговором все было уяснено: «так вот она, межа,— предел и вместе цензура!» Тяжело было так, говорит Герцен, точно кто-нибудь близкий умер. Как сильна была боль в нем и в Огареве, показывает стихотворение («Искандеру»), сочиненное Огаревым вечером того же дня на дороге в Москву.

Я ехал по полю пустому;
И свеж, и сыр был воздух, и луна
Скучая шла по небу голубому,
И плоская синелась сторона.
В моей душе менялись скорбь и сила,
И мысль моя с тобою говорила.

Все степь да степь! Нет ни души, ни звука;
И еду вдаль я горд и одинок.
Моя судьба во мне. Ни скорбь, ни скука
Не утомят меня. Всему свой срок.
Я правды речь вел строго в дружнем круге—
Ушли друзья в младенческом испуге.

И он ушел—которого как брата
Иль как сестру так нежно я любил!
Мне тяжела, как смерть, его утрата;
Он духом чист и благороден был,
Имел он сердце нежное как ласка,
И дружба с ним мне памятна как сказка.

Ты мне один остался неизменный.
Я жду тебя. Мы в жизнь вошли вдвоем;
Таков остался наш союз надменный!
Опять одни мы в грустный путь пойдем,
Об истине глася неутомимо,
И пусть мечты и люди идут мимо.

Грановский страдал не меньше. Позднее, в половине 1849 года, он писал Герцену за границу: «На дружбу мою к вам двум ушли лучшие силы моей души. В ней есть доля страсти, заставлявшая меня плакать в 1846 г. и обвинять себя в бессилии разорвать связь, которая, повидимому, не могла продолжаться. Почти с отчаянием заметил я, что вы

прикреплены к моей душе такими нитками, которых нельзя перерезать, не захватив живого мяса».

Надо заметить, что теоретическая рознь была обострена в это лето целым рядом мелких недоразумений, бестактностей и взаимных обид, виновником которых в большинстве случаев был, повидимому, Герцен, но которые вместе с тем обнаруживают напряженно-нервное состояние, в каком находился весь кружок. Явное распадение дружеского круга было одной из главных причин, заставивших Герцена зимою уехать с семьей за границу. Огарев еще осенью поселился в своем пензенском имении.

VII.

С Герценом, оставшимся за границей навсегда, Грановский более не виделся; изредка они обменивались письмами, полными горячей взаимной любви, глубокой тоски друг по другу. В Герцене личное раздражение улеглось не скоро. О тоне первых его писем можно судить по ответному письму Грановского от 1847 г.: «Я не отвечал на большую часть твоих писем, потому что они производили на меня нехорошее действие. В них какой-то затаенный упрек, неприязненная arrière pensée, которая поминутно пробивается наружу... Твои прежние насмешки над близким тебе не были обидны, потому что в них была добродушная острота; но ирония твоих писем оскорбляет самолюбие и более живое и благородное чувство. Не лучше ли было прямо написать к нам, пожалуй, жесткое письмо, если ты не был нами доволен, но ты рассыпал свои намеки в письме к Т. А. (Астраковой) и т. д.; это было нехорошо. Последние дни твои во многом могли доказать тебе, что соколовские споры не оставили следов, и сколько любви и преданности оставил ты за собою... К чему же повторять смешные обвинения в отсутствии деятельной любви, в апатии и пр.». В Грановском не осталось, повидимому, и тени горечи: это самое письмо дышит трогательной нежностью, и таковы же все позднейшие его письма. Рознь в убеждениях, ложившаяся пропастью между ним и Герценом, мучила его, и он как будто старался уверить себя, что она исчезла; в том письме 1849 г., из которого выше приведена выдержка, он пишет, вспоминая

соколовские споры: «Время это прошло не без пользы для меня. Я вышел победителем из худшей стороны самого себя. Того романтизма, за который вы обвиняли меня, не осталось следа». До самой смерти лелеял он надежду увидеться с другом и еще осенью 1853 года называл ее своей лучшей, отраднейшей мечтой. Многое в заграничных писаниях Герцена было ему не по-сердцу, но это не умаляло его любви. Писем Герцена к нему мы не знаем, но в «Былом и Думах» Герцен говорит: «... Если время доказало, что мы могли розно понимать, могли не понимать друг друга и огорчать, то еще больше времени доказало вдвое, что мы не могли ни разойтись, ни слелаться чужими,—что на это и самая смерть была бессильна». Он рассказывает, что получил письмо с известием о смерти Грановского, идя в Ричмонде на железную дорогу. Он прочитал его на ходу и сразу не понял, потом точно в просонках сел в вагон и без мысли смотрел на входивших и выходивших; его клонил тяжелый сон и ему было страшно холодно. В Лондоне он встретил Тайландье; здороваясь с ним, он сказал, что получил дурное письмо, и, как будто сам только что услышал весть, не мог удержать слез. «Мало было у нас сношений в последнее время,—говорит он в заключение,—но мне н у ж н о было знать, что там, вдали, на нашей родине ж и в е т этот человек» [1]).

С Огаревым, осенью 1846 года уехавшим в деревню, Грановский в ближайшие годы поддерживал, кажется, деятельную переписку; во всяком случае, их отношения оставались братски-дружественными попрежнему. Но позднее, уже в начале 50-х годов, между ними сверх теоретической размолвки возникли тяжкие недоразумения чисто-личного свойства, главным образом, из-за недружелюбного отношения Грановского и других московских друзей ко второй жене Огарева, Н. А. Огаревой-Тучковой, в чьих воспоминаниях читатель и может найти кое-какие подробности этой грустной истории.

---

[1]) В ненапечатанном письме Герцена к Е. Ф. Коршу от 27 декабря 1855 г., хранящемся в Московском Румянцевском музее, читаем: «Много, очень много оборвалось нитей, связывавших меня с Русью, вместе с жизнью нашего друга... Я думал в случае моей смерти прислать Сашу (сына) к Грановскому и хотел ему писать об этом. Теперь и это лопнуло».

Целая сеть пересудов, сплетен и взаимных обид опутала и надолго разъединила друзей. Нам нет надобности останавливаться на этом эпизоде; я приведу только для полноты фактического материала те, не бывшие еще в печати, немногочисленные письма их этого времени, которые находятся в моем распоряжении. Следующее письмо Огарева, черновик которого нашелся среди бумаг Герцена, относится, без сомнения, к 1854—1855 г.г.

«Грановский!

«В животе и смерти Бог волен», говорит пословица. На простом языке это значит, что не сегодня—завтра умрешь. Грустно умереть или знать, что ты умер, не примирившись. Вследствие этого пишу; выйдет ли письмо длинно или коротко—чорт знает! но мне надо высказаться, и потому слушай терпеливо.

«Во время оно, при последнем нашем свидании, ты обвинял меня и мою жену в насильственном браке близких мне людей. Было ли это обвинение сделано на основании только сентиментальных данных или с примесью какого-нибудь враждебного влияния,—это все равно. Обвинение было сделано, несмотря на то, что ты сам мог понять его нелепость. Другое дело Кетчер, который по патологическому состоянию мозга взялся разыгрывать роль procureur du roi в отношении к своим друзьям; но от тебя я этого не ожидал. На Кетчера смешно сердиться, но и выносить нелепые оскорбления смешно. Я с ним внутренно разошелся с 1847 года, когда он взвел нелепую клевету на Наташу Герцен со слов Силишьки. Я его жалею и люблю и готов на всякое примирение без об'яснений и без права с его стороны на дальнейшие оскорбления; с моей же стороны оскорблений быть не может именно потому, что я его люблю и жалею.

«Ну! а ты с чего?—Да мало этого первого нелепого обвинения, которое меня ошеломило, мало этого: какой-то суб'ект с гигантской интеллигенцией рассказал, что жена моя говорит, что вы—друзья мои—меня разорили!! И вместо того, чтобы обратиться ко мне с запросом (если уже духу не хватало рассердиться на клевету), вместо того — обвинение суб'екта с гигантской интеллигенцией было принято за

аксиому! Что ж это, из любви и уважения ко мне? Зачем же присылать мне словесно по оказии об'яснение в любви и уважении? Этак мог поступить не ты, а какой-нибудь господин, у которого уста медоточивые, а на место сердца вставлена тряпка.

«А после этого станете говорить, что вы наперед знаете, что меня с вами разрознит женщина... Да что же тут мудреного, если дружба будет состоять в том, чтобы оклеветать женщину, которую друг любит и уважает! Подлец я был бы, если бы в таком случае предал женщину за дружбу. А!.. может, это—побуждение ревности? Ты мне говорил, что Кетчер любит ревниво, как женщина. Чувство очень естественное, может быть, в художественном произведении даже и поэтическое, но ни в женщине, ни в мужчине не уважительное—как всякая зависть. Да и год перед этим ты мне выхвалял одну женщину за то, что она не ревнует! за то, что признает волю любви!

«Скажи же, что же это у тебя—также патологическое состояние мозга или увлечение чужими пересудами? Что лучше—не знаю. Даже думаю, что первое лучше.

«Как бы то ни было, но на основании клеветы поездка Наташи в Петербург в годину бедствий была принята, как желание погубить нас[1]). Факт не оправдал опасений. Скажут, что счастливо с рук сошло! Но не лучше ли увидать, что опасения-то насчет этой поездки были ложны? Есть же, наконец, границы чувству самосохранения! Но из этого вышло то, что ее приняли с видом карателей и упрекателей. За что?.. Знаешь ли, что это отчасти похоже на поступок людей, которые бросают грязью в человека, идущего на виселицу?

«Наконец я писал к тебе. На это ответа не было, кроме сладких из'яснений в любви и уважении—по оказии. Да уж

---

[1]) Это было в 1850 году, когда Огарев, Сатин и А. А. Тучков были арестованы и увезены в Петербург: Н. А. Тучкова, тогда еще не венчанная с Огаревым, поехала вслед за ними; московские друзья, повидимому, и самый арест приписывавшие отчасти этому «незаконному» сожительству, сильно осуждали ее поездку. См. Воспоминания Н. А. Тучковой-Огаревой. М., 1903, стр. 80.

лучше было бы сказать, что ты и не любишь, и не уважаешь меня! Было бы проще.

«Я приехал в Москву. Ты мне пишешь, что от того, что я к вам не приехал, вам за меня и больно, и стыдно. Кому насколько во всем этом больно, всякий про себя знает, а кому во всем этом стыдно—конечно, не мне. Стыдно любя преследовать хуже, чем ненавидя.

«Но когда ты услыхал (вероятно, от Кавелина) о том, что я оскорбляюсь твоей безответностью на мое письмо, ты вместо откровенного сознания в том, что твое молчание было нехорошо, об'являешь (что мне передано Кавелиным и подтверждено Бодиской), что ты не писал оттого, что я все письма показываю моей жене. Если первые клеветы были только нелепы, то эта клевета, Грановский, гадка, потому что придумана в извинение, и тебе действительно должно быть отчаянно стыдно.

«После всего этого, если я скажу тебе, что питаю к тебе беспредельное уважение,—я солгу. Ты сам видишь (вот тебе и зеркало), что это невозможно. Но я люблю тебя quand même за воспоминания, за хорошие минуты нашей жизни, и легко перепрыгну через—преступления.

«Если же ты намерен настаивать в жалких клеветах, то ты забудь меня, и я постараюсь сделать то же в отношении к тебе; если же ты способен на великодушие откровенности, то приходи ко мне и скажи: прости меня! И я по-прежнему с горячею любовью обойму тебя. Реши как знаешь! В последнем случае назначь мне время, когда мне быть дома, и я тебя буду ждать с нетерпением первой любви. Dixi!» [1]).

Среди бумаг Грановского после его смерти нашлось нелатирование и, вероятно, не посланное письмо к Огареву,

---

[1]) Возможно, что к этому эпизоду относится стих. Огарева «Другу», написанное в 50-х годах:

Мы с давних пор делили пополам
И сердца жар, и мысли тайный трепет,
Но, знать, не впрок пошло былое нам,
И смолкло все, как глупый детский лепет.

Пожалуй, жаль! Но дружба не спасла,
И друга друг с младенческой улыбкой

напечатанное теперь в его переписке (стр. 449); оно, очевидно, было ответом на письмо Огарева, аналогичное приведенному сейчас. «Какое гадкое обвинение на тебя принято мною с о т ч а я н н ы м п р е к р а с н о д у ш и е м?—спрашивает Грановский.—Когда говорил я тебе о тебе, что нас раз'единяет различие занятий? В чем видел ты отсутствие симпатии с моей стороны?.. Огарев, нам нечего оправдываться друг перед другом. Придет пора—я крепко держусь за эту надежду—мы сойдемся без об'яснений и без оправданий, так же близкие один другому, как в лучшие годы нашей дружбы. Теперь это невозможно... Твоя судьба мне бесконечно близка, но я не могу следовать сердцем за всеми блужданиями твоего чувства и любить всех, кого ты любишь... Caro! Я люблю тебя, сколько могу любить. Я недоволен тобою, у меня есть душевные и горькие griefs против тебя, но мысль о разрыве с тобою так страшна, как мысль о смерти. Я не даю ей места в голове моей. Твой Грановский». Приведу еще несколько строк из письма Грановского к Сатину, писанного за несколько месяцев до смерти, уже после поездки Грановского в Петербург в апреле 1855 года (рукопись): «Пожми за меня руку жене твоей и Огареву. Я буду писать к нему. Скажи ему, что в минуты тяжелой тоски, от которой я только теперь начинаю выздоравливать, я много об нем думал и много любил его. Ближе его у меня нет человека на земле, а между тем, прежнего свободного отношения нет. На сердце много невысказанного, да притом такого, что и высказать трудно. Может быть, при свидании, в одну из тех минут, когда легко и тепло говорится обо всем, свалится с сердца тяжелая ноша. Но когда же наступит это свидание? Знаю только одно: в тяжелые и радостные минуты моей жизни образ Огарева—мой постоянный спутник».

Оклеветал!.. И скорбно жизнь прошла,
Прошла и вера к этой дружбе зыбкой.

Ну что ж? Ведь гнет ошибок и утрат
Нас не привел еще ко двери гроба?
Так не тужи, мой прежде бывший брат,—
Мы проживем, хоть врозь, но долго оба.

Есть основания думать, что Огарев, узнав о предсмертной болезни Грановского, поскакал из деревни в Москву, но уже не застал его в живых; по крайней мере, в стихотворении, посвященном памяти Грановского («Мертвому другу»), он говорит:

И ехал я на примиренье,—
Я жаждал искренно сказать
Тебе сердечное прощенье
И от тебя его принять,
Но было поздно...

До своей смерти Огарев хранил клочок бумаги, на котором неизвестною нам рукою написано: «Посылаю вам портрет Грановского, никогда не обвинявшего вас в обстоятельствах, разлучивших вас с ним в последнее время. Я его встретил за несколько дней до его смерти, и он говорил мне о вас с самою нежною дружбою, с полною готовностью по-братски, по-прежнему обнять вас при первом свиданьи. Желаю, чтобы мое свидетельство утешило вас сколько-нибудь в том, что вы не застали в живых нашего дорогого друга.—2 марта».

Об этом портрете и упоминает Огарев в том стихотворении:

В наследье мне дала утрата
Портрет с умершего чела;
Гляжу—и будто образ брата
У сердца смерть не отняла,
И вдруг мечта на ум приходит,
Что это только мирный сон,—
Он это спит, улыбка бродит,
И завтра вновь проснется он;
Раздастся голос благородный
И юношам в заветный дар
Он принесет и дух свободный,
И мысли свет, и сердца жар...

ГЛАВА ПЯТАЯ.

И. П. Галахов.

I.

Иван Павлович Галахов был сверстник и приятель Герцена, Огарева, Грановского и многих других «людей 40-х годов», его имя часто попадается в их переписке, еще чаще встречаются имена его двух сестер—Кенни и особенно Фроловой, замечательной женщины, оказавшей сильное влияние на развитие Станкевича и Грановского. Но сведений о нем сохранилось мало. Несколько страниц в «Былом и Думах», где Герцен грустным приветом почтил память Галахова, содержат все, что мы знаем о последнем. Эти сведения слишком отрывочны, да и весь силуэт, набросанный Герценом, при всей своей привлекательности слишком бледен, чтобы остановить на себе наше внимание. Зачем же, спросят, вызывать из забвения это безвестное имя и давно угасшую тень?

Мы знали бы об И. П. Галахове немного, если бы не уцелела пачка писем на французском языке к женщине, которую он любил. В этих письмах сказалась такая полнота жизни, так ярко отразился в них дух времени, что они дают возможность глубоко заглянуть не только в душу писавшего их, но и вообще в душу «человека сороковых годов».

Ключ к истории идей всегда лежит в истории чувства. Как изменения земной поверхности являются лишь следствием процессов, совершающихся в недрах земли, так, говоря вообще, и всякое умственное течение имеет своим источником темную и сложную чувственную сферу человеческого духа. Во всякую данную эпоху каждая общественная группа обладает своим особенным психическим складом; по законам,

которых еще и не пытались исследовать психологи, в каждой такой группе вырабатываются типические чувства и наклонности, типические полу-инстинктивные способы реагирования на различные стороны жизни,—и как ни велико влияние идей на психику, вообще надо признать, что сознательное мировоззрение данной группы обусловливается прежде всего этими чувственными навыками (при этом мы, конечно, оставляем в стороне первоначальное влияние экономических, социальных и других в н е ш н и х условий). Есть эпохи, в истории которых это особенно заметно; кто изучал историю итальянского Возрождения, тот знает, что понять это движение можно только, рассматривая его как революцию в области чувствований, и что такой простой факт, как возникновение в эту эпоху неизвестного до тех пор уменья чувствовать красоту ландшафта, гораздо больше дает для понимания «ренессанса», нежели кропотливые исследования о влиянии античной литературы. Сказанным, конечно, вовсе не отрицается самостоятельная важность исследований, направленных на выяснение развития идей, как таковых.

С указанной точки зрения великое движение тридцатых и сороковых годов еще почти совсем не изучено. Это был прежде всего великий переворот в области чувства. Каковы же были формы чувственной жизни, унаследованные тем поколением от прежних? как ломало оно эти формы и как создавало новые, какие чувствования преобладали у него? и т. д., и т. д.,—тут возникает ряд таких вопросов, методологически первостепенной важности. И вот в этом смысле письма Галахова являются драгоценным памятником эпохи. В них нет наблюдающего глаза; в них дышит, стремится, ликует и плачет сама жизнь, и в этой жизни так ярко отражается исторический процесс того времени, что они получают характер как бы демонстрации больного перед аудиторией.

Перед нами обыкновенная история, какие случаются каждый день; характерно не то, что̀ случилось, а то, ка̀к оно было пережито. Фабула нашей повести заключается в том, что Галахов полюбил жену своего друга Огарева; повидимому, она отвечала Галахову взаимностью,—и перед Галаховым встал страшный вопрос: что делать?—тем более страшный, что он

искренно любил и уважал Огарева. Это был вопрос о правах свободного чувства и о смысле брака. Поколением раньше Галахова и поколением позже его молодой человек в его положении решил бы вопрос конкретно, не спускаясь для этого на дно вещей. Но то поколение, к которому принадлежал Галахов, было призвано пересмотреть все устои нравственного быта и оттого ко всему подступало с принципиальной стороны. Галахов принялся резонировать или,—как тогда говорили—grübeln.

Это было в 1841 году, а в 1842-м Герцен писал («По поводу одной драмы»): «Отличительная черта нашей эпохи есть «grübeln». Мы не хотим шага сделать, не выразумев его, мы беспрестанно останавливаемся, как Гамлет, и думаем, думаем... Некогда действовать; мы переживаем беспрерывно прошедшее и настоящее, все случившееся с нами и с другими,—ищем оправданий, об'яснений, доискиваемся мысли, истины. Все окружающее нас подверглось пытующему взгляду критики. Это—болезнь промежуточных эпох. Встарь было не так: все отношения, близкие и дальние, семейные и общественные, были определены—справедливо ли, нет ли,—но определены. Оттого много думать было нечего: стоило сообразоваться с положительным законом, и совесть удовлетворялась».

II.

В 1841 году, в разгар романа, Галахову было, вероятно, лет тридцать с небольшим. Он происходил из аристократической семьи, юношей был отдан в гвардию, но скоро оставил ее, и жил с тех пор независимым человеком, то в пензенских своих деревнях, то скитаясь по Европе, в поисках истины и красоты. Так скитались тогда—в 1838—1842 г.г.—и Огарев, и Сатин, и Станкевич, и Тургенев, и многие другие богатые помещичьи сынки, которым на родине было слишком душно, а на Западе слишком шумно. Все они соединяли в себе высшие запросы европейской мысли с бурной восприимчивостью варваров, а Галахов был среди них одним из самых образованных и наиболее пылких. Герцен изображает его так: «Ум сильный, но больше порывистый и страстный, чем диалекти-

ческий, он с строптивой нетерпеливостью хотел вынудить истину, и притом практическую, сейчас прилагаемую к жизни». В этих страстных поисках он бросался всюду—«постучался даже в католическую церковь», потом углубился в философию, но, напуганный ее холодностью, ушел и от нее и на несколько лет увлекся фурьеризмом. Глубокая неудовлетворенность, внутренний разлад и растущая вместе с опытом безнадежность обрести душевную гармонию наложили на него печать тайной грусти, которая еще оттенялась присущим ему юмором. Он томился в праздности и не мог найти себе дела, ненавидел русскую грубость и презирал западное вылощенное «мещанство». В его нежной организации было много женского, и не только в смысле трепетной чуткости сердца, но и в смысле упорного консервативного романтизма. Этот романтизм, придающий такую чарующую теплоту его образу, сделал то, что Галахов, как и Грановский, остановился на полдороге в деле освобождения собственной личности,—деле, к которому было призвано их поколение. Может быть, именно поэтому Галахов так типичен.

Он типичен для своего поколения, прежде всего, сочетанием чрезвычайной напряженности чувства, доходящей до восторга, до слез, до умиления,—с непрестанным самоанализом, оценивающим каждое переживание и подозревающим в искусственности каждое собственное чувство. Все они жили двойной жизнью: в мире мечты и в банальной ежедневности. Той здоровой середины, которую мы теперь зовем действительностью, они совсем не знали,—отсюда чувство глубочайшего разлада между требованиями своего духа и жизнью, никогда не покидавшее их. Правда, их мысль деятельно работала над вопросом о перестройке жизни согласно требованиям просвещенного разума, но эта работа оставалась чисто-теоретической, и результаты ее, так сказать, извне прикладывались к жизни, а не являлись плодом опыта, освещаемого теорией.

Письма Галахова к Марье Львовне необыкновенно ярко рисуют весь этот ряд чувствований и настроений. «Иногда,—пишет он,—сердце так полно, что невозможно передать. Тут и радости, и надежды, и особенно стремления, которые трудно выразить, потому что они превосходят не только действитель-

ность, но и внешнюю возможность; между тем они дают мгновения восторга, часы и дни отчаяния. Наперекор всем силам природы, внутренний голос, печальный и гармоничный вместе, шепчет: выход только в смерти, потому что ничего не случилось, потому что воображение, мысль и чувство превосходят все, что̀ может быть достигнуто нашими средствами». Этому мучительному разладу он приписывает и свою склонность к странствиям. Скитальческая жизнь ему надоела, но все же он предпочитает ее неподвижности: «желание и мысль не дают покоя, а действите́льность—всегда лишь зародыш». «Ах, Мария!—пишет он.—Я не могу угадать окончательного направления, которое примет моя жизнь. Она была тревожна и трудна, в ней и теперь нет спокойствия; я не могу сидеть на месте; едва остановлюсь где-нибудь, уже я должен бежать, как из тюрьмы. Это болезнь; мне кажется даже, что всего лучше я чувствую себя в самой дороге, где отсутствует всякий житейский уклад. Я желаю от себя и от вещей большего, чем в них есть. А время уходит, и жизнь с ним».

Из этого разлада рождалось особое чувство, представлявшее собою как бы фокус чувственной жизни тех людей: жажда упоения или блаженства. Венцом жизни казались те минуты, когда какое-нибудь одно мощное впечатление всецело овладевает душой и возносит ее до восторга, так что пошлая действительность исчезает из глаз, нет ни прошлого, ни будущего, ни рефлексии. Это упоение дается искусством, всего чаще любовью, но способно рождаться в душе и самопроизвольно, например, под действием воспоминания; одни называли его «полным аккордом», а Огарев—его призванный певец—называл шутя свою тоску по нем жаждою того, «чем из самовара пахнет» (угара). Это чувство близко знакомо и Галахову. «Часто,—пишет он Огаревой,—я слышу музыку из моего окна, и когда звучит один из этих венских вальсов, то молящих, то влекущих и торжествующих,—я слушаю и хотел бы вместе с вами быть на каком-нибудь блестящем празднестве; и при звуках этого пошлого танца мои мечты и сожаления несутся, мне жаль моей молодости и исчезающей, почти уже исчезнувшей свежести; я хотел бы, чтобы меня подхватил и унес вихрь наслаждений и блаженства, который поднимает в моем вообра-

жении призыв смычка. А вокруг меня все так сурово—жизнь других и моя собственная, и надо итти среди самоотречения, борьбы и ночи, и иной раз так не хочется, а нужно».

Это писано с Гельголанда, маленького острова в Северном море, где Галахов прожил несколько дней летом 1841 года. Он пишет далее, что иногда ему кажется спасеннем—всецело отдаться общим интересам, но порою этот спасительный маяк исчезает за облаками личной жизни. «И потом, я не могу довольствоваться тем, что моя голова набита мыслями, как книга: мне надо жить и действовать ими и среди них, иначе я должен жить чем-нибудь другим. Между тем я и это ставлю себе в вину; мне точно стыдно, что я неспособен мирно жить мыслью и чувством, без всякой внешней сферы отношений и деятельности, на бесконечно малом пространстве этого островка и в бесконечно тесных пределах моей комнаты. Но уверяю вас—это невозможно: можно задохнуться. Лучшее, что остается, это—сесть в лодку и выкупаться с небольшой мели, которая лежит насупротив. Это я и сделал сегодня. Потом ходишь вокруг своего дома, как на игральной карте, и возвращаешься в свою лачужку, как пленник».

Он не живет совсем,—потому что нельзя же назвать жизнью то пассивное существование, которое он влачит,—но, не живя, он беспрестанно занят размышлением о том, что ему нужно для настоящей жизни. Общие условия довольства ему совершенно ясны: это, прежде всего, привязанность, затем интерес к вещам, потом здоровье и, наконец, занятие. Но каковы его личные, специальные условия, требуемые его природой? На это Галахов, по тщательном самоуглублении, отвечает так: «Я должен любить женщину и быть с нею, или любить какую-нибудь вещь, какой-нибудь принцип, т.-е. либо одного человека, либо весь мир; но кто бы ни был предмет моей любви, мне нужно, чтобы он владел мною, наполнял меня, чтобы я мог ему служить, быть деятельным для него, вести его вперед, потому что я вижу—мне совершенно нестерпимо жить в отрицании или голом созерцании, так же, как положительно жить для себя, ограничиваясь собственной драгоценной особой, т.-е. заботой о том, чтобы быть здоровым, хорошо себя чувствовать, хорошо есть и пить и т. д.».

Но этот ответ был еще недостаточно ясен: оставался выбор между человеком и идеей, и спустя некоторое время Галахов выносит свое окончательное решение: «Я испытал себя и сказал себе: либо существо, которое любишь и которое тебя любит, которого не покидаешь и которое тебя не покидает никогда-никогда, либо культ добра и сознанной истины и настойчивая деятельность, обусловливаемая им,—вне этой дилеммы я не вижу спасения для себя. И в это самое мгновение я почувствовал себя равнодушным к делу добра и исканию истины,—более равнодушным, чем до того: я потерял ее след и возле меня не было никого, я был один и видел себя одиноким в будущем, и меня охватило отчаяние. Я не могу так жить,—звучал внутри меня голос,—это невозможно; я всеми силами ухвачусь за первую женщину, которая захочет остаться со мною». Мало того, что это—постулат его сердца, он возводит его и в принцип; он пишет в другом письме, что и сам когда-то поклонялся будущему и славе, «но когда, долго вглядевшись, откроешь вместо божественных черт обличья грозящих чудовищ и груду разнородных элементов, тогда уходишь с горечью в сердце и пустотой в голове; надежда гаснет и вера исчезает. Но если из глубины души возникнет любовь и благость, которым ничто не чуждо, тогда все спасено для личности и общества: вместо идолов, созданных воображением и отдельными страстями, поклоняешься Богу, ищешь истину, и каждая частица этой истины, найденная умом, движимым любовью, содействует водворению порядка, свободы и благоденствия, оживотворению веры и надежды». Любовь всегда благотворна для человека—даже любовь ко многим, тем более к одному существу; она не убивает рвения к добру, а, напротив, усиливает его: «Из глубочайшего самоотречения и полнейшего взаимного присвоения в любви рождается для человека наибольшая свобода и наибольшая мощь во-вне, ибо, найдя себя в одном существе, перестаешь искать себя в остальных».

III.

И вот Галахов полюбил и встретил взаимность.

Женщина, которую он полюбил, представляла, можно ска-

зать, его противоположность: насколько в нем воплотился северный тип, тяжелый, меланхолический и нервный, настолько Мария Львовна Огарева олицетворяла собою каприз и легкую женственность. Натура даровитая, гибкая, смелая, она была действительно «изменчива как волна», и законы света были ей ни почем. Бедная племянница провинциального губернатора, она быстро развернулась, выйдя замуж за миллионера Огарева, и, скоро разойдясь с ним во вкусах, зажила блестящей и угарной жизнью львицы модных курортов, среди дилетантских увлечений искусством, флирта и пр. Без сомнения, в ней жили какие-то глубокие и страстные запросы, которых она не умела осмыслить; самая любовь к ней Галахова свидетельствует о тонкости и изяществе ее духовного склада. Ей было в это время лет двадцать-пять; она была уже 3 года замужем за Огаревым. Судя по портретам, ее нельзя назвать красавицей, но ее оживленное, миловидное лицо и грациозная фигура вероятно производили очень выгодное впечатление. Галахов знал ее все эти три года, и она всегда ему нравилась; но решающее значение имела зима 1840 года, которую оба они провели в Москве. Мария Львовна сумела вовлечь Галахова в водоворот своей жизни, в свои легкие и непринужденные затеи. Позднее он как-то писал ей: «Мне любопытно знать, как вы будете чувствовать себя теперь в Неаполе, встретите ли симпатичных вам людей, чтобы смеяться с ними над всяким пустяком, как со мною. Теперь я уже так не смеюсь; я говорил вам всегда, что это было исключением, что это была ваша вина, что обыкновенно я серьезен, грустен и даже молчалив. Вероятно мне уже никогда не провести такой оживленной, занятой и упоительной зимы, какую я провел бок-о-бок с вами, и едва ли я встречу еще женщину, в которой было бы столько находчивости, воли, капризов и фантазий, как в вас». Результатом этой дружбы было то, что «лучистый взор и детская веселость» Марии Львовны околдовали Галахова. Его короткий роман разыгрался следующим летом (т.-е. 1841 года), когда М. Л. жила в Эмсе и Карлсбаде, а он точно в горячке метался от нее к сестре в Кёзен, отсюда в Гамбург, обратно в Карлсбад, и т. д., всюду унося с собою ее образ, отовсюду простирая к ней руки в страстной тоске: «Où êtes vous, chère Marie, ma réalité phantastique?».

Сначала, когда он только что сознал свое чувство, в нем не возникало никакой борьбы. О н а—жена другого, жена друга, хотя и охладевшая к мужу и живущая в разлуке с ним, значит, е г о чувство должно умереть; тут нет места ни сомнениям, ни вопросу. Самое большее, о чем он может мечтать, это—жить в одном городе с нею, сохранить ее дружбу. В июле 1841 г., в одну из своих кратковременных отлучек, он пишет Марии Львовне: «Моя милая, добрая, увлекательная Мария, как мне грустно быть вдали от вас! Я твержу вам об этом со дня от'езда. Мне кажется, что разлука с вами еще ни разу не мучила меня так. Обнимаю ваши колени. Вы выказали мне столько привязанности, внимания и интимности, что эта роскошь сделалась для меня необходимостью и что я принужден отказаться от нее. Но зачем же удаляться, почему не оставаться вместе?.. Гм!—потому что ко всему примешивается противоречие, и потому что я не могу выносить его ежедневно, не подвигаясь ни в ту, ни в другую сторону. Иногда я испытываю то сожаление—долгое, хотя длящееся миг,—которое чувствует, может быть, изгнанник, когда перед ним убегает его родная страна, а он вынужден искать новое отечество. Вы, столь хрупкая, столь юная, то шаловливая, веселая, то грустная или унылая,—вы могли бы быть для меня стойкой опорой: человек обеспечен во всем, когда удовлетворена его главная потребность. Между тем нужно уйти, нужно искать других симпатий, новых интересов и связей, когда вовсе этого не хочется, когда хотелось бы только продолжения старых. Вы не скажете, что это сделка с самим собою или пустые бредни,—вы поймете, что, по крайней мере, для одной стороны, это—невозможность и справедливость, и вместе жертва. Но сколько боли во всем этом!» Мария Львовна собиралась оставаться за границей еще год или два для лечения, а Галахову предстояло осенью по делам имения надолго вернуться в Россию; по этому поводу он пишет далее: «Я еще не могу освоиться с мыслью, что мы расстанемся надолго, и меня охватывает желание броситься к вам или крикнуть вам: вернись и останься! Страшно подумать, что время отдалит нас друг от друга, что мы состаримся и охладеем и будем искать иных отношений и переделывать старые. Но что делать?! Люди и жизнь так странно

устроены; кажется, будто второстепенные интересы одерживают верх над высшими, но в действительности высшие одерживают верх над теми. Я боюсь рабства и лжи; свобода и честность легко подвергаются опасности. Может быть, вам будет скучно читать мою болтовню, но вы поймете, что я хотел сказать вам только, что много люблю вас, что вы очаровательны, что мне недостает вас, что без вас меняется цвет вещей, что я тоскую по вас, Мария, что любовью меня подкупают бесконечно, что оставаясь один, я должен призывать на помощь все свое мужество, чтобы жить, что мне безумно хочется вас видеть». Под конец он опять возвращается к мысли о разлуке и пишет по-русски: «Я хоть немножко стою вас и так смешон, что воображаю, что хоть горько, но надо мне вас убегать; какая глупость! А так хочется быть с вами много-много, долго-долго! Бросьте лечиться, приезжайте в Москву!..»

Но его страсть развивалась быстрым темпом. Прошло еще три недели, и он уже едва владеет собою. То, что он раньше с грустной покорностью принимал, как элементарный долг, теперь ему уже почти не под силу. 2-го августа он опять уехал на два-три дня из Карлсбада к сестре в Кёзен, и в тот же день, ночью, он оттуда пишет Марье Львовне (это письмо писано по-русски): «Видно, я к вам очень привязался. Я два часа тому приехал. Вечер был свежий, но ясный, места красивые, я ехал один и скоро, ветер дул в лицо; мысли наедине разные ходили, я жался и крепился, заглядывая в даль свою, и говорил себе между прочим: разорву записку и писать не стану,— надо пожертвовать и оборот дать другой, необходимый, ограниченный, не себялюбивый. Наконец под'ехал я к дому сестры, она вышла, мы обнялись. У ней мило; она была весела, обняла меня, радовалась, нашла, что я стал весел, спросила про вас, и мне так стало ужасно жалко, что вас тут нет; пробыв с сестрой, готов бы сейчас опять к вам скакать; такая жажда быть с вами совсем коротким, и вы чтоб также были как сестра, издалека кажется возможным и забываешь бунтующую природу, и хочется какого-то невыразимого наслаждения и свободы, и любви, и продолжения, и близости,—и не расстраивая вещей и без укора все это хочется найти в вас, и так жалко-жалко, что надо отвлекаться, так досадно, что надо

смотреть за собой! И я почувствовал в себе какую-то светлую, сильную минуту, мне как будто все принадлежало и мог бы всем владеть—и оттого пишу, и благодарю, и обнимаю вас, и целую у вас руки». Он говорит дальше о своем твердом решении уехать в Россию: как ни тяжело отрываться от тех, кого он любит, но долг и необходимость повелевают ему ехать. Мария Львовна, должно быть, дразнила его пророчеством, что в России он женится. «У меня просьба к вам, Мария,—пишет он.—Если я женюсь, сделайте с вашей любовью ко мне что хотите,—я не буду жаловаться, я не скажу ни слова; но до тех пор сохраните мне живую и нежную привязанность, и, когда я вернусь к вам. будьте со мною, как друг,—вполне свободной. Я не вернусь раньше, нежели сознаю, что могу выносить и заслуживаю это». И тут же—внезапный взрыв страсти и восхищения: «Вы обворожительны и прекрасны, и наивны, и смелы, и забавны, я помню все в вас, и ваши белые и фиолетовые платья, которые я так люблю».

Очевидно, надо было на что-нибудь решиться. 8-го августа мы видим Галахова на о. Гельголанде: истерзанный, раздираемый страстью и рефлексией, он бежал сюда, чтобы собраться с мыслями перед окончательной разлукой. Девять дней, проведенные лицом к лицу с морем, действительно успокоили его. Разумеется, он писал ежедневно. Сидя подолгу на уступе береговой скалы, он передумывал свою жизнь, думал «о бесплодности своих дней, о смерти глубоких убеждений, животворящих верований», думал о том, почему ускользают от него люди и вещи и он вечно один, и чего жаждет его тоскующая душа. Здесь в письмах к Марье Львовне он формулировал те свои желания и мечты об активной любви, о женской привязанности, с которыми читатель уже познакомился выше. И все эти мысли сводились к ней и к вопросу, как быть. Не практической развязки он жаждал, а внутреннего просветления, мира с самим собою; ему стала невмоготу эта жгучая нерешимость,—лучше было не родиться, чем так тянуть изо дня в день. По мере того как он успокаивался, сознание одерживало верх над страстью: хорошо, он попытается жить один в мире идей, не мучась отсутствием людей, довольствуясь дальними привязанностями, а если это окажется ему не под

силу, он откажется от всякого притязания на роскошь бытия и станет жить близ нее, если она позволит,—нет, близ них (он разумеет ее и Огарева), верным другом до смерти, довольный ее ежедневной добротой и по мере сил стараясь быть полезным для их существования. Если же не удастся и это, тогда он будет жить несчастный, с вечным упреком самому себе и судьбе.

Пока он так размышлял, Мария Львовна тоже решала возникшую задачу, но решала по-своему. Галахов был до такой степени поглощен самоанализом, что в сущности вовсе забыл о Марии Львовне. Размышляя и решаясь, он совершенно не принимал в рассчет ее чувств, ее положения в этом деле. Между тем в ней роман с Галаховым вызвал совсем другие чувства и мысли, и Галахов должен был бы понять это. Она сама говорила ему, что никакой мужчина не может сделать ее счастливой надолго, да она и сама неспособна дать не то что счастие, а даже покой; она говорила ему, что предпочитает брать, чем давать, что не любит слова «всегда», что она неукротима и причудлива, что ее можно отпугнуть одним словом, и тогда она способна сразу порвать связь, казавшуюся прочной. Это все он повторяет в своих письмах. Он очень хорошо ее знает; он пишет ей однажды: «Когда вы любите, вы способны на всякие сумасбродства не хуже мужчины. И, несмотря на мужские черточки в вашем характере, вы больше женщина, чем всякая другая, вы своеправны сердцем в высочайшей степени; с вами нечего рассуждать—вас надо заставить полюбить себя». Но на деле, в своих принципиальных выкладках он считался только со своими чувствами и своими потребностями. Этот бессознательный эгоизм очень характерен для человека 40-х годов.

Когда, 18-го августа, Галахов, простившись с Гельголандом, переплыл в Любек, он нашел здесь два письма от Марии Львовны, в ответ на свои, писанные с Гельголанда. Эти два письма изумили, потрясли, больше того—испугали его. В них грозно и требовательно прозвучало то, о чем он совсем и не подумал,—голос женской страсти и женского оскорбленного самолюбия. Мария Львовна, наконец, потеряла терпение; ей надоело быть об'ектом самоанализа, ей противно стало смо-

треть на эту бессильную любовь, ее возмущало пренебрежение правами ее чувства, ее волею. Вы три года добивались моей любви, писала она; вы делали все, чтобы привлечь мое внимание и возбудить мое чувство к вам, и, когда вы, наконец, достигли цели, вы медлите в нерешительности. Вы добились моей любви,—почему же вы не взяли меня? Так ли поступает страсть? Нет, если бы вы действительно любили, вы не стали бы философствовать, вас не остановили бы принципиальные сомнения. Да и какой тут может быть вопрос? Страсть сама в себе носит свое право. И почему смотреть на обладание женщиной с суеверным страхом и обставлять его тысячью условий, как некое священнодействие? Я горько проучена вами, и отныне буду осторожней. Мне не нужно больше любви; я буду искать твердой дружеской руки, которая удерживала бы меня от необдуманных шагов и непоследовательности; вы же и впредь останетесь мне дороги, но только как книга.

Это было ударом бича, и в первую минуту Галахов растерялся. Что он мог противопоставить этой неотразимой цельности чувства? Ее можно было победить только другою, высшею цельностью, а он сам был так далек от гармонии, в нем все было так раздергано, такая путаница чувств и мыслей! Между тем, отречься от своих сомнений он не мог. Цельность Марии Львовны была цельностью н е о с м ы с л е н н о й страсти; признать ее законность значило для Галахова запятнать свой человеческий образ, отказаться от собственного сознания. Вся задача и гордость его поколения заключалась в том, чтобы внести логику и справедливость в хаос человеческих отношений, подчинить жизнь, быт, собственное поведение разуму: мог ли Галахов изменить этому великому делу? мог ли признать абсолютное право за страстью?

Он отвечал Марии Львовне огромным письмом в двенадцать страниц убористого почерка, писаным частью в ночь того же 18-го августа, пока не догорела свеча, частью утром. В этом письме много любви, много страдания, но вопрос уже решен определенно. Удар, нанесенный Галахову письмом Марии Львовны, оказался благотворным: он окончательно сознал

собя—и на декларацию безусловных прав страсти отвечает декларацией прав разума над страстью.

«Я спешил сюда,—пишет он,—чтобы найти от вас весточку, Мария, и сегодня получил ваши два письма. Их содержание кипит и клокочет и заливает меня, как волны моря, которое я только что покинул; но я не в силах справиться с ним и выхожу из него не укрепленный, а сломленный. Чтобы ответить на это излияние, источник которого в нашем взаимном влечении и взаимном лишении, надо было бы все сказать, все об'яснить, убедить и столковаться с полной ясностью и искренностью, а для того, чтобы это об'яснение было действительным и удовлетворило нас, оно должно было бы сопровождаться превращением желания в добровольное самоотречение и личного чувства—в культ общих идей и чувств; или же ничего не сказать, фактически подать руку друг другу, прижать друг друга к груди, любить и итти так в жизни и умереть, если можно, вместе в безумстве восторга. Ни тот, ни другой ответ, повидимому, невозможен. Но как остаться безмолвным в виду всего, что содержат ваши страницы? В сущности нам не о чем рассуждать и не о чем об'ясняться, кроме нашего взаимного отношения, потому что, столковавшись о нем, мы бы, думаю, легко согласились во всем прочем. Но именно этого нет, и мы бродим вокруг вещей и принципов, чтобы найти, по крайней мере, разумное основание для этих отношений и поступков. И это законно, потому что не надо действовать безумно или по капризу, надо сохранить остаток рассудительности и воли, надо знать, для чего насилуешь и мучишь себя. У вас немного запутана голова, а у меня немного запутаны сердце и чувства, поэтому вы не будете последовательны в ваших мыслях, чтобы не слишком страдать сердцем, я же не буду последователен в требованиях сердца и чувств, чтобы не слишком страдал мой ум. Отдаться мужчине, говорите вы, столь же предосудительно, как выпить стакан шампанского. Вы правы: это столь же естественно, если бы последствия не были иные. Стоит мне пожелать вас, и вы моя,—это для меня куда как удобно; но в этом случае вы не уподобите обладание вами глотку шампанского, вы отвергнете его, как унижающую вас пошлость: вы ставите условием симпатию, дружбу, прочность

отношений. Прекрасно,—я принимаю это условие, но тогда расстаньтесь с мужем, с его богатством и именем, они более не принадлежат вам, это ясно, как день. Да и что ему делать, этому третьему, между двумя людьми, которые принадлежат друг другу сердцем, телом и душою, потому что обладание есть великое присвоение любимого существа. И затем признайте справедливым и естественным, чтобы общество знало, что вы любите такого-то и принадлежите ему, и не бойтесь огласки. Но этого вы не хотите, вы хотите компромисса в мыслях, а в действительности невозможного. Любовник-друг, любовник или друг! Я был бы счастлив быть для вас первым, мог бы быть и вторым—с горечью за вас и за себя, но третьим теперь и вблизи я не могу быть искренно. Чтобы не увязнуть в пошлости, лжи и противоречиях, чтобы эмансипироваться, т.-е. стать свободной на деле, как на словах, воздействовать примером на прогресс, женщина должна бесповоротно выбрать одно из двух начал: либо законы современного брака, либо фурьеризм; и если она хочет теперь же выступить из круга установленных отношений, она должна граждански поставить себя независимо и взять себе одного или нескольких любовников, рискуя в современном обществе остаться со всеми своими детьми на руках,—такова Жорж-Занд. Но нужно мужество, чтобы так поступать перед лицом общества, столь сурово карающего за явные грехи. Все остальное—противоречие. Утверждать, что женщина способна в том и в другом случае быть цельной и последовательной, не значит презирать ее».

Во второй половине письма Галахов как бы прощается со своим чувством. Он говорит о том, как больно ему сознавать, что он должен искать счастия у другой женщины, и что встреча с этой другой навеки отдалит его от н е е. Когда он думает об этом, его сердце сжимается, краски блекнут в его глазах. Он желает ей счастия—если возможно, с Огаревым, потому что он любит Огарева. «Он играл важную роль в наших отношениях. Когда бы не он—простите, Мария, но я говорю не о вас, а только о своем поведении;—с одним собою я не боролся бы так и наперекор всем нашим теориям легче поддался бы соблазну не так много жертвовать идеям»... «Вы не знаете, чего мне стоит эта борьба и разрыв, каково мне сдер-

живать мое страстное чувство к вам, тем более, что минутами это мне самому кажется нелепым. Я не притягиваю чувства за волосы, напротив, я не доверяю своим и часто подрываю чужие, но то, что я говорю, верно. Минутами я испытываю безмерную потребность видеть вас, держать вас возле себя, во мне молча звучит голос: «несчастен без нее, счастлив с нею»,— тогда я начинаю метаться и говорить себе, что это выдумка, что я могу найти счастие в чем-нибудь другом, в другой женщине,—и в ту же минуту мне этого не хочется, я люблю мое страдание, а все прочее мне кажется невозможным или основанным на умерщвлении чувства, которое я не хочу приносить в жертву... Но, ради Бога, поймите и не говорите, что я неправ. Верьте, что мне самому иной раз невыносима моя правота, но я не могу отдаться в рабство духом и положением, это сильнее меня,—и вот почему я разрываю. Говорите мне, что еще любите меня, говорите мне, как вы живете, но не давайте мне и не требуйте от меня об'яснений; они немногого стоят,—мы оба правы. Но скажите мне: были бы вы навеки счастливы со мною? хотели бы вы никогда не оставлять меня, всегда быть со мною и любить меня страстно, не потому, что я этого стою, а по прихоти, без всякой причины?»

IV.

Галахов сдержал слово и осенью уехал в Россию. Обаяние Марии Львовны еще долго не теряло силы над ним. Он пишет ей, что, несмотря на время, расстояние и решимость, он иной раз столько же жаждет, сколько боится свидания с нею. «Мне жаль не выпитой чаши, я не встречу́ женщины, которая была бы в такой степени самой собою, столь свободной, непринужденной, лишенной предрассудков, как вы, которая так подстрекала бы любопытство, самолюбие, желание нравиться ей и иметь влияние над нею». Одно письмо он кончает так: «Дай Бог вам всего лучшего. Ужели мы будем так долго в разлуке? А годы идут. Я ничего не понимаю ни в человеке, ни в судьбе, ни в чем. Надо верить в бессмертие или быть счастливым. Будьте счастливы, мой друг».

Она тоже не была счастлива. Ее отношения с Огаревым

становились все мучительнее. Несмотря на шум и блеск своей жизни, несмотря и на мимолетные свои увлечения, она чувствовала себя глубоко одинокой, жаждала любви и с тоскою взывала к Огареву. Между ними шла бесконечная переписка, запальчивая и мятежная с ее стороны, полная мягкости и рассуждений с его стороны. Это были настоящие переговоры о мире, и каждая сторона настаивала на своих условиях. По существу это был тот же конфликт, как между Марией Львовной и Галаховым. Огарев требовал, чтобы в основу их совместной жизни была положена отныне не слепая сила страсти, а разумная человечность; он требовал строгого равенства отношений и взаимной свободы, при которой он, мужчина, мог бы беспрепятственно отдаваться высшим запросам своего духа; любовь не должна ни поглощать его всецело, ни даже в малой степени связывать. При этом Огарев, разумеется, не спрашивал себя, что станет делать со своей свободой женщина. Не спрашивала и Мария Львовна, но с верным чутьем своего женского интереса она гневно отвергала этот холодный договор: любовь безусловна, она берет всего человека, ей нельзя отвести уголка в сердце; настоящая любовь не терпит равенства и свободы: «я хочу властвовать или быть рабой».

В этом споре, Галахов, доверенный и мужа и жены, был, разумеется, всецело на стороне Огарева. В ответ на письмо Марии Львовны к Огареву, которое последний показал ему, он пишет ей: «Нет, женщина не должна и не может властвовать в любви, потому что сколько-нибудь развитой мужчина не может подчинять свои убеждения и тенденции, как бы вверенные ему человеческим обществом, вкусам и взглядам женщины, часто неверным. Подчиниться должны вы. Признайте суверенитет общих истин, научитесь обуздывать ваши неопределенные желания и вкусы, перестаньте верить, что всякий инстинктивный порыв и каждая своенравная мысль законны—и вас будут любить нежно и беззаветно».

Неудачный роман с Марией Львовной не прошел бесследно для внутреннего развития Галахова. Ему дорого стоило расстаться с мечтою о личном счастии, но вместе с тем он окончательно вышел на свободу, по крайней мере, в сознании. Мы располагаем еще только одним его письмом к Марии

Львовне—от 18-го декабря 1842 г. Оно всецело посвящено ей, анализу ее положения, но для нас оно удивительным светом освещает его собственную душу.

Он задается вопросом, почему она чувствует себя так безмерно несчастной и печальной. Неужели потому, что она видит охлаждение к ней Огарева? Но она первая охладела к нему, да и никогда особенно не дорожила его любовью. Почему же она теперь мечется в тоске и так страстно добивается хотя кое-как оживить угасшее чувство? Очевидно, дело не в Огареве и его охлаждении; это просто знак болезненного состояния ее души. «Я знаю: есть люди, которые должны пройти через тяжкие испытания. Они живут и чувствуют, как их охватывает холод смерти; они кажутся мертвыми среди окружающего их мира, и носят пожирающий пламень в своей душе. Ища спасения, они цепляются то за человека, то за вещи, и долго без успеха, пока в судилище своей воли не принесут своего самовластного «я» в жертву верховной истине и не примирятся с Богом путем внутренней моральной и умственной работы, которая снова вносит порядок и свободу в их мысли и чувства. Вот, милый друг, к чему мы должны стремиться, а не считать себя погибшими потому, что такой-то человек нас покинул или такое-то личное чувство ослабело в нас. В нас бьется и страдает не столько женщина, сколько человек вообще. Самое разнообразие ваших дарований усиливает ваше страдание: они сталкиваются и теребят вас со всех сторон,—они не приобрели достаточно энергии, чтобы выступить планомерно. У вас нет морального или умственного центра тяжести, и в то же время ваша натура не настолько пассивна, чтобы тихо и покорно итти путем традиционных принципов». Hinc itur ad astra!...

Мария Львовна не последовала этому совету, да и могла ли она? Она продолжала искать счастья по-своему, любила и заблуждалась, и умерла, десять лет спустя, в духовной и материальной нищете. Но и Галахов, как Моисей, только издали увидел обетованную страну. У него хватило сил освободиться только наполовину,—потому что в каждом освобождении—две ступени: мало стать вольноотпущенным,—надо стать еще свободным, как свободен человек свободнорожденный. На

деле Галахов до конца ни очага себе не устроил, ни алтаря общей идее; он так и остался «лишним человеком». Еще семь лет скитался он по Европе, лишь изредка наезжая домой, разделяя высшие интересы своего века и влача, как проклятие, свою роковую праздность. Последние два года своей жизни он был особенно дружен с Герценом, много спорил с ним (одним из этих разговоров начинается «С того берега») и писал ему письма, полные оригинальности. Он умер в 1849 году.

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Н. П. Огарев.

1. Помещик.

I.

Село Верхний Белоомут, ныне Зарайского уезда, Рязанской губернии, бывшее «Государево дворцовое ловицкое село» на р. Оке, указом императрицы Екатерины II от 3/VI августа 1762 г. пожаловано было в вечное и потомственное владение камер-юнкеру и лейб-гвардии Преображенского полка капитан-поручику Михайле Егорову сыну Баскакову, «за отменную и всем верноподанным известную службу, верность и усердие к Ее Императорскому Величеству и Отечеству», т.-е. за помощь Екатерине при ее воцарении. В этой вотчине при 600 душах числилось 8127 дес., из них луговой земли 1470 дес., под строевым дровяным лесом—до 5500, а остальная земля—под дворами крестьянскими и в числе неудобной [1]). От Михаила Баскакова В. Белоомут перешел к его брату Ивану, а от последнего—к его дочери, Елизавете Ивановне, вышедшей замуж за Платона Богдановича Огарева: это были отец и мать «идеалиста 30-х годов», поэта и эмигранта Ник. Плат. Огарева. Мать скончалась в 1813 г., через несколько дней после рождения Ник. Плат., и имение это по наследству перешло к нему. В 1834 году, по достижении совершеннолетия, он и вступил во владение белоомутской вотчиной. Перед нами копия официального акта о вводе Н. П. Огарева во владение Верхним Белоомутом: 3-го июня 1834 года зарайский исправник Лаг-

---

[1]) «Труды Рязан. учен. арх. ком.», т. IX, вып. 2, стр. 120—121.

венов ввел московского главного архива мин. иностр. дел студента Ник. Пл. Огарева во владение доставшимся ему по раздельному акту с отцом его, д. с. с. Плат. Богд., и сестрой, полковницей Анной Плат. Плаутиной, движимым и недвижимым имением, состоявшим по 7-й ревизии из 1350 душ, с их женами и обоего пола детьми, с господским и крестьянским строением, со скотом рогатым и мелким, с лошадьми, птицей и со всем крестьянским имуществом.

По свидетельству В. К. Влазнева, рязанского этнографа и публициста, уроженца В. Белоомута [1]), об Огаревых вообще и в особенности о Н. П. Огареве среди крестьян сохранилась самая добрая память. Барщины здесь совсем не существовало, а оброк был не велик: вначале бедные крестьяне платили 5 руб. асс., средние—10, богатые—15; позднее платили оброки за ¼ тягла 15 руб., за ½—30 руб., за ¾—45 руб. и за полное тягло 60 руб. Соразмерно оброку, крестьяне пользовались лугами, лес же отпускался на необходимые потребности каждому. Во внутреннее управление господа не вмешивались, бурмистры избирались сходом, и он же определял оброчную раскладку, рекрутские и другие общественные повинности. Белоомутские крестьяне жили хорошо, вели большую торговлю пшеницей, рогатым скотом, держали трактиры, заключали контракты по откупам, подрядам и другим делам, вследствие чего многие крепостные приобрели большое состояние. До 1839 года Н. П. Огарев наезжал сюда не более двух-трех раз, всегда на самое короткое время. Г. Влазнев передает со слов стариков несколько случаев, характеризующих гуманность молодого помещика, который, между прочим, строго запрещал крестьянам кланяться ему в ноги и стоять перед ним без шапки, давал крестьянам заимообразно деньги на покупку рекрутских квитанций и наем охотников, и т. п.

Пока старик Платон Богданович был жив, молодому Огареву не приходилось и думать о вмешательстве в его крепостное хозяйство: отец из патриархального принципа крепко дер-

---

[1]) Там же; кроме того, «Под знаменем науки», юбил. сборн. в честь Н. И. Стороженки, Москва, 1902, стр. 658 и сл., и Р. Мысль 1902, кн. XI, стр. 116.

жал в своих руках бразды правления и еще на смертном одре назначил женившемуся сыну, который через несколько месяцев должен был унаследовать все громадное имущество, ничтожное содержание в 4000 руб. асс. на год. Эта роль бесправного барина, человека, чувствующего себя ответственным за зло окружающей его жизни и вместе не властного вмешаться в нее, заставляла Огарева сильно страдать. Уже с половины 1836 года он горько жалуется на это в письмах к друзьям; так, в самом начале 1838 г., он пишет: «Индустрия—великая вещь, а я, честь имею вам рекомендоваться, отчасти в числе г-д пропрietеров, следовательно, людей наиболее ею занимающихся,— говорю отчасти, ибо моя воля стеснена отцом, а болезнь его и детская привычка покорности не позволяет с ним спорить; но как это больно, друг! видеть пользу и не иметь воли сделать ее; это для меня одно из удушающих несчастий; я равнодушно не могу думать об этом, ибо в душу гнездится ужасная мысль... а нет—другого конца не вижу. Думаю: я бы то или другое сделал, но теперь нельзя, когда же?..»

Эта «ужасная мысль»—об освобождении через смерть отца ради «пользы других»—осуществилась 2-го ноября 1838 года. И вот уже в начале января следующего года молодой наследник говорит в письме к другу об обязанности сделать из доставшихся ему 4000 душ по возможности что-нибудь лучшее, «по возможности вывести их из полускотского состояния», а вслед затем сообщает, что занят, между прочим, составлением «прокламации к своим подданным». Очевидно, в это время у него сложился план освобождения белоомутских крестьян, к исполнению которого он и приступил в марте того же 1839 года.

Огареву приходилось считаться с волей и вкусами его жены, Марии Львовны, и есть основания думать, что она, если не прямо, то косвенно противилась его замыслу. Так, вероятно, в апреле 1839 г., он пишет ей из Белоомута, что с величайшим нетерпением ждет ее ответа: «Неужели же ты мне напишешь: нет? Этого быть не может. Надо, надо кончить это дело, я чувствую, что это будет один из хороших поступков. Разумеется, не что-нибудь отличное, потому что я, право, ничего не теряю». Последние слова имеют целью, конечно, успокоить жену отно-

сительно денежных последствий дела. Что с этой стороны были возражения, показывает следующий отрывок из французской записочки Огарева к Марии Львовне, должно быть, начала 1840 года: «Marie, клянусь, что я тебя не понимаю. За что ты сердишься на меня? Находишь ли ты, что 4 тыс. так уж мало? Ну, если хочешь, возьми себе сколько хочешь. Я сказал—40. тыс. на весь дом. Ну, устраивайся так, чтобы иметь на свой туалет сколько хочешь... Еще менее я понимаю, что тут дурного, не брать взаймы 30 тыс. для покупки совсем бесполезной, когда дела не в лучшем виде и потому что я хочу освободить своих рабов?.. О, Мария, Мария, дорогой ангел, неужели же я должен отказаться от моих планов, благородных, гуманных, честных, для того, чтобы развлекаться всю жизнь?» Эти выдержки ясно показывают, что Огарев был не совсем свободен в своих действиях; если он взял с крестьян безотносительно довольно большую выкупную плату, то высоту ее, как справедливо говорит автор примечаний к «Переписке недавних деятелей», следует приписать скорее денежным потребностям жены, чем идеалиста-мужа.

С другой стороны, сам Огарев приступал к освобождению своих крестьян без особенного пыла. В цитированном выше письме его от 8-го января 1839 года, где идет речь о его обязанности вывести крепостных из полускотского состояния, он говорит: «А я не чувствую к тому способности, не чувствую влечения; эта обязанность еще не перешла в любовь. Я чувствую влечение к знанию и искусству. Я хочу писать,—это потребность, это желание, перешедшее в любовь». Действительно, так называемая «гражданственность» в это время и еще долго потом стояла для Огарева на заднем плане. Уже с конца университетского периода, его внимание, как и внимание Герцена, обращается от общественных вопросов всецело в другую сторону—к вопросам частью чистого познания, частью личного совершенствования. Он не забывает, что конечная цель—все-таки практическая деятельность, борьба за правду; но он считает нужным предварительно вооружиться и очиститься для этой борьбы,—с одной стороны, «обнять весь мир знания, провидеть начало и результаты идей», с другой—вытравить в себе все дурные наклонности, наполнить душу

любовью и научиться «столько сильно любить, сколько полно знаешь». На этой внутренней, индивидуальной задаче,—на выработке мировоззрения и характера,—сосредоточивается теперь весь его интерес, и если прибавить сюда еще религиозно-мистическую окраску, которую приняли эти стремления у него, как и у Герцена, да страстный культ любви и дружбы, достигающий в это время у обоих кульминационной точки, то станет понятным сравнительное равнодушие Огарева к делу освобождения его крестьян.

15-го марта 1839 года Огарев с женой приехал к ссыльному Герцену во Владимир. Это было первое свидание друзей со дня выслушания приговора о ссылке и первая их встреча с женами друг друга. Пять дней, проведенные ими вместе, прошли в каком-то непрерывном упоении; известно, как все четверо пали на колени и молились перед распятием, как совершилась «великая мистерия» слияния их в одну душу. Они верили, что в этом порыве «выгорело нечистое и себялюбивое начало их душ». «Дружба наша,—писала Н. А. Герцен Огаревым спустя несколько дней после свидания,—лестница к совершенству, и ею мы дойдем до него. Дружба и любовь—ограда душам нашим, ограда, поставленная самим Господом; ничто нечистое, ничто низкое не переступало ее, и пылинка да не коснется нас во веки!» Таково было и настроение Огарева.

И вот, 19-го марта, прямо из Владимира, еще не остыв от пережитых здесь восторгов, Огарев поскакал в Белоомут, чтобы переговорить с здешними мужиками об их освобождении. Во Владимире друзья, вероятно, и совсем не говорили об этом деле; во всяком случае замечательно, что в двух письмах Герценов от 21-го марта к Огареву и к Марье Львовне оно не упоминается ни одним словом. «Грустишь, чай, ты в одиночестве,—пишет Герцен Огареву.—Но, я уверен, после нашего свидания это одиночество именно принесет большую пользу. Я сам сознаю, что как-то улучшился взглядом и делом после четырех дней»—и только; ни одного слова поздравления, сочувствия, поощрения или совета по поводу предпринятого Огаревым дела.

Г. Вязнев передает, что Огарев, созвав сход, об'явил

белоомутцам свое намерение освободить их и передать им всю землю за небольшую плату, и велел им прислать к нему выборных в Москву для составления договора. Г. Влазнев рассказывает также со слов белоомутских старожилов следующую историю. По от'езде Огарева, тогдашний белоомутский бурмистр, Ракитин, с некоторыми богатыми односельчанами задумали обойти и владельца, и свое общество. Именно, эти богачи, во главе с Ракитиным, всего 11 человек, поехали в Москву к Огареву и об'явили ему о полном несогласии крестьян выйти на волю; при этом бурмистр и его товарищи выразили желание получить свободу с заливным заокским лугом, составлявшим третью часть всей луговой земли с. Белоомута, и предлагали за этот луг и свое освобождение 50 тыс. р. сер. Огарев наотрез отказался уступить им луг, как общую собственность всего крестьянского населения, и соглашался уволить их только с дворовой землей. Между тем, общество, в свою очередь, снарядило ходоков в Москву, которые и раскрыли происки Ракитина и передали Огареву согласие крестьян на их освобождение. Насколько точен этот рассказ, мы не знаем; но что-то в этом роде, повидимому, действительно случилось, судя по аналогичным слухам, которые сообщает Анненков.

Как бы то ни было, зимой 1839—1840 г.г., очевидно, вопрос был окончательно выяснен с обеих сторон, и в начале марта 1840 г. мы снова видим Огарева в Белоомуте. Перед нами рукописное письмо его к Марье Львовне, помеченное: Белоомут, 5-го марта. «Вот я где,— пишет он,—А отрады нигде. Здесь полупонятый умными, совсем не понятый дураками, я только печально могу взглянуть на этот быт полуобразованных мужиков. Те, которые подстригли бороды и надели длинные сюртуки, смекают и то, и другое, и, может быть, видят во мне не злонамеренного человека; те, которые остались в серых кафтанах, хотят иметь барина, который спускал бы им неплатеж оброка. Вот из чего состоит это знаменитое село, где я обретаюсь на несколько часов... Теперь около полуночи. Завтра созову сходку, поговорю и поеду далее. Дней 16 или 17 достаточно на все».

Формально договор с крестьянами был заключен только

18-го октября 1840 года и затем, пройдя все нужные инстанции, утвержден государем 26-го июня 1842 г. [1]). После этого Огареву оставалось еще только явиться в рязанскую гражданскую палату для совершения записи; но он, очевидно, не знал об этом требовании закона и уехал за границу, не исполнив его. Вследствие этого, сенат предписал отыскать его и понудить явиться в ряз. гражд. палату. Министерство внутренних дел разослало циркуляр об этом по всей империи, но, конечно, без пользы; затем тот же циркуляр был разослан всем консульствам за границей. Наконец, в ноябре 1845 года берлинское посольство известило, что Огарев являлся туда для засвидетельствования своего паспорта на обратный проезд в Россию и «на сделанное ему об'явление отозвался, что он не понимает, почему договор его с крестьянами не приведен еще в исполнение, и что он возвращается в Россию именно для окончания этого дела». Из Берлина Огарев, ждавший денег от Герцена, выехал около 20-го января 1846 года и, очевидно, немедленно по приезде в Москву отправил в Рязань человека с доверенностью на совершение записи в гражданской палате; эта запись была совершена 30 января.

Договор был заключен на следующих условиях. По 8-ой ревизии в Верхнем Белоомуте значилось 1870 душ: за исключением 42-х душ, ранее отпущенных на волю, и 8 дворовых, «проданных» с семействами Огаревым его сестре, ныне уволь-нялись в свободные хлебопашцы 1820 д. Пахотной земли в вотчине не было, а числилось 8127 дес. леса, луга, выгона и усадебной земли, которые вместе с рыбными ловлями и прочими угодьями переходили в вечную собственность увольняемых крестьян. «За таковое увольнение и уступки им в собственность всех помянутых земель и угодий» крестьяне обязались: во-первых, уплатить выкупных денег 142.857 руб.

---

[1]) История освобождения Огаревым белоомутских крестьян всего подробнее до сих пор была изложена В. И. Семевским во втором томе его «Крестьянского вопроса», стр. 227—231; самый текст увольнительнаго акта помещен в указанной выше статье г. Влазнева, в IX т. «Трудов Рязан. учен. арх. ком.». Далее см.: «Анненков и его друзья», Спб., 1892 г. (статья: «Идеалисты 30-х годов»); А. Д. Повалишин: «Свободные хлебопашцы в Рязан. губ.» («Труды Рязан. учен. арх. ком.», 1892, т. VII, № 3).

14 коп. серебр., в число коих они при заключении первого условия, 18-го окт. 1840 г., внесли Огареву 57.142 руб. 85 коп., а остальные 85.714 руб. 28 коп. обязаны уплатить в десятилетний срок со внесением каждогодно 4% с остающейся к уплате суммы; во-вторых, уплачивать в законные сроки долг сохранной казне Моск. опек. совета по займу, сделанному Огаревым 18-го марта 1837 г. на 26-летний срок в 310.000 руб. асс., сколько этого долга еще значилось за трехгодичной уплатой; наконец, в-третьих, по выплате в течение 10 лет выкупной суммы внести в 3-годичный срок без процентов оброчную недоимку 11.428 руб. 57 коп. сер. Недоимка это позднее была прощена Огаревым.

По расчету, сделанному В. И. Семевским, долга сохранной казне оставалось еще в момент заключения договора 82.512 руб. сер. Таким образом, сюда белоомутские крестьяне должны были внести ежегодно в течение 23-х лет по 3.588 руб. сер., да проценты из 5-ти за сто, что в первый год составляло 3.946 руб. сер., во второй—3.767 руб. и т. д.; выкупная же сумма при раскладке поровну на 10 лет ложилась на них ежегодно платежом в 8.571 руб. сер., да процентами, которые в первый год составили сумму в 3.086 руб. сер., во второй—2.743 руб. и т. д. Итак, всего крестьяне должны были выплатить: в первый год около 19-ти тыс. руб. сер., во второй—18½ и т. д. с ежегодным понижением.

О дальнейшей судьбе этой сделки мы имеем следующие сведения. В 1847 г. крестьяне просили Огарева перезаложить их в опекунском совете для покрытия выкупной суммы, «опасаясь,—писали они,—в противном случае после стольких пожертвований поступить в прежнее крепостное состояние». Из письма Огарева к белоомутскому старшине от 23-го дек. 1847 г. видно, что опекунский совет выдал ему 56.673 руб. сер., так что за крестьянами осталось еще 13.071 руб., за каковую сумму Огарев больше процентов не желал получить. Наконец в 1852 году, по причине затруднения в платеже долга опекунскому совету, общество продало купцу Розанову 1.100 дес. строевого леса на вырубку за 550.000 руб. сер., каковой суммой и был покрыт означенный долг; уплата же процентов

онекунскому совету в размере 1 руб. сер. с лугового участка окончена в 1875 году.

Договор, заключенный Огаревым с белоомутскими крестьянами, вызвал в литературе самые противоречивые суждения. П. В. Анненков, излагающий его содержание «по слухам и воспоминаниям современников», признает сумму, полученную Огаревым, ничтожной в сравнении с ценностью уступленных им угодий. Напротив, В. И. Семевский, имевший в руках копии с делопроизводства по увольнению крестьян Огарева, находит сделку обременительной для крестьян и замечает: «Так как Огарев был не заурядным помещиком, имевшим в виду только свои интересы, а очень много мечтал в это время с приятелями относительно уничтожения крепостного права в России, то от этого «идеалиста 30-х годов» можно было бы ожидать большей уступчивости крестьянам».

Суждение В. И. Семевского, как заметил уже автор превосходного исследования о крепостном праве в Рязанской губ. А. Д. Повалишин, основано на ошибке. Дело в том, что г. Семевский при определении единицы выкупа принял в расчет только количество освобождаемых душ и, разделив выкупную сумму на число увольняемых крестьян (236.796 руб. на 1.820 душ), пришел к заключению, что Огарев взял по 130 руб. сер. с души,—цифра довольно высокая даже для Рязанской губ. На это Повалишин справедливо возражает, что такой механический расчет правилен только в тех случаях, когда крестьяне выкупали свою личность и не уносили с собой никакого имущества; в последнем же случае стоимость его непременно должна быть принята в расчет для правильной оценки условий выкупа. Деление же выкупной суммы на количество уступленных десятин (8.127) дает выкуп за десятину в 29 руб. 13 коп. Теперь надо вспомнить, какова была уступленная земля: мы видели, что она состояла из 1.470 дес. луговой земли и 5.500 дес. леса. Белоомутские луга, по свидетельству того же знатока Рязанского края, расположены по р. Оке (следовательно, поемные) и едва ли не лучшие, после Дедновских лугов, во всей губернии; что же касается леса, то он, очевидно, представлял миллионную стоимость, если только $^1/_5$ его, проданная крестьянами, как мы видели, на сруб, спустя не-

сколько лет после освобождения, принесла им 550 тыс. руб. сер., т.-е. сумму в два раза большую, чем весь их выкуп. Если прибавить сюда еще богатейшие рыбные ловли, то станет понятным, почему белоомутские крестьяне доныне считают Н. П. Огарева своим «благодетелем». Очевидно, такого же взгляда держался и чиновник межевого ведомства (позднее директор межевого департамента) Ржевский, который, по свидетельству Анненкова, приехав в 1861 году в Белоомут для размежевания, сказал старикам: «Видите, какая еще благодать остается вам по милости помещика, отдавшего вам все это за бесценок; а он теперь очень нуждается,—что бы вам собрать тысяч сто и послать к нему?» на что старики задумчиво отвечали: «точно, надо бы».

Предоставляя в собственность крестьянам всю землю, Огарев в самом договоре определил способ пользования ею. Распорядок, установленный им, в высшей степени замечателен по замыслу, как попытка создать автономную крестьянскую общину, основанную на равновесии личного и коллективного начал. Вся луговая земля должна была быть разделена крестьянами по взаимному их соглашению на 1820 равных участков, которые отныне остаются в их семействах собственными и наследственными; точно так же дворовые и огородные места в настоящем их размере становятся наследственной собственностью тех, которые на этих местах действительно поселены. Напротив, лесные дачи, дабы сохранить их от произвольного истребления, на участки не делятся, а остаются в общем владении увольняемых крестьян, с тем, чтобы количество нужного на сруб леса для каждого из нуждающихся в том крестьян определялось на мирской сходке; на основании состоявшегося здесь приговора сельское правление и должно выдавать крестьянину позволение с указанием места рубки. Земля выгонная, рыбные ловли и прочие угодья с удобными и неудобными местами остаются у крестьян также в нераздельном владении; здесь,—говорится в договоре,—обыкновенная мера участия каждого из крестьян определяется домашними их потребностями; но, в случае встретившейся чьей-либо нужды, выходящей из круга обыкновенности, как-то: в пользовании из тех угодий более значительном,

нежели как обыкновенный быт допускает,—мера такового участия и условности, с ним соединенные, должны назначаться общим согласием крестьян на их сходе, которое сход утверждает своим приговором. Наконец, и отвод вновь мест под поселение должен производиться не иначе, как с мирского приговора, смотря по возможности и удобству.

Весь этот широкий план, однако же, на деле привел к весьма плачевным результатам, в значительной мере по вине самого Огарева. Анненков рассказывает, что в Белоомуте уже и раньше богачи платили государственные повинности и оброк за неимущих, пользуясь за то их угодьями; теперь, при освобождении, выкуп лег преимущественно на тех же богачей, и, благодаря этому, бедные крестьяне сделались их неоплатными должниками, т.-е. попали к ним в полную кабалу [1]). В довершение правительство при утверждении освободительного акта отчислило некоторые оброчные статьи к ведомству государственных имуществ под предлогом необходимости оградить от расхищения столь ценные в государственном смысле угодья. Таким образом грандиозный замысел, великодушный и теоретически-правильный, на практике породил нелепость. По совершенному незнакомству с действительными условиями сельского быта, с жизнью вообще. Огарев оказался настоящим «идеалистом 30-х годов». По словам Анненкова, побочный брат Огарева, рожденный от крестьянки, никогда не мог простить поэту этого дела. «Зачем барченок этот,—говорил он,—не взял с богачей два, три, пять миллионов за свободу, которой они только и добивались, и не предоставил потом даром всему люду земли и угодья, освобожденные от пьявок и эксплоататоров?»

Но белоомутские крестьяне до сих пор чтут с благодарностью память своего бывшего помещика. Когда в 1877 году, 31 мая, он умер в Гривиче, они, узнав об этом, на сельском сходе постановили приговор такого содержания: «Принимая во внимание все оказанные им нашему обществу неизгладимые из памяти благодеяния, как в бытность крепостного

---

[1]) То же самое рассказывает и Е. Ф. Корш, см. сборник «Помощь голодающим», изд. Рус. Вед., Москва, 1892, стр. 527.

права, так и при отпуске на волю в свободные хлебопашцы в количестве 1820 душ, со всеми угодьями, состоящими при нашем селе, за соразмерную без отягощения нас сумму, мы единогласно постановили: дабы почтить память нашего незабвенного и любимого нами бывшего помещика Н. П. Огарева, с сего 1877 года учредить отныне и на все времена: в день смерти его, 31 мая, каждогодно в воскресный день, ближайший к этому числу, творить об упокоении души его и родителей его поминовение в церкви через священнослужителей службой соборной панихиды и, кроме того, ежедневно иметь поминовение души его с родителями; расход на это производить из общественных сумм». Кроме того, из двух новых приделов кладбищенской церкви в В. Белоомуте, освященных в 1879 году, один назван Никольским по святому, имя которого носил Огарев; наконец, в 1900 году, по ходатайству белоомутского общества, разрешено учредить в Белоомуте библиотеку имени Н. П. Огарева. Как в библиотеке, так и в волостном правлении висят его портреты. Когда летом 1901 года вдова поэта, Наталия Алексеевна Тучкова-Огарева, прислала в Белоомут его портрет, сельский сход постановил искреннейше благодарить ее «за в дар присланный портрет ее супруга,—сказано в приговоре,—бывшего нашего помещика Николая Платоновича Огарева, память о котором в продолжение шестидесяти лет со дня освобождения нашего жила, живет и вечно будет жить в сердцах наших семейств, как об отце и благодетеле, щедро наградившем наше общество своим имуществом, которым мы, владея и пользуясь, живем обеспеченно». Немногие из помещиков крепостного времени оставили по себе такую светлую память среди своих крестьян, немногие поминаются доныне в сельских церквах. И есть что-то глубоко-скорбное и вместе примиряющее в этих забо-тах рязанских мужиков о душе изгнанника, чье тело зарыто в далекой, чужой земле.

II.

По освобождении белоомутских крестьян у Огарева оставалось еще, повидимому, около 2.000 крепостных. Почему он не освободил и их? Думал ли он, что есть и другие способы

«вывести их из полускотского состояния», кроме отпуска на волю? Очень вероятно, что он решился предоставить Белоомут его собственным силам именно потому, что мог обеспечить эту общину более чем достаточными природными ресурсами, тогда как остальные его вотчины были гораздо беднее. Анненков рассказывает, что к прочим своим деревням Огарев думал приложить иную систему освобождения, именно— путем устройства фабрик на вольном труде, которые дали бы крестьянину возможность всегда находить заработок. Но в ближайшее время он не исполнил этого плана; весной 1841 года он уехал за границу и прожил там, с небольшим перерывом, почти пять лет. Когда в начале 1846 года, окончательно разойдясь с женою, он вернулся в Россию, его денежные дела были крайне расстроены и, вдобавок, ему приходилось выдавать крупные суммы на содержание жене. В конце 1846 года мы уже видим его в Старом Акшене, родовом имении его отца, Саранского уезда, Пензенской губернии. Здесь он самолично принимается за хозяйство и, как видно, пытается осуществить свою старую мысль об улучшении быта крестьян чрез вольно-наемный труд на заводах. Его настроение и взгляды были теперь далеко не те, что шесть лет назад. Без сомнения, он с самого себя списал портрет Андрея Потапыча в первой главе своей стихотворной повести «Господин»:

Печально в угол из угла
Бродя один в своей квартире,
Решил он, что пора пришла,
Чтоб дело делать в этом мире:
Начать воспитывать крестьян.
В их нравах сделать улучшенья,
Зерно ума и просвещенья
Посеять в глушь далеких стран.
Решил—и в путь пустился дальний,
В свою деревню, край печальный.

Сохранились три письма Огарева от второй половины 1847 г., чрезвычайно ярко рисующие его замыслы и деятельность по отношению к крепостным в эту эпоху [1]). Поэт, меч-

---

[1]) Сборник «Помощь голодающим», изд. Р у с. В е д., Москва, 1892, стр. 521 и сл.

татель, идеалист превратился в деятельного, рассудительного, настойчивого хозяина; он устраивает сахарный и винокуренный заводы, даже сам работает на них в качестве чернорабочего для ознакомления с техникой производства, собирается купить бумажную фабрику в Симбирской губ., ездит на ярмарки и торги, ведет обширное сельское хозяйство и пр. Подобно тому же Андрею Потапычу, он держит у себя на полках

Творенья Тэйра и других
Новейших лет индустриалов.
Еще народных школ обзор
И ряд практических журналов.

мало того, он сам пишет агрономические и экономические статьи.

Огарев поселился в деревне несомненно с двоякой целью: добыть денег на уплату долгов и провести совершенно определенный, зрело обдуманный план реформы крепостного уклада, которая представлялась ему в данном случае, повидимому, более целесообразной, чем простой отпуск на волю. Это был план педагогического свойства в самом широком смысле слова: план приучения крепостных к свободному труду. Эти две задачи казались ему неразрывно связанными одна с другой; он знал, что вольный труд гораздо производительнее рабского.

Упомянутые выше письма Огарева 1847 года (к Коршу и Грановскому) показывают, что он не упразднил барщину: он только всячески поощрял переход на оброк, который взимал в размере 60 руб. ассиг.; все же остальные работы, как сельско-хозяйственные, так и заводские, кроме немногих, исполняемых в барщине, он старался производить платным трудом. Это была ломка всего хозяйственного строя и, разумеется, на первых порах она должна была встретить отпор со стороны крестьян. Преодолеть это глухое сопротивление, не прибегая к насильственным средствам, оказалось почти невозможным. Огарев рассказывает друзьям, что однажды даже велел наказать одного мужика розгами, чтобы заставить его вторично перепахать дурно вспаханное поле. «Вы скажете—плантатор! потому что дело идет о барщинной ра

боте. Я вам отвечу, что мужики свою собственную пашню пашут точно так же скверно, утверждая, что если Господь уродит, то хлеб будет». Впрочем, наказание розгами он употребил только один этот раз, заменив его ссылкой в заводские работы на несколько дней. Апатия крестьян, их лень, грубость нравов, невежество приводили его в ужас, отнимали у него энергию. «Здесь надо иметь страшное терпение, друг мой,—пишет он,—чтобы выдерживать упорное неразумие общины, которое оскорбляет на каждом шагу, и делать свое дело по методе, не вовсе свойственной моему характеру, т.-е. приказывать и требовать беспрекословного повиновения. Сколько ни стараешься достигнуть повиновения приобретением доверия, но нет!.. Я же, к несчастию, особенно поставлен в тяжелое положение хлопотать с мужиками, которых здравый смысл развращен влиянием многочисленной дворни со всеми ее лакейски-аристократическими замашками, местничеством и ленью, хлопотать с этой самой дворней и заставлять делать то, что хочу, стараясь обходиться по возможности без плантаторских средств убеждения. Все, что могу сказать,—это ужасно трудно. Но необходимо. Для собственных выгод мне надо систему барщинной работы свести на систему заплатного труда, и это никак не ложится в мужицкие головы. А ведь, кажется, не глупый народ, да вот с детства нянька зашибла; ничем не вразумишь».

Главным средством «вразумления» должна была стать, конечно, школа. Вопросы народного образования давно уже занимали Огарева. Уже около 1836 года он пишет—и бросает, не кончив,—трактат о воспитании; несколько позднее он изобретает новую «методу обучения в народных училищах» и просит друга прислать книг о ланкастерской системе, чтобы сравнить ее со своей [1]). Теперь, едучи в деревню на оседлое житье, он, разумеется, подобно своему Андрею Потапычу, привез с собой и «народных школ обзор». И вот, летом того же 1847 года из Акшена отправляется в Москву, к Грановскому и Коршу, разработанный до мелочей план народной школы, и затем в письмах беспрестанно повторяется просьба об у'чи-

---

[1]) П. В. Анненков, там же, стр. 52 и 58.

теле, которого должны отыскать те же друзья; школу предполагается открыть тотчас по приезде учителя. План этот, писанный рукой самого Огарева, находится в Московском Румянцовском музее среди бумаг Е. Ф. Корша; он настолько замечателен, что мы считаем нужным воспроизвести его здесь целиком.

École polytechnique populaire.

«Прежде всякого плана школы нам надо согласиться в основаниях (principes) народного образования. Для этого я предложу один вопрос: что мы называем невежеством? Если мы согласны в определении невежества, то мы не можем разойтись в определении образования. Невежество—двух родов: или простое незнание истины и действительности (réalité), или искаженное понятие истины и действительности, что составляет заблуждение (erreur) и предрассудок (superstition). В этом, я думаю, спорить нельзя. Теперь посмотрим, в какой форме и тот, и другой род невежества является в нашем народе. Станем отвечать на 1-й вопрос: чего наш народ не знает?—Он не знает:

1) Личного достоинства человека. Отсюда отсутствие понятия чести, права и гражданства. Однако в народе существует некоторый кредит, однако существует некоторого рода законность, однако каждый мужик—член общины. На это я стану отвечать в отделе невежества par erreur et superstition. Из непонятия личного достоинства отчасти происходит отсутствие деятельности. Говорю отчасти, потому что это только одна из причин косности нашего народа; о других я скажу после. Косность, непосредственная косность, лень ума и рук, если она не есть апатия после огромных несчастий или идиотизм, необходимо заставляет предполагать отсутствие понятия о личном достоинстве. Человек самостоятельный не может не действовать.

2) Народ не знает никакого научного об'яснения естественных явлений и приложения науки к промышленности. Его труд основан на неподвижной рутине, и все его понятия в механике и земледелия тотчас перебрасывают в невежество par erreur et superstition.

Теперь разберем же его заблуждения и предрассудки.

1) Он привык думать, что рожден рабом и что на это воля Господня. В привычке к рабству и в вере в фатализм Божьего произвола—корень всех его заблуждений и предрассудков.

Он верит, что жизнь его, его достояние, удача и неудача в предприятиях до такой степени в руках Провидения, что он даже не заботится сознательно о сохранении жизни и здоровья. Если у него дом неудобен, одежда нехороша, двор грязный, он ничего не спешит поправить или изменить, потому что жизни-то не спасут никакие человеческие пособия и все будет только как Богу угодно. Он скверно пашет и молится о дожде или вёдре. Эта вера снимает с него обязанность сколько-нибудь мыслить, даже запрещает ему мыслить, и попы спешат ему сказать, что изменить statu quo, на который была воля Господня, значит итти против воли Господней. Если вы откровенно подумаете, то, может быть, и возразите мне, что попы говорят не тем языком; но, без сомнения, согласитесь, что они при всяком удобном случае говорят именно то своим языком. Заметьте по статистическому опыту в наших деревнях, что не более как 5% крестьян богатеют. Мы сами невольно привыкли считать их исключительными людьми. Если остальные, т.-е. масса (не исключительные люди), работают и кормятся, то это потому, что они по невольному и бессознательному опыту чувствуют, что Провидение не положит им печеного хлеба в рот и не спасет их от замерзания, если бы они голые вышли на мороз. Но даже и исключительные люди в поступках идут на а в о с ь,—слово, которое опять выражает фатализм воли Господней. Заметьте, что ни в одном языке не существует этого слова, кроме нашего. Французское peut-être (а другие языки не выразили ничего лишнего против смысла этого французского слова) выражает сомнение и надежду; оно редко приходит в голову француза. А наше а в о с ь выражает положительное вероятие и употребляется беспрестанно, особенно с присовокуплением: Бог поможет. А в о с ь Б о г п о м о ж е т даже на языке наших воров—весьма обычная поговорка. Что же такое эта вера в фатализм Провидения, которому, заметьте, верят без всяких

нравственных оснований за или против какого-нибудь дела? Это—ужаснейший формализм веры, признающий деспотизм Бога помимо всякого разумного и нравственного содержания. Это начало лежит в нашей церкви, которая не столько выезжает на христианской морали и Моисеевых заповедях, сколько на формальном богослужении обрядов, постов, земных поклонов, вообще всяких..., которые мы согласны делать перед существом, безусловную власть которого мы признали и которого боимся, как чорта. Наша народная вера в фатализм Божьего произвола есть рабский страх перед властью, признанной формально, без всякого нравственного содержания; это какой-то обрусившийся иудаизм, который поддерживает косность, рабскую робость, уничтожает самостоятельность человека, мешает пользоваться изучением сил природы, а все нравственные понятия сводит на жалкий формализм церковных постановлений.

2) Как вера в фатализм Божьего произвола дает нам формальную религиозность помимо всякого нравственного содержания, так привычка к рабству, признанному законодательством, дает нам формальную законность помимо всякого права, формальное судопроизводство помимо правосудия и общинный быт, который есть формальное равенство. Я не знаю, как иначе назвать равенство подати при неравенстве сил, равенство земель при неравенстве трудов и капиталов. Наша община есть равенство рабства. Мир (мирское управление) есть сборище, на котором каждый является палачом и жертвой, завистником и боящимся зависти; мир есть выражение зависти всех против одного, общины против лица. Если на Западе идея равенства требует, чтоб всем было равно хорошо, то на миру равенство требует, чтобы всем было равно дурно. Результат всего общинного, административного и судебного устройства тот, что мужик (лучше скажу, русский человек вообще) не в состоянии понять, чтобы человек мог не принадлежать чему-нибудь, что он может быть сам по себе. Все, что здравый смысл должен вносить в общественную жизнь, у нас пробивается по секрету, обходя обманом закон и общинное устройство. Все это опять приводит к отсутствию деятельности и честности, к вечному испугу и нехотению по-

стоять за свое право открыто. Гражданственный формализм делает то, что для народа идеал грамотного человека есть делатель фальшивых бумаг, т.-е. человек, который может писать фальшивые виды и кляузные просьбы и ответы; а между тем кляуза есть—хотя воровским путем—восстановление общечеловеческого права, потому что обманывает формализы гражданственности, отличающийся отсутствием права. Странное совпадение плутовства с правосудием!

3) Предрассудков в земледелии и обыденной жизни не оберешься. Сюда относится и привычка к трехпольному хозяйству, и привычка к известной стройке жилищ, способствующей грязности и болезням, и смесь поверий языческих и христианских, которые столько же смешны, сколько отвратительны. В отношении гигиены они уже становятся смертоносными.

Итак, три рода предрассудков: религия, гражданственное устройство (разумея под этим общинный быт, как коренное основание) и хозяйственное устройство. Общий результат их—опять косность в нравственном и индустриальном отношении. И вот против чего должно действовать воспитание. Очевидно, что невежество заблуждений и предрассудков составляет для воспитателя действительную борьбу, между тем как простое незнание непосредственно устраняется учением. В борьбе с предрассудками посредством воспитания мало одного учения, весь образ жизни учеников должен быть устроен ежеминутным противодействием предрассудкам, привитым с первого детства. Эта задача весьма не легка, особенно при иных препятствиях, которых задняя мысль должна преследовать воспитателя. Но какие бы ни были препятствия, единство метода необходимо в воспитании. Этот метод, очевидно, должен быть противоположен всякому предрассудку. К счастию, этот метод есть существенная человеческая сторона в каждом человеке: это—рассудок, здравый смысл. Воспитывать здравый смысл значит истреблять предрассудки.

4) После этого введения перехожу прямо к плану моей школы сельского хозяйства.

А. Образ жизни учеников.

1) Ученики не будут припуждаемы исполнять какие бы то ни было обычаи, от которых пахнет обрядом и формализмом.

2) Ложь и обман будут преследоваться учителем следующим способом: показывая, что ложь из боязни напрасна, потому что отношения ученика и учителя отнюдь не будут основаны на страхе, а на уважении и соревновании. Обязанность учителя—всегда выказывать, во-первых, бесполезность и ненужность обмана, и потом его подлость. Это единственный путь приучить к честности.

3) Ученики встают в одно и то же время. Вставши, убирают комнату, умываются, расчесывают волосы и тогда идут к своим занятиям.

4) Постная пища уничтожается. Кушанья должны быть разнообразны; кроме мяса, приготовляемы из всяких овощей, легко добываемых мужиком. Развитие вкуса должно уничтожить лень. Уже Фурье заметил, что хороший обед—главная цель индустрии.

5) Ученик не входит в школу с грязными ногами.

6) Ученик, раз поклонившись на улице учителю, помещику или кому из старших, обязан надевать шляпу.

7) Ученик, прося прощения за проступок, не смеет становиться на колени. Он предупрежден, что это считается подлостью.

8) Матери, отцы и родственники могут навещать учеников, но ученики домой не отпускаются.

9) Время труда, завтрака, обеда и сна определено. Труд разнообразен. Урок и телесная работа сменяются 2 раза в день.

10) Ученики спят на кроватях. Сменяют белье 2 раза в неделю. Никогда не спят ночь одетые. Кафтан должен быть вычищен и платье не валяться где попало.

11) В комнатах воздух чист и зимой определенная температура.

12) Телесных наказаний не существует. Maximum наказания—отдельный арест.

14 (sic). Ученики должны знать наперед, что по окончании курса, в награду за успех, они получат освобождение от крепостного состояния с условием пробыть 4 года в своем крае [1]).

В. Наука.

Курс разделен на 4 года. Главное положение в течение трех первых лет: ученику ничего не говорится о фантастических предметах и исторических предрассудках. Учитель самыми уроками и обращением должен пробуждать соображение так, чтобы оно противоречило закоренелой нелепости.

Вот самые уроки:

1-й год. 2 первые месяца грамота по методе Жакото. Ученик учится считать по пальцам и по счетам и писать цифры. Читать он учится печатное по гражданским буквам. Книгу избрать довольно трудно и надо подумать. Церковной печати он вовсе не учится. Читать ему придется больше писанное, чем печатное, потому что писанных материалов мы предоставим больше. Выучившись писать, ученики продолжают писать под диктовку, которой содержание зависит от нас. Учатся арифметике. Утренний класс занимается арифметикой и об'яснением атмосферических явлений (метеорологией и физикой), опытами легко понятными и не требующими математических расчетов. Вечерние классы составляют диктовку предметов, которые должны быть опытом об'яснены на другое утро. К концу зимы (а наша школа не может иначе начаться, как осенью) даются понятия о химии. Делаются аналитические опыты над телами, которыми мы наиболее окружены. С весны знания учеников в физике и химии прилагаются к почве и растительности; но все химические сведения относятся только к квалитативному разложению, а не к количественному.

2-й год. Преподается геометрия. Уже с лета ученику даются геодезические понятия, и переход к геометрии будет

---

[1]) Ученики из моей деревни, может, уже и прежде будут свободны, но обязаны остаться в школе и в нашем крае означенное число лет.

не трудеи. Физика переходит к механике, т.-е. к об'яснению законов движения, и дается теоретическое понятие о машинах. Химия переходит в количественный анализ, и об'ясняется теория пропорции. Анализы не производятся над телами редкими, а вертятся около почв и употребительнейших веществ.

3-ii г о д. Физика и механика преподаются подробнее. Присовокупляется популярное изложение астрономии. Химия, не прекращая приложений к земледелию и физиологии растенииї, переходит в физиологию животных и прилагается к скотоводству. Дается понятие о геологии и ботанике, преподаются лесоводство, технология и сельское хозяйство.

4-ii г о д. Продолжаются естественные науки со включением анатомии и краткоїї зоологии. Преподается сельская и техническая архитектура. Это в утренние часы. Вечерние часы посвящены: a) Грамматике, которая до сих пор ограничивалась правописанием по рутине, а теперь должна логически разобрать состав речи. b) География с приложением к производительности и торговле разных стран. c) Политическая экономия. d) Кое-что об истории, и отсюда e) понятие права, нравственности и прямое нападение на предрассудки (в известных границах). Entre autre, f) критическиї обзор наших постановленииї.

Мне скажут, что это почти университетскиї курс. Если б и так, что же за беда? Но размер науки и практическая цель покажут, что это не университетскиї курс, а именно тот, которыї должен образовать селянина. Нам предстоит или просто выучить грамоте 50 школьников, из которых, разумеется, ничего не выйдет, кроме людеї, которые забудут читать и писать за неимением книг и времени, или образовать человек 10—15 сельских учителеї и начальников и пустить их как ферменты в наши общины. Я думаю, последнее разумнее, кроме того, что для малого числа учеников мы выберем лучших суб'ектов, что мужикам не в тягость отдать в школу по 1 мальчику со 100 душ и, следовательно, не будет недовольных, которые бы приходили смущать учеников, или дать повод к иным неприятностям. О школе для женщин я ничего не говорю; да мне кажется, что для нее и час не пробил, да и

нам нельзя растрачивать внимание на слишком много предметов. Еще замечу, что в продолжение ваго [1]) времени мы с учителем обязаны составить народно-учебную книгу.

C. Телесная работа.

1-й год. Зимой: столярное, кузнечное, слесарное и медное ремесло. Летом: огород.

2-й год. Зимой: в мастерских ученики делают усовершенствованные полевые орудия и модели самых несложных машин.

3-й год. Ученики строят модели мельниц, молотилен etc. Летом: огород.

4-й год. Зимой продолжают устройство моделей. Летом: строят какой-нибудь завод, который сами пускают в ход на 5-ю зиму.

Воздѣлывание огорода соединено с изучением систем сельского хозяйства. Ферму ученики посещают при об'яснении возможных улучшений. Завод, строимый учениками, должен быть рассчитан на выделку знакомых ученикам плантаций.

D. Гигиена.

Порядок в жизни, чистота жилища и мастерских, чистота воздуха в них и здоровая пища; к этому ученики приучаются бессознательно, а впоследствии им об'ясняется, почему что здорово или нет. Медицинские сведения ограничиваются гигиеническими понятиями и наставлением, как поступать с внезапно заболевшими и в несчастных случаях. Ученики должны уметь пускать кровь из руки.

Порядок в жизни влечет за собой:

E. Распределение труда.

Встают в 4 часа. От 5 до 8½ класс. От 8½ до 9 завтрак. От 9 до 1 мастерская или огород. В час обед, до 3 отдых. От 3 до 6 класс. От 6 до 8 мастерская (при свечах) или огород.

---

[1]) Описка у Огарева при переносе со строки на другую; в черновой, вероятно, было: первого.

В 8 ужин, потом сон. Выходит час на чистку комнат и себя, 6½ часов класса, 6 часов телесной работы, 4 часа на еду и отдых и 8 часов сна.

Воскресенье зимой: отдых, состоящий в гимнастических упражнениях в зале, занятиях на скотном дворе, беседах с учителем, чтении непаучных книг.

Воскресенье летом: прогулки по лесам, полям, оврагам, приноровленные к лесоводству, ботаническим и геологическим сведениям и с'емке планов.

Можно учредить воскресный класс, в котором ученики будут учить детей просто грамоте.

Данные все говорят в пользу моего плана. Наука выведет из незнания. Предрассудки не будут иметь пищи, а, напротив того, наука нечувствительно перебросит из них совсем в другую сферу. Воспитаем мы людей практических, к делу прилагаемых, здоровых умом и телом; добросовестных, потому что им не будет ни примера, ни поощрения к обману; мужественных духом, потому что их отучат от испуга и приучат к чувству самостоятельности; трудолюбивых,—это уже обязанность учителя и моя пристрастить к труду. Они выйдут свободными людьми, хотя и обязуются остаться 4 года в нашем крае, чтобы успеть иметь влияние и обучать других. Во всяком случае, мы образуем человек 10 отличных мужиков-пропагандистов, и воскресными классами мы обучим большое количество детей грамоте. Чего же более? А между тем приготовится к печати курс популярной энциклопедии.

Лета учеников для поступления в школу entre 12 et 14.

Из сего видно, что̀ требуется от учителя и насколько он должен быть близок мне, единомыслен и единодушен. Плата от 1.500 руб. до 2.000 руб. в год и хорошее содержание.

Вот мое поручение: сыскать учителя. Он будет называться моим лаборантом, и когда будешь писать о нем, так и называй. Если он не сведущ в сельском хозяйстве, выучится здесь; но математику должен знать хорошо, а естественные науки отлично и иметь привычку производить опыты. Умственные способности. — само собой разумеется. какие. Хорошее поведение необходимо. Когда найдешь, па-

пиши тотчас, мне хотелось бы в сентябре открыть школу. Если к тому времени не найдется, то нельзя иначе открыть как после Нового года, ибо я от половины октября до половины декабря буду в Москве.

Введение этой программы есть оглавление большой статьи, которая будет писаться года три и больше».

План этот едва ли нуждается в пояснениях. Можно оспаривать ту или другую его подробность, но основным его пунктам нельзя отказать в рациональности, за исключением, впрочем, одного: едва ли можно признать правильной предлагаемую Огаревым систему полного обособления учеников от их семейств, т.-е. от той среды, в которой они сложились и в которую вернутся после школы [1]).

Но весь план остался на бумаге: школы Огарев не устроил. Около этого самого времени он завел в Акшене больницу, в которой сам усердно работал, и до сих пор там сохранилось немало больничных принадлежностей и инструментов, равно как и книг по медицине на разных языках. Что помешало ему открыть школу, мы не знаем. Мысль о ней была, конечно, с восторгом принята друзьями; повидимому, были даже разговоры о том, чтобы и Герценам и Коршам переехать в Акшено—воспитывать своих детей в этой школе. В неизданном письме Герценов к Огареву из Парижа от 3-го августа

---

[1]) В этом деле Огарев далеко опередил свое время: специалисты по сельско-хозяйственному образованию только в наши дни пришли к мысли о школе-ферме, какую он проектировал в 1847 году. Так, олонецким земством года четыре назад выработан тип школы-фермы, в общих чертах близко напоминающий план Огарева. По сообщению «Пермских Губ. Вед.», каждой такой школе предполагалось отвести участок земли не менее 50 десятин. На этом участке полевое хозяйство должно быть поставлено в той форме крестьянского хозяйства, какая желательна для данного района в будущем; при школе должны быть ученики от 30 до 40 человек; ученики школы обязаны производить все сельско-хозяйственные работы под непосредственным наблюдением управляющего школой; в зимнее время ученики должны обучаться ремеслам кузнечно-слесарному и столярно-плотничному, в пределах потребности крестьянского хозяйства; в свободное от работ в мастерских время должны производиться беседы управляющего с учениками, имеющие прямое отношение к ведению фермерского хозяйства; курс школы 3-летний; все ученики в течение этого периода должны проживать в школе.

1847 года Наталия Александровна Герцен писала: «А что же, школа будет у тебя в деревне? Тогда мы привезем наших детей туда учить, и учителей, и я сама буду учить, чему умею, и Марью Федоровну [1]) привезем, потому что, верно, и Федя будет в этой школе. Саша [2]) учится здесь гимнастике, а тогда уж не надо будет: возле лес и река есть! Заводи же поскорей школу, а я здесь научусь поскорее, да мы выпишем туда и Гр(ановского) преподавать историю; твоего и нашего состояния вместе достанет, чтобы учредить все и содержать всех хорошо, только вина не будем выписывать много, да вино и заниматься будет мешать. Составь выбор книг, мы запасемся здесь, чем нужно... и вырастет юное поколение, и будет жить, мы состаримся, умрем и будем жить в них. А похоронят нас в твоей деревне. Большие люди—как дети, которые заиграются до того куклой, что воображают ее живою, а она из тряпочек; да только моя кукла не из тряпочек, а не жива она оттого, что холодно».

III.

Изложенным исчерпываются все наши сведения об отношениях Огарева к его крепостным. Пензенских своих крестьян он так и не освободил. В конце 40-х годов его пензенские деревни перешли к его друзьям Н. М. Сатину и Н. Ф. Павлову; вскоре затем Огарев купил Тальскую бумажную фабрику (в Корсунском уезде, Симбирской губ.), на которой и работал до 1855 г., когда она сгорела. Он и здесь пользовался крепостным трудом, стараясь по возможности заменить его вольнонаемным. Одно его письмо от начала 1854 г. [3]) показывает, что у него возникала и мысль о фабриках, основанных на ассоциации труда, но его пугала косность русского крестьянина, развращенного крепостничеством: «уверенный, что его никак нельзя прогнать за тунеядство, он не

---

[1]) М. Ф. Корш, сестра Евг. Фед. Корш; Федя—сын Евг. Фед., теперь академик Ф. Е. Корш.

[2]) Восьмилетний тогда сын Герценов, позднее известный физиолог.

[3]) К С. И. Астракову, см. «Полярная Звезда», изд. графа Салиаса, 1881 г., февраль, стр. 29.

хочет делать все, что может, и едва ли способен на это, даже при ассоциации труда»; главное зло он видел в том, что «нет стремления жить лучше». Вскоре после пожара фабрики, в 1856 году, он навсегда покинул Россию.

Огарев сам—полнее и красноречивее, чем мы могли бы это сделать—подвел итог своей практической деятельности в России. По всей вероятности, в годы акшенского эксперимента (1847—1849 г.г.) написал он начало стихотворной повести под заглавием «Деревня». Ее сюжет—именно этот его неудавшийся опыт. После изучения философии в Берлине, об'ехав Европу и изнуренный несчастной любовью, Юрий возвращается в Россию и поселяется в своем родовом поместьи, задавшись целью:

Познанья, ум и жажду дел,
Которой цели не умел
Определить доселе верно,
К тому направить, чтоб село
Его трудилось и цвело,
Чтоб грамоте учились дети
И мужики умнели бы без плети.

К этой цели он идет теми же двумя путями, которыми, как мы видели, шел Огарев: учреждает школу, а главное, старается заменить барщину платным трудом. Поэма осталась неконченной, но среди бумаг Огарева сохранилось следующее «Письмо Юрия» [1]):

Мой друг! я думал сделать много!
Я думал, здесь себе исход
В труде рассчитанном найдет
Ума немолчная тревога,
Подобно, как пары, стремясь,
Для цели движут тяжесть масс,
Иначе в пустоте окружной
Разносятся бессильно и ненужно.

Бразды правленья взял я в руки,
Изгнав уныние, как грех,
С надеждой юной на успех,

---

[1]) Печатается полностью впервые. Рукопись черновая, кое-где стих не отделан или даже не кончен. Взятое в скобки—в рукописи перечеркнуто.

С запасом мысли и науки,
Желаньем лучшего томим,
С тем уваженьем прямым
К лицу, к его правам, свободе,
Которое хотел вселить в народе.

Я думал, барщины постыдной
Взамен введу я вольный труд,
И мужики легко поймут
Рассчет условий безобидный.
Казалось, вызову я вдруг
Всю жажду дела, силу рук,
Весь ум, который есть и ныне,
Но как возможность, в нашем селянине.

Привычкой связанный ленивой,
Раб предрассудков вековых,
В нововведениях моих
Следы затеи прихотливой
Мужик мой только увидал
И молча мне не доверял,
И долго я на убежденье
Напрасно тратил время и терпенье.

И — как мне было это ново! —
Чтоб труд начатый продолжать,
Я должен был людей стращать!
Пойми насквозь ты это слово:
Я должен был стращать людей!
И чем же? — властию моей,
Которой от души не верю,
Которою я гадко лицемерю.

Да! гадко! Гадко и бесплодно!
Я этим верить приучу
Во власть мою, а хлопочу
Дать почву вольности народной!
И впереди моя судьба —
Увидеть прежнего раба
Там, где хотел я человека
Воспитывать для всех успехов века.

Что ж выхожу перед собою
И пред людьми я, наконец?
Что? Барин? подданных отец?

То-есть плантатор пред толпою
Сих белых негров? Иль опять,
Как и назад тому лет пять, —
Мечтам не верящий мечтатель,
В горячке вечной подвигов искатель?

Итак, мой друг, вперед ни шагу!
Желанья тщетно пропадут,
Я только на пустынный труд
Растрачу силу и отвагу.
Один не изменю я ход,
Который избрали — народ,
Его правительство и барство,
Вся гнусность под названьем — государство.

И выход есть один: терпенье!
Терпенье! в этом слове, друг,
Две вещи высказаны вдруг:
Бесплодная работа и мученье!
Терпенье — выход!.. Так сносить
Среду, где довелося жить,
Насколько б ни было в ней скверно, —
Есть выход? О!.. как это лицемерно!

Так что ж? Теперь — еще покуда
Я сил запас не истощил,
Для денег, денег не ценил —
Уж не бежать ли мне отсюда?
Чтобы уйти, я мужикам
Именье все и волю дам...
Но этим, не исправив нравы,
Я послужу невеждам для забавы!

И все же жаль мне цель оставить —
Устроить в стороне родной
Хоть этот мирный угол мой
Так, чтоб в нем мог себя поздравить
С свободой прочной селянин,
Деревни вольной гражданин
Вот все, чего ищу... Ужели
Для этого мы даже не созрели?

О, если так — то прочь терпенье!
Да будет проклят этот край,
Где я родился невзначай —

(Уйду, чтоб в каждое мгновенье
В стране чужой я мог казнить
Мою страну, где больно жить,
Все высказав, что душу гложет,—
Всю ненависть, или любовь, быть может).

Хочу, по крайней мере, чтобы
Хоть умер я на почве той,
Где любит волю род людской,
Где я глаза б закрыл без злобы,
Вдали от всех тупых рабов,
От всех властителей-глупцов,
От казней темных и злодейских
И всех смешных надзоров полицейских.

(Но до конца
Я стану в чуждой стороне
Порядок, ненавистный мне,
Клеймить изустно и печатно,
И, может, дальний голос мой,
Прокравшись к стороне родной,
Гонимый вольности шпионом,
Накличет бунт под русским небосклоном).

Это был обет и пророчество.

2. Поэт.

I.

Если бы понадобилось определить основной мотив поэзии Огарева одним его стихом, мы привели бы стих: «Душа грустит, стремясь и желая»... Этими самыми двумя словами: стремление и желание, он сам обыкновенно определяет свое душевное состояние, и первое, общее впечатление, производимое его поэзией на читателя, невозможно выразить иначе, как именно этими словами. К чему стремление, это видно с первого взгляда: стремление к полноте и гармонии бытия, жажда и такого момента, когда все душевные силы безраздельно поглощены одним чувством, — жажда «полного аккорда». При каких условиях должно осуществиться это стремление, какого порядка должно быть поглощающее чувство — безразлично, лишь бы пережить гармонический мо-

мент. Это необусловленное никакими конкретными признаками, совершенно идеальное требование составляет основной мотив поэзии Огарева и ее главное отличие.

Мы увидим ниже, что он знал моменты душевной полноты, — кто не знал их, особенно в молодости? И вот, характерно, что у него нет ни одного стихотворения, которое было бы посвящено изображению такого момента, точно так же, как нет ни одного, в котором выразилась бы жалоба или негодование на какую-нибудь реальную причину, внесшую диссонанс в звучавший аккорд. Его вдохновляет не самое счастие в его конкретной форме, и не скорбь об утраченном, опять конкретном счастии, а чистая жажда душевной полноты вообще. Очевидно, он писал только в такие минуты, когда никакое определенное чувство радости или боли не наполняло его души, т.-е. когда вещественные элементы последнего пережитого упоения уже утратили для него свое очарование.

Идеальное требование, призванным глашатаем которого является Огарев, в столь чистом виде не было выражено ни одним из наших великих лириков. Без сомнения, в душе каждого поэта — как, впрочем, в душе всякого человека — живет некий идеал красоты или гармонии бытия («счастия»), более или менее высокий, более или менее сознаваемый; но, повторяю, ни один из наших поэтов не сосредоточился так исключительно, как Огарев, на изображении тех чувств, которые вызываются самой жаждою этой красоты. Душевная гармония, «полный аккорд» составляют в сущности содержание всякой лирики; но из трех моментов этого явления: из стремления к гармонии, вкушения ее и грусти о неизбежном ее нарушении—русская лирика почти исключительно разрабатывала только два последних. Как Огарев является типичным выразителем первого из этих моментов, так типичными выразителями двух остальных (душевной полноты, с одной стороны, и скорби о ее мимолетности или невозможности—с другой) являются Фет и Лермонтов. В Пушкине оба последних момента соединены, ибо самое чувство скорби о недолговечности счастия, благодаря божественно-свободной игре необ'ятных душевных сил, превращается у него в свою

противоположность, т.-е. дает ему внутреннее ощущение гармонии, блаженства. Напротив, Фет и Лермонтов односторонни в своих сферах, как Огарев—в своей.

На всем протяжении своего творчества, начиная с самой конкретной своей картинки, вроде «Шепот, робкое дыханье», и кончая мистической картиной своего пробуждения в могиле, Фет является певцом среднего момента: достигнутой полноты души. Он исчерпывает блаженство мгновения с неслыханной интенсивностью, и дает нам всю гамму наслаждения—от его земного подножия до его мистических отголосков. Мы не станем спрашивать себя здесь, как случилось, что жизнь уготовила ему эти мгновения в таком завидном обилии; для нас безразлично, об'ясняется ли это сравнительной близостью к природе и, значит, осуществимостью его идеала, или же счастливой организацией поэта. Для нас важно, что он ощущал вдохновение преимущественно в те минуты, когда его стремление к полноте чувства находило себе удовлетворение во-вне. И у него, конечно, гармония неминуемо каждый раз нарушалась, но тогда и вдохновение покидает его, и он кладет перо, ограничиваясь удостоверением грустного факта: «Миг один—и нет волшебной сказки, и душа опять полна возможным». Так велика, так абсолютна достигаемая им в наслаждении полнота чувства, что содержание момента, конкретное или идеальное, не оставляет в его душе места ничему другому: когда конкретное, тогда для него

Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор...

—когда идеальное, тогда он в мгновении созерцает вечность. Не остается места и вытекающему из опыта сознанию непрочности счастия, хотя этот опыт, без сомнения, не был чужд и Фету.

В этом его основное отличие от Лермонтова, вся энергия которого сосредоточивается не на вкушении блаженства (оно в первое же мгновение отравлено для него сознанием непрочности всякого счастия), а на протесте против тех внутренних и внешних сил, которые разрушают блаженство: против рассудка, спугивающего своим непрошенным словом сладкий

недут страсти; против судьбы, так горько прекословящей надеждам юности; против холодных и бездушных людей. И так сильна в нем эта отрицательная сторона, эта жажда освобождения от оков, мешающих блаженству, что положительный идеал — самое блаженство — почти исчезает из его глаз:

Дайте волю, волю, волю,
И не надо счастья мне,

говорит он. Ему нужно не самое наслаждение, а только свобода от оков, да разве еще тот слабый намек на блаженство, который мог бы поддерживать в душе стремление к нему,—не самая любовь, а только звуки сладкого голоса, поющего про любовь. Лермонтов «без страха ждет довременный конец», который прекратит пустую и глупую шутку и, вместе с нею, мучительную борьбу. Для Фета смерть не существует, она—тень у ног его, безличный призрак: пока он жив, смерть не властна умалить его наслаждение, а когда она наступит, он вместе с об'ектом счастия утратит и способность, и самую жажду упоения, вместе с пищей — и самое чувство голода.

Вокруг Фета и Лермонтова, со взятой нами точки зрения, группируется вся русская лирика: ее содержанием является преимущественно либо реальный момент достигнутой гармонии со всеми сопутствующими ему мажорными тонами, либо реальный момент ее разрушения со всеми сопутствующими этому моменту минорными тонами. И то, и другое почти совершенно чуждо Огареву.

Его не вдохновляет на творчество то непосредственное ощущение душевной полноты, которое дают всем людям красота, любовь, природа, минута вдохновения, и которое у Пушкина, у Фета, Майкова, Полонского, Ал. Толстого исторгает чарующие звуки. Но его не вдохновляет и оборотная сторона чувства,—реальные диссонансы, живущие в душе или извне вторгающиеся в гармонию. Все обычные мотивы этого порядка ему чужды, или звучат у него лишь изредка и мимолетно: чужды ему жалобы на суетность, быстротечность и случайность явлений жизни, на неизбежность смерти, на судьбу, на разлад разума и чувства и на раздвоение культурного человека, на «людских сует пичтожность», на злобу и

ложь людей, на муки и непостоянство любви. Его вдохновляет, повторяю, одно: чистое, лишенное всяких материальных признаков стремление к полноте чувства. Его поэзия дает нам, если можно так выразиться, чистую форму духовного голода,—и мы сейчас увидим, какие бесконечно-разнообразные и сложные ощущения рождает в нем этот на вид однообразный мотив.

У Огарева есть одно необыкновенно-задушевное и музыкальное стихотворение, которое можно было бы назвать историей его сердца. Вот оно:

Я помню робкое желанье,
Тоску, сжигающую кровь,
Я помню ласки и признанье,
Я помню слезы и любовь.
Шло время — ласки были реже
И высох слез поток живой,
И только оставались те же
Желанье с прежнею тоской.
Просило сердце впечатлений
И теплых слез просило вновь,
И новых ласк и вдохновений,
Просило новую любовь.
Пришла пора — прошло желанье
И в сердце стало холодно,
И на одно воспоминанье
Трепещет горестно оно.

Вся его жизнь представляется ему непрерывной вариацией одного основного мотива, который он называет «желанием»; в юности—желание, легко находящее себе удовлетворение, потом желание, труднее осуществимое, но сохраняющее еще всю свою полноту и свежесть, и, наконец, самая горестная пора, пора, когда желание ослабело. Этот мотив мы находим уже в самом раннем его воспоминании: когда ребенком он, бывало, летней порою сиживал в лесном гроте, то—

смутным помыслом об'ят был детский ум
Средь грез таинственных и робкого желанья.

Что же такое это Огаревское желание, в котором поэт видит единственную быль и суть своей жизни? Как оно возникает и к какой направлено цели?

Огарев неоднократно изображает момент возникновения «желания». Вот, в ясный летний вечер, он стоит на берегу пруда и смотрит, как гаснет день, как загорается в небе звезда, как ласточка стрелою несется над водой; и смутный сон наполняет его душу,—ей грустно и легко, воспоминание воскрешает перед нею такую же картину в прошлом, но вместе с тем и—

все, что было,
Что сладко сердце разбудило
И промелькнуло навсегда.

Или, вот, он вечером, усталый от дневных забот и шума, едет молча по тряской мостовой; на повороте улицы он видит дом—знакомый дом! И сквозь окно он видит белое платье и чей-то медленно идущий образ:—он встрепенулся, «сердце билось сильно». Но чаще всего «желание» порождается в нем звуками музыки—внезапно вспомнившейся или случайно услышанной мелодии. Схематически этот душевный процесс может быть изображен таким образом: среди будничного или подавленного настроения какой-нибудь внешний возбудитель (картина природы, музыка, лицо незнакомки в дилижансе, напоминающее когда-то милые черты) воскрешает в нем жажду упоения, полноты чувств; он озирается — вокруг нет ничего, что могло бы утолить эту жажду; и вот он обращается мыслью назад («Назад влечет меня желанье») и старается наполнить внутреннюю пустоту воспоминанием о пережитых раньше минутах блаженства. Эта естественная и знакомая каждому человеку связь между «желанием» и воспоминанием об'ясняет нам, почему три четверти пьес Огарева—этого по преимуществу певца «желания» — имеют своим предметом воспоминание.

В деле изучения человеческой психики нет ничего более поучительного, как наблюдать, какие именно черты прошлого наиболее прочно удерживаются в памяти человека, какие из них сохраняют власть над его душой в смысле способности еще долго спустя возбуждать в ней радость или скорбь. В памяти двух человек, созерцавших одну и ту же картину, запечатлеются различные ее черты, как доминирующие. Разумеется, это различие основано на несходстве первоначаль-

ного восприятия, но в образе воспоминания разница выступит резче, осязательнее, чем в смутном еще, не расчлененном восприятии; и этот бессознательный отбор, наблюдаемый в воспоминании людей, является, быть может, наилучшим средством проникнуть в тайники их духовной жизни. Поэтому нам необходимо остановиться на особенностях памяти Огарева, играющей такую важную роль в его психике.

Неизменная отличительная черта его воспоминания состоит в том, что оно почти бесплотно, почти совершенно лишено конкретности. Он помнит только те минуты, когда ему случалось переживать полный аккорд чувства, и из содержания этих минут он не помнит почти ничего, кроме самого ощущения душевной полноты; из конкретных же черт такой картины прошлого он вспоминает лишь тот minimum, который как-раз необходим, чтобы образ еще был способен воскресить в нем воспоминание о пережитой в тот момент полноте чувства. Он сам подметил в себе эту черту; в одном письме к Герцену он пишет: «Странно,—для того, чтобы хорошо писалось, мне нужно ясно вспомнить какой-нибудь от'езд, еще два-три мгновения, когда было так полно на душе». В этом отношении он глубоко отличен от всех остальных наших лириков. Вот, например, три пьесы трех поэтов, достаточно сходные для сравнения: Пушкина—«Не пой, красавица, при мне», Лермонтова—«Нет, не тебя так пылко я люблю» и Огарева—«Дилижанс». Сюжет во всех трех стихотворениях приблизительно тожествен. Внешний возбудитель, во всех трех случаях одинаковый, именно, женщина, какой-нибудь чертою напоминающая другую, когда-то любимую женщину,—воскрешает в душе поэта воспоминание о прошлом. Пушкину черты и песня новой знакомки напоминают совершенно конкретную картину--«другую жизнь и берег дальний, и степь, и ночь, и при луне черты далекой бедной девы». Лермонтов любит в ней свое прошлое страдание и свою погибшую молодость; но и его воспоминание реально: «В твоих чертах ищу черты другие». Огарев, при встрече в дилижансе с незнакомкой, живо напоминающей ему когда-то любимое лицо, вспоминает

только былую полноту чувства и паходит отраду в этом воспоминании:

Сквозь тьму глядя на лик едва заметный,
Тревожно жизнь мою я повторял,
И снова был я молод, и приветно
Кругом с улыбкой Божий мир взирал.
И я любил так полно и глубоко —
О как же я был счастлив в этот час!

Его первые слова, после того, как он разглядел незнакомку в полутьме: «Какое сходство, Боже!» Значит, здесь было сходство с реальным лицом; и, тем не менее, он не вспоминает ни то лицо, ни вообще какую-нибудь деталь конкретной картины прошлого: он вспоминает только, как «любил полно и глубоко». Любопытно отметить, что в зрелые годы Огарев отличался чрезвычайной слабостью памяти; он пишет в одном письме: «Память меня пуще всего оскорбляет, Герцен. Я бы даже готов употребить медицинские или диэтетические средства для исправления ее».

Мы могли бы без труда продолжить это сравнительное изучение свойств памяти; почвою для сравнения может служить всякий из излюбленных поэтами лирических мотивов, как, например, воспоминание об умершем, посещение возмужалым человеком тех мест, где он жил в детстве или юности («Вновь я посетил» Пушкина, «Запустение» Боратынского, «Итак, опять увиделся я с вами» Тютчева, «Nocturno» Огарева), и т. п. Для нашей ближайшей цели, однако, думается, достаточно и сказанного; при чтении стихотворений Огарева можно на каждом шагу видеть, что конкретные черты прошлого в его воспоминании совершенно стерты. Картина прошлого для Огарева—только символ пережитого когда-то упоения. Насколько бесплотно вдохновляющее его воспоминание, можно видеть и из того, что оно с успехом заменяется у него иногда другими стимулами, уже по существу лишенными всякой реальности: впечатлением от музыки или мечтою. Он вспомнил когда-то слышанный вальс; эти звуки не связаны для него ни с какой определенной картиной, и тем не менее они глубоко волнуют его:

Не будит он в воспоминанья
Ни томный блеск лазурных глаз,
Ни час блаженного свиданья
Или разлуки скорбный час.

Но странным полон он томленьем,
Но им душа увлечена,
И вдаль с мучительным стремленьем
За ним уносится она.

Очевидно, его вдохновляет всякий возбудитель, способный воскресить в нем желание, жажду душевной полноты. Этим возбудителем может быть и греза. Таково одно из лучших его стихотворений—«Фантазия». Вечер; печальный полусвет свечи бродит по стенам; он отодвинул книгу,—душа бежит учености сухой; он жаждет роскошных наслаждений, сновидений наяву. И вот, какая-то мелодия то робко, то мятежно звучит в ночи; он полон музыки, он весь теряется в нежной мелодии. Ему грезится легкий челн, который, качаясь, влечет его по речной глади; с берегов благоухают цветы, шелестит прибрежный тростник, и луна сияет. Перед ним во мгле лежит Верона; он слышит с балкона голос Джульеты: страстный ребенок, она вся—любовь; вот поет Дездемона, и песнь ее так мечтательно грустна!.. Он счастлив, он блаженствует душой: «душа полна любви, полна желаний».—Легко видеть, что конкретные черты этой грезы, во-первых, едва намечены, во-вторых, ценны для поэта не сами по себе, а как символы душевной полноты; именно поэтому выбраны Джульета и Дездемона.

Обе отмеченные сейчас особенности и характеризуют неизменно каждое воспоминание Огарева. Предмет его воспоминания—не определенная картина или лицо, даже не то определенное чувство, которое он испытывал в тех условиях, а только пережитая им тогда полнота чувства: это—та греза, о которой говорит однажды Мюссе:

...ce rêve enchanté,
Qui ne prend de vérité
Que ce qu'il faut pour faire aimer la vie.

Мало того, так как самое чувство, давшее ему тогда, в прошлом, минуту упоения (например, любовь к такой-то

женщине, восторг, вызванный такой-то картиною), в момент припоминания уже мертво, то все конкретные черты той картины представляются ему безжизненными; он смотрит на них, говоря словами Тютчева, «как души смотрят с высоты на ими брошенное тело». Этот мотив, изредка звучащий и у других наших поэтов (напомню хотя бы элегию Пушкина на смерть г-жи Ризнич: «Под небом голубым страны своей родной»), повторяется у Огарева неизменно каждый раз, когда ему случается говорить о материальной обстановке его минувших лет. Он входит в дом, где пережил со своим другом лучшие дни детства, и ему становится страшно:

Дрожал я,
На кладбище я будто стоял,
И родных мертвецов вызывал я,
Но из мертвых никто не восстал.

Еще ярче выражено это чувство в стихотворении «Nocturno»: поэт посетил свой деревенский дом и ночью ходит по темной зале, где на него смотрят со стен освещенные луною знакомые портреты:

Я ждал знакомых мертвецов —
Не встанут ли вдруг кости,
С портретных рам, из тьмы углов
Не явятся ли в гости?..
И страшен был пустой мне дом,
Где шаг мой раздавался,
И робко я внимал кругом,
И робко озирался.
Тоска и страх сжимали грудь
Среди бессонной ночи,
И вовсе я не мог сомкнуть
Встревоженные очи.

Здесь есть еще и другая обида: чувствуешь себя оскорбленным за того человека, которого когда-то любил и которому изменил в душе. Огареву хорошо знакомо это чувство:

Люблю ли я людей, которых больше нет,
Чья жизнь истлела здесь в тиши досужной?
Но в памяти моей давно остыл их след,
Как след любви случайной и ненужной.

А все же здесь меня преследует тоска —
Припадок безыменного недуга,
Все будто предо мной могильная доска
Какого-то отвергнутого друга.

Но всего мучительнее в этом сознании омертвелости прошлого—порождаемый им в человеке страх за его собственную будущность. Добро бы исчезли только все внешние условия былого упоения; но умерло и мое собственное конкретное чувство; сердце пусто: где ручательство, что оно еще способно наполняться? Не утратил ли я безвозвратно свежесть и энергию чувства, способность к восторгу и самозабвению? Охваченный безумной жаждой любви и женской ласки, не находя ответа своему желанию, Огарев обращается мыслью к прошлому—

Но прошлого ничто не воскресит!
Замолкший звук опять звучать не может
И память только он гнетет или тревожит.
И страх берет, что чувство схоронилось;
По нем в душе печально, холодно,
Как в доме, где утрата совершилась:
Хозяин умер — пусто и темно.

В бессонную ночь он мыслью перебирает прошлое; пред ним мелькают прежние лица, картины прежних лет, но он холодно глядит на эти видения: в нем нет прежнего чувства, он тщетно силится будить в своей душе, «что жило в ней так сладко иль тревожно»; восторг и муки минувших дней кажутся ему или смешными, или ложными. И его охватывает страх, что грядущее не даст ему замены их. Или, вот, он встретил в обществе даму, живо напомнившую ему ту, которую он когда-то любил:

Улыбки кроткой безмятежность
И взора вкрадчивая нежность
Напоминая мне тот лик,
Который я любить привык
Когда-то, в молодые годы,
В дни поэтической свободы.
Мне было весело, и вдруг
Мной страшный овладел недуг;

Я чувствовал, что жизни сила,
Что сердца жизнь во мне остыла,
Что сердце выдохлось давно,
Как незамкнутое вино.

Так воспоминание для Огарева — чаша, в которой сладость смешана с горечью. В минуту сердечной пустоты оно воскрешает пред ним былое блаженство и тем услаждает его жизнь; но сколько горечи в этой усладе! И все эти ощущения—печаль и радость, тревоги и надежды,—все порождается одним верховным чувством: жаждою душевной полноты. Конкретное упоение рождается и умирает, но вечно-ненасытным остается в душе стремление к нему.

II.

То состояние души, о котором мы говорим здесь, сплетено из столь тонких нитей, столь сложно и неуловимо, что не только анализ, но и самое описание его представляет величайшие трудности. Уже юношей Лермонтов знал, что «нет звуков у людей, довольно сильных, чтоб изобразить желание блаженства». Сами поэты говорят о нем всегда в неопределенных выражениях, и даже ясный Пушкин называет его: «смутное влеченье чего-то жаждущей души»; но они все говорят о нем. Кто склонен видеть в признаниях истинного поэта нечто большее, чем плоды игривой фантазии или метафоры для украшения речи, кто видит в них, напротив, драгоценные свидетельства о неисследованных еще наукою глубинах человеческого духа, плоды гениальной интуиции, тот не может не остановиться с глубоким вниманием на вопросе о природе этого смутного стремления.

Точнее всего оно может быть очерчено терминами Платоновской философии. Платон учит, что душа до рождения ее в теле обитает в мире непреходящих сущностей; там она созерцает чистые образы, забываемые ею в момент рождения. Всякое знание человека, выражающееся в понятиях, есть не что иное, как воспоминание души о виденных ею когда-то образах. И вот, когда в земной своей жизни душа, вникая в понятия, вспоминает свое первичное созерцание, ею овладевает жгучая тоска по ее небесной родине, по тому миру неизмен-

ных идей, в котором она жила некогда и в который должна вернуться; эту тоску Платон называет любовью, эросом.—Перечитывая наших великих лириков, можно подумать, что они все изучали Платона и усвоили это его учение об эросе.

В душе всякого истинного поэта живет некое представление о гармонии бытия, властно руководящее им, окрашивающее все его созерцания и являющееся для него постоянным мерилом ценностей. Это гениально выразил Лермонтов в своем стихотворении «Ангел»: звук песни, которую пел ангел, неся молодую душу на землю, остается в душе «без слов, но живой», и она томится на свете, потому что скучные песни земли не могут заменить ей тех небесных звуков. Все творчество поэта представляет как бы непрерывное усилие припомнить забытые слова небесной песни. Когда Лермонтов хочет подвести итог своим отношениям к жизни, он не находит более точного слова, как «обман» («за все, чем я о б м а н у т в жизни был»). Какое чудовищное слово! Его обманули—значит, ему было обещано что-то другое? Кто же обещал ему, что на земле можно любить вечно, что страсть не будет исчезать при слове рассудка, что она не будет приносить с собою тайного мученья, что враги не будут мстить и друзья клеветать, что в слезах не будет горечи и в поцелуе—отравы? Все эти несовершенства существуют с тех пор, как существует человек; он не мог ждать ничего другого. Почему же он видит в них обман, и почему не кажутся ему обманом смена лета осенью, увядание прелестного цветка, разрушительная буря? Или, действительно, мы должны думать вслед за Платоном, что душа его когда-то созерцала мир, где любовь вечна, приносит только блаженство и не исчезает при слове рассудка, где нет ни злобы, ни клеветы, ни слез?—Мы знаем одно,—что Лермонтову было присуще какое-то высокое представление о мире, которое служило ему мерилом земных вещей; что оно было для него более несомненно, чем самые эти вещи; что оно было для него нормою. Он не только желал, чтобы жизнь соответствовала этой норме, но твердо знал, что жизнь д о л ж н а соответствовать ей,—и, видя противоположное, ни разу не подумал, что норма ошибочна: нет, он только заключал, что мир обманул его.

Если бы эта норма, живущая в душе поэтов, была только мечтою, она не имела бы никакой ценности. Но как, по учению Платона, те чистые образы, которые душа созерцала до рождения,—не что иное, как непреходящие сущности вещей, находимых ею потом на земле, так и полусознательное представление поэта о гармонии бытия обладает высшей реальностью, ибо оно всецело построено из реальных потенций этой гармонии, которые лежат в глубине вещей, еще слепые и связанные, но которые, как созревший в скорлупе птенец, когда-нибудь выйдут наружу. Еще незримые простому глазу, они видны художнику и его устами говорят о своей жажде жить.

Из этой мечты о гармоническом строе бытия рождается тоска поэтов и то смутное, но непобедимое стремление души, которого не чужд ни один поэт и которое по преимуществу, кажется, характеризует русскую поэзию. По крайней мере, ни в одной литературе мира оно не выражается так часто, в столь обнаженном виде и так настойчиво, как в нашей лирике; оно составляет главный нерв поэзии Лермонтова, Фета, Боратынского, Ал. Толстого, не говоря уже об Огареве. Поразительно, что у всех у них тоска носит характер настоящей ностальгии: все они беспрестанно, с глубокой грустью и верою, говорят о своей небесной родине.

Эта мечта об'ективно неосуществима: поэт не властен водворить гармонию в мире. Но она осуществима суб'ективно. Дух человеческий—микрокосм: он потому только ощущает болезненно диссонансы бытия, что они звучат в нем самом. Но есть минуты беззаветного упоения, совершенной полноты души, когда в ней умолкают все диссонансы и водворяется на миг ненарушимая гармония. В этих минутах — счастие поэта, именно они—цель его «желания», ибо они дают душе глубого-интимное ощущение осуществленной гармонии всего бытия. Каждый поэт мог бы сказать о себе словами Тютчева:

О, небо, если бы хоть раз
Сей пламень развился по воле,
И не томясь, не мучась доле,
Я просиял бы — и погас!

Вот почему поэты всегда связывают свое стремление к счастию со своей тоскою по мировой гармонии или по своей небесной родине: «Нам памятно небо родное»,—говорит Боратынский;—«в желании счастья мы вечно к нему стремимся неясным желаньем». И вот почему любовь, точнее, половая любовь, играет в лирике первенствующую роль: не одна она, но она всего чаще и полнее дает человеку то упоение, которое ощущается им, как прообраз мировой гармонии. Эту неразрывную связь между любовью к женщине и мечтою о блаженстве гармонии вскрывает монолог Дон-Жуана у Ал. Толстого:

Я в ней (в любви) искал не узкое то чувство,
Которое, два сердца с'единив,
Стеною их от мира отделяет;
Она меня роднила со вселенной,—
Всех истин я источник видел в ней,
Всех дел великих первую причину.
Через нее я понимал уж смутно
Чудесный строй законов бытия,
Явлений всех сокрытое начало.
Я понимал, что все ее лучи,
Раскинутые врозь по мирозданью,
В другом я сердце вместе б с'единил,
Сосредоточил бы их блеск блудящий
И сжатым светом ярко б озарил
Моей души неясные стремленья!

И с полной ясностью, не оставляющей места сомнениям, выражает то же Лермонтов:

Есть рай небесный — звезды говорят;
Но где же? вот вопрос — и в нем-то яд;
Он сделал то, что в женском сердце я
Хотел сыскать отраду бытия.

Жажда этой полноты чувства, коренящаяся в тоске по гармонии жизни, и составляет основной сюжет поэзии Огарева.

Он, несомненно, исходит из како-то идеала гармонии, который неизменно служит ему мерилом правды и красоты. Он рисует его, как и все поэты, лишь общими и притом преимущественно отрицательными чертами. История человечества кажется ему тяжелым кошмаром, где —

Фигуры дикие, тяжелого томленья
И злобы полные, враждуя меж собой,
В безвыходной и бесконечной схватке
Волнуются, кричат и гибнут в беспорядке.

И он, как Лермонтов, видит кругом оковы, вражду, суетность и пошлость:

В юдоли шумной,
Где люди бесятся и мрут,
Найдется ль где-нибудь приют
Свободно-мирный и разумный,
Где жизнь, светла и глубока,
Как величавая река,
Могла б путем несвоенравным
Широко течь в движеньи плавном?
Нет, нет! Нигде приюта нет!
И всюду рабства тощий бред!

И он скорбит о том, что «дух вечности обнять зараз не в нашей доле», что человек осужден жить в заблуждении и «тщетно рваться из тюрьмы взглянуть на Божий свет из тьмы». В своей трогательной «Молитве» он молит «святое Бытие»:

Дай силу мне трепещущей рукой
Хоть край поднять немого покрывала,
На истину надетого тобой,
Чтобы душа, смиряясь; созерцала
Величие предвечного начала.

Подобно Лермонтову, и он жалуется на то, что «чашу жизни пьем мы по глоткам», что жизнь и мысль разрушают блаженный сон. Наконец, и он носит в своей душе образ своей небесной родины:

Вы, звезды в дальней вышине,
Вы, спутники печальной жизни,
Во мраке зла вы мне одне
Моей заоблачной отчизны
Напоминаете края...

И вот, из этой мечты о гармонии души и гармонии мира в нем, как и в каждом поэте, рождается жажда той полноты чувства, которая на мгновение осуществляет в микрокосме-

душе гармонию бытия. Ни один из наших поэтов не выразил этой жажды так чисто и полно; все творчество Огарева— сплошной культ полного аккорда чувств, сплошной гимн стремления к нему.

III.

Миг упоения, минута той полноты чувства, которая заставляет человека забыть «небо, вечность, землю, самого себя», вот единая ценность, высшее благо, какое знает Огарев в человеческой жизни. Блажен на его взгляд тот, кто раз был взволнован до слез—все равно, любовью, состраданием или видом красоты; блаженны Ромео и Джульета, которые «в утре дней в последнем замерли лобзанья». И, напротив, проклясть бы мог свою судьбу —

Кто в отупенья забывал
Пролить над милым прахом слезы.
Кто ликований и пиров
Не знал на жизненном просторе,
Не ведал сладкой грусти снов,
А знал одно сухое горе.

Он сам, как мы видели, всю жизнь жаждал этой полноты. Ее давала ему, конечно, прежде всего любовь, и потому его сердце так часто просит любви, —

Любви взаимной, вечной и святой,
Которую ни время не уносит,
Ни губит свет мертвящей суетой.

Он ищет в любви не чувственных утех, а самозабвения («любил любовь», оговаривается он однажды), он говорит: «жизнь в любви — блаженный сон, друзья мои». Но, как уже сказано, не одна любовь дает ему душевную полноту.

Такое сердце никогда не может быть удовлетворено. Это неутолимое желание указывает на присутствие в душе человека огромного излишка непоглощенной жизнью энергии, которая упорно ищет выхода и, не находя его, бурлит и мучительно перегорает внутри. У Огарева есть знаменательное стихотворение: «Много грусти»; оно показывает, что и в самый

момент полноты чувства в его душе еще оставался излишек энергии, результатом чего неизбежно являлась грусть:

А я и молод, жизнь моя полна,
На радость мне любовь дана от Бога,
И песнь моя на радость мне дана,
Но в этой радости как грусти много!

Но тот же неизрасходованный избыток чувства естественно должен давать поэту внутреннее ощущение силы. Таково именно самосознание Огарева. Большая ошибка—изображать Огарева слабым и покорным, как это обыкновенно делают; напротив, спокойное мужество и внутренняя стойкость характеризуют его мировоззрение, в них источник его трогательной кротости. Под самыми тяжелыми ударами судьбы он не падает духом: «Моя судьба во мне», говорит он; и кто не помнит от школьных лет его «Путника», кончающегося этими чудесными словами:

Не страшися, путник мой,
На земле все битва;
Но в тебе живет покой,
Сила да молитва.

Таков он сам. Он многократно говорит о том, что, наперекор судьбе и внутренней муке, в его душе жива могучая сила; в самые смутные часы разлада с людьми и с самим собою он ощущает в себе какую-то благодатную тишину:

Так солнце бурною порой
Спокойно светит из-за тучи.

В «Юморе» он яснее всего говорит об этом:

Не все, не все, о, Боже, нет!
Не все в душе тоска сгубила.
На дне ее есть тихий свет,
На дне ее еще есть сила.
Я тайной верою согрет,
И что бы жизнь мне ни сулила,
Спокойно я взгляну вокруг —
И ясен взор, и светел дух!

Каким покоем сознающей себя и уверенной в себе силы дышит «Совершеннолетие»!

Спокойно вижу я годов минувших даль,
Грядущее встречаю без волненья,
И нет раскаянья, и прошлого не жаль,
Нет пред тем, что будет, опасенья.

. . . . . .

С ошибкой детскою разделаться я рад
И весело встречаю горечь истин,
Чем малодушие мечтательных отрад:
Я в деле счастья горд и бескорыстен.

. . . . . .

Пусть иногда тоска теснит мне жизнь мою
И я шепчу проклятья или пени,
Но сердцем молод я. Еще я жизнь люблю,
Люблю я видеть синей ночи тени
И мирный проблеск дня: люблю внимать средь лени
Волны плескание, лесов зеленых шум,
С восторгом предаюсь работе ясной дум,
И все, что живо полюбил когда-то,
Осталось мне навек и сладостно, и свято.

Это мужество сопровождало его всю жизнь, дало ему силу перенести тяжелые испытания, какие редко выпадают на долю человека, и после крушения всех надежд, после утраты богатства, семейного счастья, здоровья, не только спасло его от отчаяния, но и позволило ему с юношеской бодростью стать в ряды борцов за свободу и правду. Вторая половина его жизни была вся отдана посильному служению той мечте о гармонии бытия, которая в первую половину манила его миражем личного упоения. Между ними нет раскола: они—два проявления одной духовной стихии.

IV.

Читатель, знакомый с духовным обликом Огарева 30-х—40-х годов по его напечатанным письмам, будет, конечно, очень удивлен, раскрыв сборник его стихотворений. На первый взгляд трудно поверить, что автор тех писем, доходящий в анализе гегелевских идей и собственных ощущений до того, что немцы метко называют Haarspalterei, и автор этих стихотворений—один и тот же человек. Здесь нет и тени рефлексии: удивительная непосредственность и цельность

чувства идут рука об руку с редкой искренностью и простотою его выражения. Он никогда не анализирует своего чувства и не вносит в него никаких посторонних примесей. Его творческий процесс можно изобразить таким образом: раз ощущение возникло в нем, он бережно дает ему созреть, дойти до полного насыщения, и затем в нетронутом виде переносит его на бумагу. Его и вне себя неодолимо привлекает всякое насыщенное чувство: таковы почти все его повествовательные стихотворения, как «Деревенский сторож», «Забыто», «Африка» и др. Поразительна в особенности чуткость его внутреннего слуха: он действительно слышит, «как сердце цветет». Не менее поразительна в нем и та, если угодно, техническая способность, без которой вообще невозможно лирическое творчество: не потеряться в вихре стремительно несущихся ощущений, суметь во-время обрезать бесчисленные нити, идущие от центрального чувства во все стороны, и вылущить это чувство так, чтобы оно было и цельно, и лишено грубо-точных границ, наконец, задержать его перед сознанием так долго, чтобы успеть срисовать его точной фразою, тогда как оно по природе своей текуче и неуловимо,—этим даром Огарев владеет в редкой степени.

Грусть—естественный результат неосуществимого стремления—составляет основную ноту его поэзии; отсюда ее трогательная нежность, ее задушевность, ее женственно-мягкий, меланхолический колорит,—та «задумчивая прелесть» ее, которая очаровала гурмана эстетики, В. Боткина. Ни одной резкой черты, ни одной чрезмерно-яркой краски; читая его стихи, так и кажется, что слышишь одну из тех тихих мелодий, которые, говорят, любил импровизировать Огарев на рояле, один, в сумерки, в своем акшенском уединении. Иногда его стихотворение действительно точно готово перейти в музыку. Энергия выражения отнюдь не чужда ему: «Африка», «Напутствие», «Отступнице» и некоторые другие стихотворения написаны таким кованным, страстно-сжатым стихом, каким после Лермонтова не писал у нас никто. Но собственно в лирических пьесах преобладает стих необыкновенно мягкий, лишенный всякого усилия и всякого расчета на эффект, простой, как обыденная фраза, и вместе чарующий. Его рифма

никогда не лечется в глаза,—напротив, иногда она так «спрятана», что при первом чтении стихотворение кажется написанным белыми стихами. Эта простота внешней отделки часто переходит у него в небрежность, но зато охраняет его от натянутости, от искусственности. Редко можно найти поэта, который так старательно избегал бы красивых оборотов, антитез, оригинальных сравнений, эффектных образов; ни обширные знания, ни тонкий аналитический ум Огарева ни разу не выступают наружу в его лирике. У немцев есть пословица, что человек нагишом торчит в своем платье; так и сердце человеческое остается голым в пышных одеждах ума и знаний.

Поэзия Огарева, при указанных выше основных ее свойствах, естественно, в высшей степени суб'ективна. Ее вещественный груз ничтожен: это в строгом смысле слова—поэзия сердца, бесплотная почти как музыка. Она не показывает в ярком свете материальную действительность, но лишь позволяет угадывать ее, как мы сквозь легкий утренний туман едва различаем очертания леса и гор. Но, будучи лишена конкретности, она реальна как жизнь,—или нет, реальнее той жизни, которую мы видим каждый день, потому что только здесь, в глубокой интуиции поэта, восстановляются единство и цельность бытия, доступного нашему взору лишь в разрозненных частях. Василий Боткин говорит, что тот, кто ищет в поэзии только идей и образов, не найдет для себя пищи в стихотворениях Огарева. И точно: Огареву чужда та волшебная сила прозрения, благодаря которой великие художники вскрывают пред нами глубокие противоречия жизни и еще более глубокие разлады человеческого духа; он не умеет также охватывать одним взглядом огромные пространства действительности и воплощать их сущность в органически-цельные образы. Но оттого его язык не менее «с волей небесною дружен». Если прав современный нам поэт, говоря, что только одно чуждо тленья на земле: «тоска неясная о чем-то неземном, куда-то смутные стремленья», то поэзия Огарева не может быть забыта. Тот страстный порыв к вечной красоте, который она воплотила в чистейшей форме, есть незримый, в глубине сердца таящийся источник всякого сознательного стремления к добру и правде; из него, как из живой прото-

плазмы, родятся, никогда не исчерпывая его, наши временные идеалы, общественные и личные, жажда общего блага и жажда личного счастия. Огарев раскрыл его в одном из высших его проявлений—в форме стремления к гармонии личного чувства. И это самое заставляет нас видеть в поэзии Огарева наиболее яркое поэтическое выражение глубочайших чаяний «Молодой России».

БИБЛИОТЕКА
ИНСТИТУТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	Стр.
Предисловие.	1
Глава I.—М. Ф Орлов.	9
„ II.—В. С. Печерин.	79
„ III.—Н. В. Станкевич.	182
„ IV.—Т. Н. Грановский:	
1)—Мировоззрение.	210
2)—Личность	217
„ V.—И. П. Галахов.	249
„ VI.—Н. П. Огарев:	
1)—Помещик.	268
2)—Поэт.	297

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО.

Главное Управление. Москва.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ И ИСТОРИЯ ЛИТЕРАТУРЫ.

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

Бирюков, П. П. Биография Л. Н. Толстого. С иллюстрац. Изд. 1922 г. стр. 321.

Гливенко, И. И. — Чтения по истории всеобщей литературы. Изд. 2-ое, 1922 г., стр. 314.

Коган, П. С. — Очерки по истории древних литератур. Т. I. Греческая литература. Изд. 4-ое, 1922 г., стр. 260.

„ „ — Очерки по истории западно-европейских литератур. Т. I. Изд. 8-е., 1922 г., стр. 387.

„ „ — Очерки по ист. зап.-европ. лит. Т. II. Изд. 60-ое, стр. 403.

Поржезинский, В. — Краткое пособие по исторической грамматике русского языка. Изд. 1920 г., стр. 165.

Пиксанов, Н. К. — Два века русской литературы Темы.—Вопросники.—Библиография. Изд. 1923 г., стр. 208.

„ „ — Грибоедов и Мольер. Изд. 1922 г., стр. 80.

„ „ — Старорусская повесть.

Пешковский, А. М. — Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 2-ое, 1920 г., стр. 504.

Розанов, М. Н. — Очерк истории английской литературы 19 века, ч. 1. Эпоха Байрона. Изд 1922 г., стр. 247.

Сакулин, П. Н. — Русская литература и социализм, ч. 1. Изд. 1922 г., стр. 504.

Ушаков, Д. Н. — Краткое введение в науку о языке. Изд. 1922 г., стр. 139.

„ „ — Пособие при слушании курса морфологии русского языка. Изд. 1922 г., стр 11.

„ „ — Для просеминария по русскому языку. Изд. 1914 г. С 2 картами, стр. 21.

Фриче, В. Корифеи мировой литературы и Советская власть. Изд. 1922 г., стр. 27.

Печатаются и в ближайшее время выйдут:

Госе — История английской литературы.
Гроссман — Семинария по Достоевскому (материалы и биография).
Мандельштам — Художественная литература в марксистской критике.
Светт — Итальянская литература.
Шюке — Немецкая литература.

Торговый Сектор Государственного Издательства:

Москва, Ильинка, Биржевая площадь, уг. Богоявленского пер., № 4. Телефоны: 1-57-57 47-35.

Розничная продажа:

Советская площадь под гостиницей „Дрезден“, 2) Моховая, 17. 3) Б. Никитская, 13 (консерватория). 4) Никольская, 3.